Брюс Чатвин



Тропы песен

АЗБУКА

Тропы песен
Брюс Чатвин

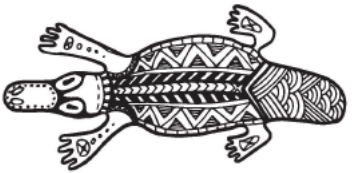
Аннотация
Брюс Чатвин. Тропы Песен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
В Самом Начале
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Из записных книжек
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Аннотация

Давным-давно, во Времена Сновидений, Предки всех людей создали себя из глины и отправились странствовать по свету, рассыпая на пути вереницы слов и напевов. Так появились легендарные Тропы Песен, которые пересекают всю Австралию, являясь одновременно дорогами, эпическими поэмами и священными местами. В 1987 году известный английский писатель и путешественник Брюс Чатвин приехал в Австралию, чтобы «попытаться самому – не из чужих книжек – узнать, что такое Тропы Песен и как они работают». Результатом этой поездки стала одна из самых ярких и увлекательных книг в жанре «путевого романа», международный бестселлер, переведенный на все основные языки мира. «Тропы Песен» – это не только рассказ о захватывающем путешествии по диким районам Австралии, не только погружение в сложный и красивый мир мифологии австралийских аборигенов, но и занимательный экскурс в историю древних времен в попытке пролить свет на

«природу человеческой неугомонности».



Брюс Чатвин
Тропы Песен

Элизабет

Bruce Chatwin
THE SONGLINES

Copyright © Bruce Chatwin, 1987

© Т. А. Азаркович, перевод, 2006, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®

1

В Алис-Спрингс — сплошной сетке из выжженных солнцем улиц, где мужчины в длинных белых носках безостановочно вылезали из «ленд-крузеров» и залезали обратно, — я познакомился с русским, который наносил на карту священные места аборигенов.

Звали его Аркадий Волчок. Он оказался гражданином Австралии. Ему было тридцать три года.

Его отец Иван Волчок, казак из станицы под Ростовом-на-Дону, в 1942 году был схвачен и погружен в вагон поезда вместе с другими остарбайтерами, которых угоняли в Германию для работы на немецких заводах. Однажды ночью, проезжая по Украине, он выпрыгнул из скотного вагона и упал в подсолнуховое поле. Солдаты в серой униформе охотились за ним, прочесывая вдоль и поперек длинные ряды подсолнухов, но ему удалось улизнуть. В каких-то других краях, затерявшись между крушащими друг друга армиями, он повстречал девушку из Киева и женился на ней. После войны они переселились в Австралию и осели в глухом пригороде Аделаиды, где

Иван завел водочный ларек и зачал трех крепких сыновей.

Младшим был Аркадий.

Темперамент Аркадия ничуть не вязался с неразберихой англосаксонского пригорода или с какой-нибудь скучной работой. У него было плосковатое лицо и нежная улыбка, и по слепящим австралийским просторам он передвигался с легкостью своих вольнолюбивых предков.

У Аркадия были соломенные волосы, густые и прямые. Губы растрескались от зноя. Он ничем не походил на многих белых австралийцев на Равнине, с поджатыми губами глотавшими слова. Он произносил звук «р» на русский манер. У него была широкая кость, но заметить это можно было, лишь подойдя совсем близко.

Аркадий рассказал мне, что был женат, у него шестилетняя дочь. Предпочтя хаосу домашнего быта одиночество, он давно не жил с женой. У него не было почти никакого имущества, кроме клавесина и полки с книгами.

Аркадий неутомимо странствовал по бушу. Ему ничего не стоило отправиться на прогулку длиной в полторы сотни километров, прихватив лишь флягу с водой. Потом он возвращался домой, прятался от жары и света, задергивал шторы

и играл на клавесине что-нибудь из Букстехуде и Баха. Их упорядоченные секвенции, говорил он, очень согласуются с устройством центрально-австралийского ландшафта.

Ни отец, ни мать Аркадия не прочли в своей жизни ни одной книги на английском языке. Он порадовал их, когда получил диплом с отличием в Аделаидском университете, где изучал историю и философию, и огорчил, когда уехал работать школьным учителем в поселение аборигенов в провинции Уолбири, к северу от Алис-Спрингс.

Аркадию нравились аборигены, нравились их выдержка и упорство, умелое обхождение с белым человеком. Он овладел — или наполовину овладел — парой их языков и поражался интеллектуальной мощи этих народов, их необычайно цепкой памяти, способности и воле к выживанию. Аркадий уверял, что аборигены — отнюдь не вымирающая раса, хотя им действительно требуется помощь, причем срочная, чтобы сбросить ярмо правительства и горнодобывающих компаний.

Именно в пору своего учительства Аркадий и узнал о том лабиринте невидимых троп, которые опутывают всю Австралию и известны европейцам под названиями Маршруты Сновидений

или Тропы Песен; сами аборигены называют эти дороги Следами Предков или Путем Закона.

Туземные мифы о сотворении мира рассказывают о легендарных тотемах, которые во Времена Сновидений скитались по всему континенту и выпевали имена всего сущего, встречавшегося им по пути, — птиц, зверей, растений, скал, источников, — и благодаря их пению мир обретал существование.

Аркадия так потрясла красота этих мифов, что он принялся записывать все, что видел или слышал, — не для публикации, а просто для утоления любопытства. Поначалу старейшины уолбири смотрели на него с подозрением и уклонялись от расспросов. Но позже, когда он завоевал их доверие, они стали приглашать его на самые тайные церемонии и охотно знакомили со своими песнями.

Однажды из Канберры приехал один антрополог, изучавший систему землепользования уолбири. Этот завистливый ученый презрел дружбу Аркадия с аборигенами, вытянул из него информацию и немедленно выдал секрет, который обещал хранить. Русский, возмущенный последовавшим за этим скандалом, бросил работу и отправился путешествовать за границу.

Он увидел буддистские храмы Явы, сидел вместе с садху на гатах в Бенаресе, курил гашиш в Кабуле, работал в кибуце. По припорошенному снегом афинскому Акрополю, кроме него, бродила только одна туристка — молодая гречанка из Сиднея.

Они отправились вместе в Италию и стали любовниками, а в Париже решили пожениться.

Аркадий, выросший в стране, где «не было ничего», всю жизнь мечтал увидеть памятники западной цивилизации. Он влюбился. Была весна. Европа должна была его поразить. Но, к его собственному огорчению, она показалась ему вялой.

В Австралии Аркадию часто приходилось защищать аборигенов от людей, которые презирали их, считая пьяницами и невежественными дикарями; бывали времена, когда, глядя на безнадежную убогость лагеря уолбири, он и сам готов был с этим согласиться и признать, что его профессия и помощь чернокожим — не более чем потакание собственным слабостям или пустая трата времени.

Теперь же в Европе, с ее тупым материализмом, австралийские «старики» показались Аркадию мудрее и глубокомысленнее, чем когда-либо.

Он отправился в контору «Куантас»[1] и купил два билета на родину. Шесть недель спустя он женился в Сиднее, а потом привез жену с собой в Алис-Спрингс.

Жена говорила, что мечтает жить в Центральной Австралии. Приехав туда, она сказала, что обожает здешнюю жизнь. Но, прожив вместе целое лето в раскалявшемся, как печка, домике под жестяной крышей, супруги начали отдаляться друг от друга.

Закон о земельном праве наделял аборигенов-хозяев юридическим правом собственности на родную землю — при условии, что они не будут ее занимать; и работа, которую придумал себе Аркадий, состояла в переводе «племенного закона» на язык Закона Короны.

Никто лучше его не знал, что «идиллическая» пора охоты и собирательства — если ее и в самом деле можно было считать идиллической — закончилась. Единственное, что еще можно сделать для аборигенов, — это сохранить за ними свободу жить в нищете, или, как он выразился более тактично, сохранить за ними пространство, где они могли бы жить в нищете, если сами

---

[1] Примечания: 1

«Куантас» — австралийская авиакомпания. — *Здесь и далее, если не указано особо, примеч. перев.*

того пожелают.

Оставшись в одиночестве, Аркадий предпочитал бродить по бушу. Время от времени возвращаясь в город, он работал в заброшенном печатном цеху, где из станков еще торчали рулоны старой газетной бумаги; полоски сделанных им аэрофотоснимков покрывали обшарпанные белые стены, будто костяшки домино.

Одна последовательность кадров показывала полоску земли длиной в четыреста пятьдесят километров, бегущую почти строго на север. Предполагалось, что именно по этому участку пройдет новая линия железной дороги, которая свяжет Алис с Дарвином.

Эта линия, как сказал мне Аркадий, должна была стать последним большим железнодорожным отрезком в Австралии и вдобавок самым удобным, если верить главному инженеру — железнодорожнику старой школы.

Инженер почти достиг пенсионного возраста, его заботила посмертная репутация. Особенно он стремился избежать скандала вроде тех, что возникали всякий раз, когда очередная горнодобывающая компания завозила оборудование на территории аборигенов. Поэтому, пообещав не разрушить ни одного священного места туземцев,

он попросил их предоставить ему землемерную съемку местности.

Работа Аркадия заключалась в том, чтобы найти «исконных землевладельцев», пройти вместе с ними по их бывшим охотничьим угодьям, принадлежавшим теперь скотоводческим компаниям, и упросить их показать, какая скала, какое болото, какой эвкалипт-призрак сотворены их предками, героями из Времен Сновидений.

Аркадий уже начертил карту участка в двести двадцать пять километров от Алис до станции Миддл-Бор. Оставалось еще примерно столько же.

— Я предупреждал инженера, что он немного погорячился, — сказал Аркадий. — Но так уж он захотел.

— А почему погорячился? — спросил я.

— Ну, потому, что если поглядеть на это *их* глазами, — усмехнулся Аркадий, — то вся треклятая Австралия — одно сплошное священное место.

— Объясни, — попросил я.

Он уже собирался пуститься в объяснения, но тут вошла аборигенка с кипой газет. Это была секретарша — гибкая смуглая девушка в коричневом вязаном платье. Она улыбнулась и сказала: «Привет, Арк!» — но, завидев незнакомца, сразу

перестала улыбаться.

Аркадий понизил голос. Он уже предупреждал меня, что аборигены терпеть не могут, когда белые люди обсуждают между собой «их дела».

— Это пом[2]. Его зовут Брюс. — Аркадий представил меня секретарше.

Девушка застенчиво усмехнулась, бросила газеты на стол и метнулась к двери.

— Пойдем-ка выпьем кофе, — предложил Аркадий.

И мы отправились в кофейню на Тодд-стрит.

---

[2] Примечания: 2

Пом (помми) — пренебрежительное прозвание англичан в Австралии.

2

В детстве, слыша слово «Австралия», я всегда представлял себе пар от эвкалиптового ингалятора и бескрайнюю красную землю, по которой разбредаются овцы.

Мой отец любил рассказывать (а мы — слушать) историю про австралийского миллионера, который разбогател на овцах и однажды ввалился в торговый зал в Лондоне, где были выставлены новые «роллс-ройсы». Презрев все модели меньших размеров, он подошел к огромному лимузину с перегородкой из листового стекла между водительским и пассажирскими местами и, отсчитывая наличные, небрежно бросил: «Ну, теперь-то овцы не будут дышать мне в затылок».

А еще я знал от двоюродной бабушки Рут, что Австралия — это страна, где живут антиподы. Если здесь, в Англии, пробурить ход в земле, то по нему можно пробраться прямо к ним.

— А как же они там не падают? — спрашивал я.

— Притяжение, — шептала она в ответ.

В ее библиотеке имелась книга об Австралий-

ском материке, и я, бывало, с любопытством разглядывал картинки, изображавшие коалу и кукабару, утконоса и тасманского сумчатого дьявола, Старого Кенгуру и Желтую Собаку Динго[3], а еще мост в Сиднейской гавани.

Но больше всего мне нравилась фотография, на которой была изображена семья аборигенов в пути. Эти худые, костлявые люди путешествовали нагишом. Кожа у них была очень черная — не блестящая, как у негров, а матовая, как будто лучи солнца лишили ее способности отражать свет. У мужчины была длинная раздвоенная борода, он нес одно или два копья и копьеметалку. Женщина держала плетеную сумку и прижимала к груди младенца. Рядом с ней шагал маленький мальчик — на его месте я представлял себя.

Помню фантастическую бездомность первых пяти лет моей жизни. Отец служил во флоте. Шла война, и мы с мамой мотались туда-сюда по железным дорогам Англии, гостя у родственников и друзей.

Мне передавалась бешеная суматошность того времени: свист и пар на окутанном туманом вокзале; двойной *бабах* захлопывающихся две-

---

[3] Примечания: 3
Персонажи сказок Р. Киплинга. — *Примеч. ред.*

рей вагона; гул самолета, свет прожекторов, вой сирен; звуки губной гармоники на перроне, где вповалку спали солдаты.

Нашим домом можно было назвать разве что крепкий черный чемодан по имени Рев-Роуб, где лежала моя одежда и противогаз в виде Микки-Мауса. Я знал, что, когда начнут падать бомбы, я свернусь калачиком внутри Рев-Роуба и окажусь в безопасности.

Иногда я месяцами гостил у двух двоюродных бабушек, живших в доме рядовой застройки за церковью в Стратфорд-он-Эйвоне. Обе были старыми девами.

Бабушка Кейти, художница, в свое время немало поездила по свету. В Париже она побывала на весьма сомнительной вечеринке в мастерской мистера Кеса ван Донгена. На Капри видела котелок некоего мистера Ульянова, вприпрыжку шагавшего вдоль Марина-Пиккола.

А вот бабушка Рут путешествовала один раз в жизни — ездила во Фландрию возложить венок на могилу возлюбленного. Она была простодушна и доверчива. Ее бледно-розовые щеки иногда вспыхивали нежным и невинным румянцем, совсем как у юной девушки. Бабушка Рут была безнадежно глуха, и мне приходилось громко

кричать в ее слуховой аппарат, видом напоминавший переносное радио. Возле бабушкиной кровати стояла фотография любимого племянника — моего отца, с которой он глядел серьезным взглядом из-под патентованного козырька офицерской кепки.

Мои родственники-мужчины со стороны отца были либо основательными, оседлыми гражданами — адвокатами, архитекторами, антикварами, либо влюбленными в горизонт скитальцами, сложившими кости в самых разных уголках планеты: кузен Чарли — в Патагонии; дядя Виктор — в юконском лагере золотоискателей; дядя Роберт — в каком-то порту на Востоке; дядя Десмонд, длинноволосый блондин, бесследно сгинул в Париже. Был еще дядя Уолтер — тот умер в больнице для праведников в Каире, распевая суры Священного Корана.

Иногда я слышал, как мои бабушки обсуждают судьбы родственников, и бабушка Рут обнимала меня, словно хотела оградить от желания пойти по стопам этих несчастных. Но, слыша, с каким чувством она произносила слова «Занаду», «Самарканд» или «виноцветное море», я понимал, что и она ощущает волнение «странницы в душе».

Дом был заставлен громоздкой мебелью, унаследованной со времен высоких потолков и прислуги. В гостиной висели занавески с уильям-моррисовским узором, стояли пианино и горка с фарфором, висела изображавшая сборщиков куколя картина кисти А. Э. Расселла, друга бабушки Кейти.

Самой драгоценной вещью, которой я обладал в то время, была раковина моллюска по имени Мона. Отец привез ее мне из Вест-Индии. Я утыкался лицом в блестящую розовую вульву и слушал шум прибоя.

Однажды, когда бабушка Кейти показала мне репродукцию «Рождения Венеры» Боттичелли, я долго молился о том, чтобы из Моны выпрыгнула юная светловолосая красавица.

Бабушка Рут никогда меня не бранила. Точнее, это случилось всего раз — одним майским вечером 1944 года, когда я помочился в воду, набранную в ванну. Наверное, я был одним из последних детей в мире, кого стращали призраком Бонапарта. «Если сделаешь это еще раз, — кричала бабушка Рут, — тебе влетит от Бони!»

Как выглядит Бони, я знал по его фарфоровой статуэтке, стоявшей в шкафу: черные сапоги, белые штаны, позолоченные пуговицы и черная

треуголка. А вот на карикатуре, которую нарисовала для меня бабушка Рут (это было подражание карикатуре, которую, в свою очередь, для нее в детстве нарисовал друг ее отца, Лоренс Альма-Тадема), из-под меховой треуголки торчали только тонкие длинные ножки.

В ту ночь — и еще много недель кряду — мне снилось, как я встречаю Бони на тротуаре возле дома викария. Две половинки его шляпы раскрывались, будто двустворчатый моллюск, и внутри показывались ряды черных клыков и масса жестких сине-черных волос. Я падал туда — и с криком просыпался.

По пятницам мы с бабушкой Рут отправлялись в приходскую церковь и готовили ее к воскресной службе. Бабушка протирала медные подсвечники, мела пол в хорах, заменяла украшения и расставляла свежие цветы на алтаре, а я тем временем карабкался на кафедру или вел воображаемые беседы с мистером Шекспиром.

Мистер Шекспир взирал на меня со своего надгробного памятника в северной части алтаря. У него была лысина и усики, загнутые кончиками кверху. Его левая рука покоилась на свитке бумаги, а правая держала перо.

Я назначил себя хранителем его могилы и ги-

дом, требуя у американских солдат по три пенни за экскурсию. Первым стихотворением, которое я выучил наизусть, были четыре строки, высеченные на его надгробной плите:

Во имя Господа, мой друг,
Прах не копай, лежащий тут.
Блажен будь тот, кто камень чтит,
И проклят тот, кто не щадит.

Много лет спустя, в Венгрии, куда я отправился изучать археологию кочевников, мне посчастливилось своими глазами увидеть, как раскапывают гробницу гуннской принцессы. Девушка покоилась на спине на черном земляном ложе. Ее хрупкие кости покрывал сплошной дождь золотых бляшек, а на груди лежал скелет беркута с распростертыми крыльями.

Один из археологов позвал крестьянок, сгребавших сено в стога в поле неподалеку. Побросав свои грабли и столпившись у входа в гробницу, они начали торопливо креститься, как бы говоря: «Оставьте ее. Оставьте ее с возлюбленным. Оставьте ее наедине с Зевсом».

Тогда мне вспомнился призыв мистера Шекспира: «И проклят тот, кто не щадит…» — и я впервые задумался, а не лежит ли это проклятие

на самой археологии.

Когда в Стратфорде стояла хорошая погода, мы с бабушкой Рут — за нами на натянутом поводке плелся кокер-спаниель Янтарь — отправлялись гулять, как уверяла бабушка, излюбленной тропой мистера Шекспира. Начиная путь от Колледж-стрит, мы проходили мимо силосного зернохранилища, мимо пенистого мельничного лотка, переходили Эйвон по мосткам, а дальше шли по тропе до Уир-Брейка.

Это был сбегавший до самой реки лесок с зарослями орешника на склоне. Весной там цвели примулы и колокольчики. Летом буйно разрастались крапива, ежевика и пурпурный вербейник, а внизу плескалась грязноватая водица.

Бабушка говорила, что сюда мистер Шекспир ходил на свидания с юной девушкой. Это был тот самый берег, где вился «дикий тимьян». Но она никогда не объясняла, что такое свидание, и, сколько бы я ни искал, там не было ни тимьяна, ни буквиц, хотя несколько поникших фиалок мне удалось-таки обнаружить[4].

Много позже, когда я уже прочел пьесы мисте-

---

[4] Примечания: 4

Отсылка к словам Оберона из «Сна в летнюю ночь», акт II, сцена 1: «Есть холм в лесу: там дикий тмин растет, / Фиалка рядом с буквицей цветет…» Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

ра Шекспира и узнал, что такое свидание, мне пришло в голову, что Уир-Брейк — слишком уж грязное и колючее место, чтобы там встречались Титания и Основа, зато Офелия вполне могла бы там утопиться.

Бабушка Рут любила читать Шекспира вслух, и в те дни, когда трава была сухой, я свешивал ноги над речкой и слушал, как она декламирует: «О музыка, ты пища для любви…»[5], «Не действует по принужденью милость…»[6] или «Отец твой спит на дне морском…»[7].

Слова «Отец твой спит на дне морском…» страшно печалили меня, потому что мой отец все еще был в море. Мне много раз снился один и тот же сон: будто его корабль затонул, а у меня выросли жабры и рыбий хвост и я поплыл на дно океана, чтобы разыскать его там, — и нашел блестящие жемчужины, что когда-то были его ярко-синими глазами.

Спустя год или два моя бабушка, разнообра-

---

[5] Примечания: 5

«Двенадцатая ночь», акт I, сцена 1. Перевод Э. Линецкой.

[6] Примечания: 6

«Венецианский купец», акт IV, сцена 1. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

[7] Примечания: 7

«Буря», акт I, сцена 2. Перевод М. Донского.

зия ради, стала брать с собой, помимо мистера Шекспира, антологию стихов, составленную специально для путешественников. Назывался этот сборник «Свободная дорога». У нее был зеленый клеенчатый переплет, а обложку украшали позолоченные ласточки.

Я любил наблюдать за ласточками. Весной, когда они прилетали, я знал, что скоро мои легкие очистятся от зеленой флегмы. Осенью, когда они весело щебетали, сидя на телеграфных проводах, мне почти удавалось сосчитать дни, оставшиеся до эвкалиптового ингалятора.

Внутри «Свободной дороги» были черно-белые форзацы в стиле Обри Бердслея, они изображали узкую тропинку, вьющуюся по сосновому бору. Мы одолевали стихотворения сборника одно за другим.

Мы вставали и шли на Иннисфри. Мы текли по темным гротам без числа. Мы бродили, как тучи одинокой тень. Мы были счастливы в блеске дня, оплакивали Люсидаса, в слезах брели в чужих полях[8] и слушали скрипучую, завораживающую

[8] Примечания: 8

Несколько измененные цитаты из стихотворений У. Б. Йейтса «Остров Иннисфри», С. Т. Кольриджа «Кубла-Хан», У. Уордсворта «Нарциссы», У. Блейка «Песня», Дж. Китса «Ода соловью» и аллюзия на поэму Д. Мильтона «Люсидас».

музыку Уолта Уитмена:

> *О, Большая Дорога…*
>
> *Ты выражаешься яснее за меня, чем я бы смог.*
>
> *Ты станешь для меня важнее, чем мои стихи.*

Однажды бабушка Рут сказала мне, что когда-то наша фамилия писалась «Четтевинде», что на англосаксонском означало «извилистая дорога»; тогда в моей голове и зародилась догадка, что существует таинственная связь между этими тремя вещами: поэзией, моим именем и дорогой.

Что касается чтения перед сном, то больше всего я любил рассказ о щенке койота из «Рассказов о животных» Эрнеста Сетон-Томпсона.

Мать Тито застрелил пастух Джейк. Тито была самым маленьким щенком в семье, но всех братьев и сестер перебили, а ее пощадили, чтобы сделать забавой для бультерьера и борзых Джейка. Изображение Тито в цепях было самым печальным портретом щеночка, какое мне попадалось. Но она выросла смышленой и однажды утром, притворившись дохлой, вырвалась на волю, чтобы научить новое поколение койотов избегать людей.

Сейчас уже не могу припомнить, с чего началась та цепочка ассоциаций, которая заставила меня связать стремление Тито к свободе с Обходом австралийских аборигенов. Я даже не могу вспомнить, когда именно впервые услышал это выражение — Обход. И все же откуда-то у меня взялся этот образ: «ручные» чернокожие, которые сегодня мирно и счастливо трудятся на скотоводческой станции, завтра, не сказав никому ни слова и *безо всякой причины*, сматывают удочки и исчезают в голубых просторах.

Они сбрасывали свою рабочую одежду и уходили — на недели, месяцы или даже годы, пересекая полконтинента, чтобы с кем-нибудь повстречаться, а потом как ни в чем не бывало возвращались обратно.

Я пытался вообразить себе лицо работодателя в тот момент, когда он обнаруживал их исчезновение.

Мне представлялось, что это шотландец — великан с нездоровой кожей и полным ртом непристойностей. Я так и видел, как он завтракает бифштексом и яичницей: в те дни, когда продовольствие у нас выдавалось по карточкам, мы знали, что все австралийцы непременно съедают на завтрак по фунту мяса. А потом он

выходил на ослепительный солнечный свет — солнце в Австралии всегда ослепительное — и звал своих «ребят».

Тишина.

Он снова кричал. Ни звука — только глумливый хохот кукабары. Он всматривался в горизонт. Ничего — одни только эвкалипты. Подкрадывался к загонам для скотины. Там тоже ни души. И вдруг, рядом с лачугами, он замечал рубашки, шляпы и башмаки, торчащие из пустых штанов…

3

В кофейне Аркадий заказал два капучино. Мы уселись за столиком возле окна, и он начал рассказ.

Я был изумлен проворством его ума, хотя временами мне казалось, что он рассуждает почти как лектор и многое из того, что он говорил, уже говорилось раньше.

Философия аборигенов геоцентрична. Земля дает жизнь человеку, дает ему пищу, язык и разум, а когда он умирает, все это снова возвращается к земле. Родной край человека, пускай даже это полоска пустоши, заросшая мятликом, уже сама по себе святыня, которая должна оставаться неповрежденной.

— В смысле, не поврежденной шоссе, разработками, железными дорогами?

— Поранить землю, — отвечал он с серьезным видом, — значит поранить себя самого, а если твою землю ранят другие, они ранят и тебя. Земля должна оставаться нетронутой, какой она была во Времена Сновидений, когда Предки создавали мир своим пением.

— Похожее прозрение, — заметил я, — было у Рильке. Он тоже говорил, что песня — это существование.

— Знаю, — сказал Аркадий, подперев подбородок руками. — В третьем сонете к Орфею.

Аборигены, продолжал он, ступают по земле легкой поступью; и чем меньше они у нее забирают, тем меньше должны отдавать взамен. Они никогда не могли взять в толк, отчего миссионеры запрещают им совершать невинные жертвоприношения. Они же никого не убивают — ни животных, ни людей. Просто в знак благодарности надрезают себе вены на предплечьях и дают капелькам крови пролиться на землю.

— Не такая уж высокая цена, — заметил Аркадий. — Войны двадцатого века — та цена, которую нам пришлось заплатить за то, что мы взяли слишком много.

— Понятно, — неуверенно кивнул я. — Но нельзя ли нам вернуться к Тропам Песен?

— Можно.

Я приехал в Австралию для того, чтобы попытаться самому — не из чужих книжек — узнать, что такое Тропы Песен и как они работают. Ясно было, что до самой сути мне не добраться, да я к этому и не стремился. Спросил у аделаидской

приятельницы, не знает ли она эксперта по вопросу. Она дала мне телефон Аркадия.

— Ты не против, если я буду записывать?

— Валяй.

Я вытащил из кармана черный блокнот в клеенчатой обложке с эластичной лентой, удерживающей страницы вместе.

— Симпатичный блокнотик, — заметил Аркадий.

— Раньше я покупал их в Париже, — сказал я. — Но теперь там таких уже не делают.

— В Париже? — повторил он, приподняв бровь, как будто никогда в жизни не слышал ничего более претенциозного.

Потом подмигнул и продолжил рассказывать.

Чтобы разобраться в представлениях о Временах Сновидений, говорил он, нужно понять, что это как бы аборигенский аналог первых двух глав Книги Бытия — с одним только важным отличием.

В Книге Бытия Бог сначала сотворил «зверей земных», а потом из глины вылепил праотца Адама. Здесь же, в Австралии, Предки сами себя создали из глины, и были их сотни и тысячи — по одному для каждого вида тотема.

— Поэтому, когда австралиец сообщает тебе:

«У меня Сновидение валлаби», он хочет сказать: «Мой тотем — валлаби. Я принадлежу к роду валлаби».

— Значит, Сновидение — это эмблема рода? Значок, позволяющий отличать своих от чужих? Свою землю от чужой?

— Да, но не только, — сказал Аркадий.

Каждый человек-валлаби верил, что происходит от общего праотца-валлаби, который является Предком всех других людей-валлаби и всех ныне живущих валлаби. Следовательно, валлаби — его братья. Убивать их ради мяса — братоубийство и каннибализм.

— И все же, — настаивал я, — этот человек такой же валлаби, как британцы — львы, русские — медведи, а американцы — белоголовые орланы?

— Сновидением, — отвечал Аркадий, — может стать любое существо. Даже вирус. Можно иметь Сновидение ветряной оспы, Сновидение дождя, Сновидение пустынного апельсина, Сновидение вшей. В Кимберли кто-то обзавелся даже Сновидением денег.

— Ага, у валлийцев есть лук-порей, у шотландцев — чертополох, а Дафна превратилась в лавр.

— Ну да, старая как мир песня, — сказал Ар-

кадий.

Он продолжил рассказ. Считалось, что каждый Предок-тотем, путешествуя по стране, рассыпáл вереницу слов и музыкальных нот по земле, рядом со своими следами, и эти линии, «маршруты Сновидений», опутывали весь континент и служили путями сообщения между самыми удаленными друг от друга племенами.

— Песня, — говорил Аркадий, — являлась одновременно и картой, и указателем направления. Если хорошо знаешь песню, то найдешь дорогу в любом месте страны.

— И человек, отправившийся в Обход, всегда шел вдоль одной из этих песенных троп?

— В старые времена — да, — подтвердил Аркадий. — Теперь ездят на поезде или на машине.

— А если собьется со своей песенной тропы?

— Нарушит границу. За такое в него могут метнуть копье.

— Но пока он строго держится маршрута, ему всегда будут встречаться люди, у которых общее с ним Сновидение? То есть, по сути, своих братьев?

— Да.

— И он вправе ждать от них радушного приема?

— А они — от него.

— Выходит, песня — это нечто вроде паспорта и талона на обед?

— Опять-таки все гораздо сложнее.

По идее, всю Австралию можно считать музыкальной партитурой. Едва ли нашлась бы во всей стране хоть одна скала или речушка, которая осталась невоспетой. Наверное, можно рассматривать Тропы Песен как бесконечные строки местных «Илиад» и «Одиссей», извивающиеся, как длинные макароны, то в одну, то в другую сторону, и каждый эпизод этих эпических поэм толковать с помощью геологических понятий.

— Под словом «эпизод», — спросил я, — ты имеешь в виду «священное место»?

— Ну да.

— Вроде тех, что ты включаешь в отчет для железнодорожников?

— В некотором роде, — сказал он. — В буше можно ткнуть куда угодно и спросить у аборигена, который идет с тобой: «А тут что за история?» или «Кто это?». Скорее всего, он ответит: «Кенгуру», «Волнистый Попугайчик» или «Бородатая Ящерица» — в зависимости от того, какой Предок там проходил.

— А расстояние между двумя такими местами

можно рассматривать как отрывок песни?

— Вот здесь и кроется, — ответил Аркадий, — причина всех моих споров с железнодорожниками.

Одно дело — уверить землемера в том, что груда валунов — это яйца Радужной Змеи, а глыба красноватого песчаника — печень пронзенного копьем Кенгуру. И совсем другое — убедить его в том, что невзрачная полоска гравия — музыкальный аналог сто одиннадцатого опуса Бетховена.

Создавая мир своим пением, продолжал он, Предки становились поэтами в исконном смысле этого слова: ведь *poesis* означает «творение». Ни один абориген не мог и помыслить, что сотворенный мир был хоть в чем-то несовершенным. В его религиозной жизни имелась единственная цель: сохранить землю такой, какой она должна быть всегда. Человек, отправлявшийся в Обход, совершал ритуальное странствие. Он ступал по стопам своего Предка. Пел строфы, сложенные Предком, не изменяя в них ни единого слова, ни единой ноты — и тем самым заново совершая Творение.

— Иногда, — говорил Аркадий, — я везу своих стариков по пустыне, мы подъезжаем к гребню дюн, и все они вдруг принимаются петь. «Что поете, народ?» — спрашиваю я, а они в ответ: «Поем

землю, босс. Так она быстрее показывается».

Аборигены не понимают, как земля может существовать, пока они ее не увидят и не «пропоют», — как во Времена Сновидений не было земли до тех пор, пока Предки ее не воспели.

— Выходит, прежде всего земля должна существовать как умственное понятие? — спросил я. — А затем ее нужно пропеть? Только после этого можно говорить о том, что она существует?

— Верно.

— Иными словами, «существовать» означает «восприниматься».

— Да.

— Подозрительно похоже на опровержение материи у епископа Беркли.

— Или на буддизм чистого разума, — ответил Аркадий. — Там мир тоже видится наваждением.

— В таком случае четыреста пятьдесят километров железа, которое разрежет на куски бессчетные песни, должны вызвать у твоих стариков настоящее умственное расстройство.

— И да и нет, — ответил он. — Они очень непрошибаемы в смысле эмоций и к тому же весьма прагматичны. Кроме того, они видели и кое-что похуже железных дорог.

Аборигены верят, что все «звери земные» были сначала тайно сотворены под корой земли — как и все механизмы белого человека: аэропланы, ружья, «тойоты-лендкрузеры». То же самое относится и ко всем будущим изобретениям: они пока дремлют под землей, ожидая своей очереди подняться наверх.

— Тогда, быть может, — предположил я, — старики могли бы воспеть железную дорогу, чтобы и ей нашлось место в сотворенном Богом мире?

— Вот именно, — сказал Аркадий.

4

Был уже шестой час. Вечерний свет сочился вдоль улицы; из окна мы увидели группу чернокожих ребят в клетчатых рубахах и ковбойских шляпах, которые, покачиваясь под цезальпиниями, шли в сторону паба.

Официантка смахивала со столов остатки еды. Аркадий попросил ее принести еще кофе, но та сказала, что уже выключила машину. Он поглядел в свою пустую чашку и нахмурился.

Потом поднял на меня взгляд и неожиданно спросил:

— А почему тебя все это интересует? Что ты здесь ищешь?

— Я приехал сюда, чтобы проверить одну идею.

— Важную?

— Скорей очевидную. Просто мне нужно от нее избавиться.

— Ну и?

Видя внезапную перемену в его настроении, я занервничал. Начал объяснять, что однажды безуспешно пытался написать книгу о кочевниках.

— О кочевниках-пастухах?

— Нет. Просто о кочевниках. О номадах. *Nomos* по-гречески — «пастбище». Номады кочуют с пастбища на пастбище. Так что кочевники-пастухи — это уже плеоназм.

— Принято, — сказал Аркадий. — Продолжай. Почему о кочевниках?

И я рассказал, что, когда мне было лет двадцать с небольшим, я работал экспертом по современной живописи в одной известной фирме, продававшей картины на аукционах. У нее были торговые залы в Лондоне и Нью-Йорке. Я входил в число блестящих молодых кадров. Мне говорили, что меня ждет отличная карьера, если только я буду умело пользоваться обстоятельствами. Но однажды утром я проснулся слепым.

В течение дня зрение постепенно вернулось к левому глазу, а вот правый оставался вялым и затуманенным. Окулист, осматривавший меня, сказал, что никаких нарушений в тканях нет, и диагностировал природу заболевания.

— Вы слишком пристально смотрели на картины вблизи, — сказал врач. — Почему бы вам на время не отправиться в путешествие, поглядеть вдаль?

— Почему бы нет? — отозвался я.

— А куда бы вам хотелось поехать?

— В Африку.

Президент компании не сомневался в том, что с моими глазами и впрямь что-то не так, но не мог понять, зачем мне понадобилось ехать в Африку.

Я поехал в Судан. Зрение вернулось ко мне, как только я добрался до аэропорта.

Я проплыл на торговой фелюге по колену реки мимо Донголы. Побывал у «эфиопов» — таков был эвфемизм, означавший бордель. Едва унес ноги от бешеной собаки. В больнице, где не хватало персонала, я выступил в роли анестезиолога, помогая делать кесарево сечение. Потом я подружился с геологом, который разведывал минералы в горах у Красного моря.

Это была земля кочевников-беджа: Киплинговы фаззи-ваззи[9], которым на всех было плевать — на египетских фараонов и на британскую кавалерию при Омдурмане.

Эти высокие и худые люди носили хлопчатобумажные одеяния цвета песка, перевязанные на груди крест-накрест, щиты из слоновьей кожи, «мечи крестоносцев», заткнутые за пояс. Они приходили в деревни, чтобы выменять мясо на

---

[9] Примечания: 9

Фаззи-ваззи — воины суданского племени, прославленного Киплингом в одноименной балладе. — *Примеч. ред.*

зерно. Глядели на деревенских с презрением, словно те — просто скот.

При первых рассветных лучах, когда стервятники на крышах расправляли крылья, мы с геологом наблюдали за тем, как эти люди наводят ежеутренний марафет.

Они смазывали друг другу волосы ароматическим козьим жиром и закручивали в курчавые пряди, так что у каждого на голове образовывался плотный масляный зонтик — он служил им тюрбаном и не давал мозгам свариться на дневном пекле. К вечеру жир таял, и кудри теряли упругость, превращаясь в свалявшуюся волосяную подушку.

Нашим погонщиком верблюдов был проказник по имени Махмуд, у которого над головой красовалась буйная копна волос. Для начала он украл у нас геологический молоток. А потом оставил на видном месте свой нож — чтобы его украли мы. Затем, громко хохоча, мы обменялись своими кражами и сделались закадычными друзьями.

Когда геолог отбыл обратно в Хартум, Махмуд повел меня в пустыню — осматривать наскальные росписи.

Земля к востоку от Дерудеба была выжженной

и иссохшей, в вади[10], среди длинных серых утесов, росли дум-пальмы. Равнины пестрели акациями с плоскими вершинами, которые в ту пору года стояли без листьев, зато с длинными белыми колючками, похожими на сосульки, и с напылением из желтых цветов. Ночью, когда я лежал без сна под звездами, города западного мира представлялись мне тоскливыми и чуждыми, а претенциозность «мира искусства» казалась просто идиотизмом. Во мне зародилось чувство, будто наконец я вернулся домой.

Махмуд обучал меня искусству читать следы на песке: вот здесь прошли газели, тут шакалы, это лисицы, а там — женщины. Как-то раз, взяв след, мы увидели стадо диких ослов. Однажды ночью мы совсем близко услышали кашель леопарда. А как-то утром Махмуд отрубил голову африканской гадюке, которая свернулась под моим спальным мешком, и поднес мне на кончике меча ее обезглавленное тело. Еще ни с кем я не чувствовал себя в такой безопасности — и в то же время ни с кем не ощущал большей несовместимости.

У нас было три верблюда: два — для нас, третий

---

[10] Примечания: 10

Вади — арабское название высохших русел рек. — *Примеч. ред.*

— для бурдюков с водой. Но обычно мы предпочитали передвигаться пешком. Я шел в башмаках, Махмуд — босиком. Ни у кого больше я не видел такой легкой поступи. Шагая, он пел. Чаще всего — песню о девушке из Вади-Хаммамата, прелестной, как длиннохвостый попугай. Три верблюда составляли все имущество Махмуда. У него не было стада, и, равнодушный ко всему, что мы зовем словом «прогресс», он не желал ничем владеть.

Мы нашли наскальные росписи: кеглеподобные фигурки людей, нацарапанные красной охрой на выступе скалы. Поблизости лежал длинный плоский валун с трещиной на одном конце, а поверхность его, будто оспинами, была испещрена чашеобразными ямками. Махмуд сказал, что это тот самый Дракон, которому отсек голову Али.

Он спросил у меня с коварной улыбкой, верю ли я в Бога. За две недели я ни разу не видел, чтобы он молился.

Позже, уже вернувшись в Англию, я нашел фотографию, изображавшую фаззи-ваззи, высеченного на рельефе египетской гробницы двенадцатой династии в Бени-Хассане: жалкая, худая фигура, похожая на жертву засухи в Сахеле. В этой фигуре хорошо узнавался мой Махмуд.

Фараоны исчезли с лица земли — Махмуд и его народ дожили до наших дней. Я почувствовал, что мне необходимо узнать тайну их вечной и непочтительной живучести.

Я бросил работу в «мире искусства» и вновь отправился путешествовать по засушливым краям — в одиночку, налегке. Названия племен, среди которых мне довелось странствовать, не имеют значения: регейбат, кашкайцы, таймани, туркмены, бороро, туареги — все это были люди, чьи путешествия, в отличие от моих, не имели ни начала, ни конца.

Я спал в черных и синих палатках, в кожаных шатрах, в войлочных юртах и в ветроломах из колючек. Однажды ночью, попав в песчаную бурю в Западной Сахаре, я понял изречение Мухаммеда: «Путешествие — это частица ада».

Чем больше я читал, тем больше утверждался в мысли, что кочевники издревле были рычагом истории — хотя бы потому, что все крупнейшие монотеистические религии зародились именно в пастушеской среде…

Аркадий смотрел в окно.

5

На тротуар заехал и припарковался раздолбанный красный грузовик. В кузове среди множества тюков и канистр сидели, прижавшись друг к другу, пять чернокожих женщин. Платья и головные платки у них были покрыты пылью. Водитель — дюжий детина с пивным брюхом, в засаленной войлочной шляпе, нахлобученной на спутанные волосы, — высунулся из дверцы кабины и что-то закричал пассажирам. Вышел долговязый старик и показал на какой-то предмет, торчавший среди тюков.

Одна из женщин передала ему нечто трубчатое, завернутое в прозрачный полиэтилен. Старик забрал сверток, повернул голову, и тут Аркадий узнал его.

— Это мой старый приятель Стэн, — сказал он. — Из Попанджи.

Мы вышли на улицу, и Аркадий стиснул старика Стэна в объятиях. Стэн явно забеспокоился, не раздавит ли тот его самого или предмет в полиэтиленовой упаковке, и вздохнул с заметным облегчением, когда Аркадий его отпустил.

Я наблюдал за этой сценой, стоя в дверях.

У старика, одетого в грязную желтую рубаху, были мутные красные глаза, а борода и волосы на груди напоминали кольца дыма.

— Что это у тебя, Стэн? — спросил Аркадий.

— Картина, — ответил Стэн с глуповатой улыбкой.

— Что ты с ней собираешься делать?

— Продать.

Стэн был старейшиной племени пинтупи. Дюжий детина за рулем — его сыном Альбертом. Семья приехала в город, чтобы продать одну из картин Стэна миссис Лейси, владелице книжного магазина и картинной галереи «Пустыня».

— А ну-ка! — Аркадий нетерпеливо ткнул пальцем в сверток. — Давай поглядим!

Но старик Стэн опустил уголки рта, стиснул пальцы и пробормотал:

— Сначала я должен показать ее миссис Лейси.

Кофейня закрывалась. Официантка уже взгромоздила стулья на столы и пылесосила ковер. Мы расплатились и вышли на улицу. Альберт, прислонившись к грузовику, разговаривал с женщинами. Мы зашагали по тротуару к книжному магазину.

Пинтупи были последним «диким племенем»,

которое вывезли из Западной пустыни и познакомили с белой цивилизацией. До конца 1950-х годов они промышляли охотой и собирательством, бродя голыми по песчаным холмам, как делали это вот уже десять тысяч лет.

Пинтупи — беззаботный и отзывчивый народ, не практиковавший жестоких обрядов инициации, принятых у оседлых племен. Мужчины охотились на кенгуру и эму. Женщины собирали семена, коренья и съедобные личинки. Зимой укрывались в ветроломах из спинифекса и даже в самый палящий зной редко оставались без воды. Выше всего они ценили пару крепких ног и никогда не переставали смеяться. Те немногочисленные белые, кто встречал пинтупи во время путешествий, изумлялись упитанному и здоровому виду их малышей.

Однако правительство придерживалось мнения, что людей каменного века следует спасать — хотя бы во имя Христа. Кроме того, правительству была нужна Западная пустыня — для разработок новых месторождений, а может быть, и для ядерных испытаний. Пришло распоряжение посадить всех пинтупи в армейские грузовики и перевезти их на отведенные правительством территории. Многих отправили в Попанджи — поселение к

западу от Алис-Спрингс. Там они погибали от эпидемий, вступали в стычки с людьми из чужих племен, спивались и пыряли друг друга ножами.

Даже живя в пленении, матери-пинтупи, подобно хорошим матерям во всем мире, рассказывают своим детям сказки о происхождении животных: «Откуда у Ехидны колючки», «Почему Эму не умеет летать», «Отчего Ворона такая черная и блестящая»... Подобно тому, как Киплинг сам иллюстрировал свои «Сказки просто так», мать-туземка чертит на песке картинки странствий героев Времен Сновидений.

Она рассказывает сказку отрывистой скороговоркой и одновременно чертит «следы» Предка, попеременно проводя по земле указательным и средним пальцами, так что получается двойная пунктирная линия. Она стирает ладонью эпизод за эпизодом странствия, а под конец очерчивает круг, пересеченный еще одной линией — наподобие заглавной буквы Q.

Круг этот обозначает то место, где Предок, уставший от трудов Творения, снова ушел «восвояси».

Рисунки на песке, какие делаются для детей, — лишь наброски или «вариации на тему» *настоящих* рисунков, изображающих *настоящих* Предков, которые выполняются во время тайных

церемоний и предназначены лишь для посвященных. В то же время именно благодаря этим наброскам дети знакомятся со своей землей, с ее мифологией и природными богатствами.

Несколько лет назад, когда драки и пьянство грозили выйти из-под контроля, один белый советник додумался до спасительной идеи: выдать пинтупи холсты и краски, чтобы те изображали свои Сновидения в картинах.

Результат последовал немедленно: родилась австралийская школа абстрактной живописи.

Вот уже восемь лет старый Стэн Тджакамарра работал художником. Завершив очередное полотно, он отвозил его в книжный магазин «Пустыня», где миссис Лейси подсчитывала стоимость израсходованных материалов и сразу же выплачивала ему гонорар.

6

Мне понравилась Инид Лейси. Я провел часа два в ее книжном магазине. Безусловно, она знала толк в своем деле. Прочитала почти все книги о Центральной Австралии и старалась держать у себя хотя бы по экземпляру каждой. В комнате, служившей залом картинной галереи, она поставила два удобных стула для покупателей. «Читайте, сколько душе угодно, — говорила она. — Я вас не заставляю ничего покупать!» Прекрасно понимала, что, посидев на этом стуле, уже никто не уйдет без покупки.

Инид, старожилке Северной Территории, было лет под семьдесят. Волосы у нее были крашеные, золотисто-каштановые, а нос и подбородок казались чересчур заостренными. Она носила две пары очков (болтавшихся на цепочках) и парочку опаловых браслетов на иссушенных солнцем запястьях. «Лично мне опалы всегда приносили удачу», — сказала она мне.

Ее отец был когда-то управляющим на скотоводческой станции неподалеку от Теннант-Крика. Она прожила бок о бок с аборигенами всю жизнь,

втайне обожала их и на дух не переносила, когда про них рассказывают всякие глупости.

Она перевидала все старые поколения австралийских антропологов и была невысокого мнения о новых: «продавцы тарабарщины» — так она их называла. Правда состояла в том, что, хотя миссис Лейси и старалась держать себя в курсе всех свежих теорий, хотя она героически пыталась осилить книги Леви-Стросса, ей так и не удалось сильно продвинуться вперед. При этом всякий раз, как затевались споры о делах аборигенов, она принимала самый что ни на есть важный вид и вместо «я» начинала говорить «мы» — не королевское «мы», а «мы», означавшее «совокупность научных мнений».

Она одной из первых заметила достоинства живописи пинтупи.

Будучи проницательной деловой женщиной, она знала, когда можно предоставить художнику кредит, а когда нет, или вовсе отказать ему в гонораре, если художнику явно не терпелось выпить. Когда кто-нибудь из ее «ребят» появлялся, едва держась на ногах, перед закрытием (а «Фрейзер-Армз» в это время как раз открывался), она цокала языком и говорила: «Ну надо же! Никак не могу отыскать ключ от кассы. Придется тебе

завтра утром зайти». Когда же наутро художник возвращался, благодарный ей за то, что не дала ему пропить заработок, она грозила ему пальцем и спрашивала: «Домой возвращаешься? Да? Не так ли?» — «Да, мэм!» — отвечал тот, и тогда она добавляла ему немного денег сверху — на жену и детей.

Миссис Лейси платила за картины гораздо меньше, чем галереи в Сиднее или Мельбурне, но и продавала она их значительно дешевле, и картины у нее всегда хорошо раскупались.

Иногда какой-нибудь социальный работник обвинял ее в том, что она обдирает художников, зато деньги из Сиднея или Мельбурна обычно переходили кооперативам аборигенов, а миссис Лейси всегда платила наличными и на месте. Ее «ребята» знали толк в удачных сделках и всегда возвращались в книжный магазин.

Мы вошли туда вслед за Стэном.

— Ты опоздал, болван! — сказала миссис Лейси и поправила очки на носу.

Он пробирался к ее столу, протискиваясь бочком между двумя посетителями и книжным шкафом.

— Я же говорила тебе — приходи во вторник, — продолжила она. — Вчера приезжал тот человек

из Аделаиды. Теперь нам придется ждать еще месяц.

Посетителями магазина была супружеская пара, американские туристы, которые никак не могли решить, какую из двух книг с цветными вклейками купить. У мужчины в синих бермудах и желтой спортивной рубашке было загорелое веснушчатое лицо. На его жене, симпатичной, но несколько изможденной блондинке, было красное платье из батика с аборигенским узором. В руках они держали книги «Австралийские Сновидения» и «Сказки Времен Сновидений».

Старик Стэн положил свой сверток на стол миссис Лейси. Помотав головой, пробормотал что-то извиняющимся тоном. Его едкий запах разлился по всей комнате.

— Идиот! — закричала миссис Лейси. — Я же тебе тысячу раз говорила. Покупателю из Аделаиды не нужны картины Гидеона. Ему нужны твои картины.

Мы с Аркадием держались немного в стороне, возле полок, где стояли труды, посвященные обычаям аборигенов. Американцы навострили уши и прислушивались к разговору.

— Я понимаю, о вкусах не спорят, — продолжала миссис Лейси. — Он утверждает, что ты

— лучший художник в Попанджи. Он крупный коллекционер. Ему виднее.

— Это правда? — поинтересовался американец.

— Да, — ответила миссис Лейси. — У меня расходится все, что выходит из рук мистера Тджакамарры.

— А нельзя ли нам взглянуть? — спросила американка. — Пожалуйста.

— Не знаю, — ответила миссис Лейси. — Спросите самого художника.

— Нельзя ли нам взглянуть?

– *Можно* ли им взглянуть?

Стэн затрясся, сгорбился и закрыл лицо руками.

— Можно, — сказала миссис Лейси, любезно улыбнувшись и разрезав ножницами полиэтиленовую упаковку.

Стэн отнял пальцы от лица и, взявшись за край холста, помог миссис Лейси развернуть его.

Картина была большая — почти метр двадцать на девяносто. Фоном служили пуантилистские точки различных оттенков охры. Центр занимал большой синий круг, а вокруг него расположились несколько кругов поменьше. Каждый круг был обведен по периметру алым ободком, и

все они соединялись между собой лабиринтом волнистых, розовых, как фламинго, толстых черточек, которые немного смахивали на внутренности.

Миссис Лейси сняла одни очки, надела другие и спросила:

— Ну, что это здесь у тебя, Стэн?

— Медовый Муравей, — прошептал он хриплым голосом.

— Медовый Муравей, — объяснила она американцам, — один из тотемов в Попанджи. На этой картине изображено Сновидение Медового Муравья.

— Мне кажется, она красивая, — задумчиво произнесла американка.

— Это вроде обычного муравья? — спросил американец. — Вроде муравья-термита?

— Нет-нет, — ответила миссис Лейси. — Медовые муравьи совсем не такие. Они питаются соком мульги. Мульга — разновидность акации, которая растет у нас в пустыне. И эти муравьи отращивают себе на заду медовые мешочки, которые выглядят как прозрачные пластиковые пузыри.

— Правда? — спросил мужчина.

— Я их ела, — ответила миссис Лейси. — Очень

вкусно!

— Да, — вздохнула американка. Она глаз не отводила от картины. — По-своему она очень красивая!

— Но я не вижу на этой картине ни одного муравья, — сказал мужчина. — Может, это… Может, на ней изображен муравейник? А эти розовые трубочки — проходы?

— Нет. — Миссис Лейси несколько приуныла. — На этой картине изображено странствие Медового Муравья-Предка.

— То есть это дорожная карта? — улыбнулся тот. — Да, я так и подумал, что это похоже на дорожную карту.

— Именно, — подтвердила миссис Лейси.

Тем временем жена американца то открывала, то снова закрывала глаза, чтобы узнать, какое впечатление произведет на нее картина, когда она окончательно их раскроет.

— Красиво, — повторила она.

— А вы, сэр! — обратился американец к Стэну. — Вы сами едите этих медовых муравьев?

Стэн кивнул.

— Нет! Нет! — пронзительно закричала жена. — Я же тебе объясняла сегодня утром. Свой тотем не едят! Если ты съешь своего Предка, тебя

за это убьют!

— Дорогая моя, этот джентльмен утверждает, что ест медовых муравьев. Я правильно вас понял, сэр?

Стэн снова кивнул.

— Кажется, я запуталась, — сказала женщина растерянно. — Вы хотите сказать, что Медовый Муравей — не ваше Сновидение?

Стэн затряс головой.

— А какое тогда *ваше*?

Старик задрожал, совсем как школьник, которого заставляют выдать секрет, и едва выдавил из себя:

— Эму.

— Ну, теперь я *совсем* запуталась. — Женщина разочарованно кусала губу.

Ей понравился этот старик в желтой рубахе с обмякшим ртом, понравилась история о медовых муравьях, ползущих по пустыне под ярким солнцем, которое золотит им медовые мешочки. Ей уже полюбилась эта картина, захотелось ее купить, захотелось, чтобы старик подписал ее, но теперь она снова задумалась.

— А что, если, — медленно и осторожно проговорила она, — мы оставим деньги у миссис…

— Лейси, — подсказала миссис Лейси.

— Не могли бы вы тогда написать для нас картину, изображающую Сновидение Эму, и отослать ее… Попросить миссис Лейси отослать ее в Соединенные Штаты?

— Нет, — вмешалась миссис Лейси. — Не может. Ни один художник не изображает собственное Сновидение. Оно слишком могущественно. Оно может убить его.

— Ну, тогда я *совсем* запуталась. — Женщина заломила руки. — Вы хотите сказать, что ему нельзя изображать собственное Сновидение, но можно изображать чужие?

— Я понял, — сказал ее муж, просияв. — Ему нельзя есть эму, но можно есть медовых муравьев. Так и с картиной. Да?

— Вы правильно все поняли, — сказала миссис Лейси. — Мистеру Тджакамарре нельзя изображать Сновидение Эму, потому что эму — его тотем по отцовской линии, и изображать его было бы святотатством. А медового муравья ему изображать можно, потому что это тотем сына брата его матери. Верно я говорю, Стэн? Ведь Медовый Муравей — это Сновидение Гидеона?

Стэн моргнул и сказал:

— Верно!

— Гидеон, — продолжала миссис Лейси, — ри-

туальный ассистент Стэна. Они оба рассказывают друг другу, что им можно, а что нельзя изображать.

— Кажется, я понимаю, — неуверенно произнесла американка. Но у нее по-прежнему был довольно растерянный вид, и ей понадобилось время, чтобы перейти к следующей мысли. — Вы говорили, что этот мистер Гидеон — тоже художник?

— Художник, — подтвердила миссис Лейси.

— И он изображает Сновидения Эму?

— Да.

— Как здорово! — Женщина неожиданно рассмеялась и захлопала в ладоши. — Значит, мы можем купить по одной у каждого и повесить их в паре.

— Подожди, дорогая, — возразил ее муж, пытаясь унять ее восторг. — Вначале нам надо убедиться, что эта картина с Медовым Муравьем продается. А если да, то за сколько?

Миссис Лейси взмахнула ресницами и лукаво сказала:

— Не знаю. Вам нужно спросить художника.

Стэн повращал белками глаз, уставился в потолок и зашелестел губами. Видимо, он прикидывал, какую цену дала бы ему миссис Лейси,

и умножал ее на два. Наверняка и он, и миссис Лейси уже неоднократно ломали эту комедию. Потом он опустил голову и сказал:

— Четыреста пятьдесят.

— Австралийских долларов, — вставила миссис Лейси. — Разумеется, мне придется взять с вас комиссионные. Десять процентов! Это будет вполне справедливо. А за краски и холст я накину еще двадцать.

— Процентов?

— Долларов.

— Ну, это по-божески, — сказал мужчина с явным облегчением.

— Она *очень* красивая, — произнесла женщина.

— Ну, ты рада? — спросил ее муж успокаивающим тоном.

— Да, — сказала она. — Я *очень* рада!

— Можно расплатиться «Американ-экспрессом»?

— Конечно, — отозвалась миссис Лейси. — Если вас не смущают *их* комиссионные.

— Отлично. — Мужчина сделал большой вдох. — А теперь я хочу узнать, что тут происходит. На картине.

Мы с Аркадием тихонько подошли поближе,

замерли за спинами американцев и стали наблюдать, как старик Стэн тычет своим костлявым пальцем в большой синий круг на холсте.

Он объяснил, что это Вечный Дом Медового Муравья-Предка в Татата. И вдруг мы все увидели полчища медовых муравьев с блестящими полосатыми телами, лопавшимися от нектара, в своих сотах под корнями мульги. Мы увидели кольцо огненно-красной земли, окружающее вход в их муравейник, и дорожки, по которым они разбегались в другие места.

— Эти круги, — пояснила, в свою очередь, миссис Лейси, — обрядовые центры медовых муравьев. А «трубочки», как вы их назвали, — Пути Сновидений.

Американец, похоже, был покорен:

— А мы можем поехать поглядеть на эти Тропы Сновидений? Ну, там, где они на самом деле проходят? Как в Айерс-Роке? В такое же место?

— Они могут, — ответила она. — *Вы* — нет.

— Вы хотите сказать, что они невидимы?

— Для вас — да. А для них — видимы.

— И где же они проходят?

— Везде, — сказала миссис Лейси. — Насколько мне известно, одна из таких Троп проходит прямо посреди моего магазина.

— Жуть, — хихикнула жена американца.

— Эти Тропы видят только *они*?

— Видят — и поют, — добавила миссис Лейси. — Не бывает пути без песни.

— И эти пути пролегают тут повсюду? — переспросил мужчина. — По всей Австралии?

— Да, — ответила миссис Лейси, с удовлетворением вздохнув оттого, что наконец нашла броскую формулу. — Земля и песня — одно целое.

— Потрясающе! — изрек американец.

Американка достала носовой платок и стала утирать уголки глаз. Мне даже на миг показалось, что она готова расцеловать старика Стэна. Она понимала, что эта картина написана специально для белых людей, но художник подарил ей мимолетный шанс взглянуть на нечто редкостное и диковинное, и это вызвало у нее мощный прилив благодарности.

Миссис Лейси снова переменила очки и принялась заполнять бланк «Американ-экспресс». Аркадий помахал на прощание Стэну, мы вышли на улицу, а вскоре услышали за собой победное *хррямп!* машинки для кредитных карточек.

— Вот это женщина! — сказал я.

— Да, выдержки ей не занимать, — отозвался

Аркадий. — А теперь давай зайдем выпить.

7

У меня на ногах были резиновые шлепанцы, а поскольку перед всеми приличными барами в Алис были вывешены таблички: «В шлепанцах не входить» (с целью отвадить «аборигешек»), мы отправились в общий бар «Фрейзер-Армз».

Алис нельзя назвать жизнерадостным городком — ни днем, ни ночью. Старожилы помнят, какой была Тодд-стрит во времена лошадей и коновязей. С тех пор она превратилась в унылую американизированную полоску, сплошь утыканную сувенирными лавками, турагентствами и буфетными стойками. В одной из лавочек продавались мягкие игрушки — мишки коала, футболки с надписью «Алис-Спрингс», выведенной мухами. В газетном киоске продавалась книжка под названием «За белыми — красные». Ее автор, бывший марксист, утверждал, что движение за права аборигенов на землю является фронтом советской экспансии в Австралию.

— Выходит, я — один из главных подозреваемых, — сказал Аркадий.

Перед пабом находился магазинчик, торго-

вавший спиртным. Вокруг него пошатывались те ребята, которых мы видели раньше. Посреди улицы, пробивая асфальт, высился ствол потрепанного эвкалипта.

— Священное дерево, — пояснил Аркадий. — Святыня для клана Гусеницы — и большая угроза для машин.

Внутри общего бара было шумно, чернокожие и белые толпились вперемежку. Бармен — двухметровая детина — считался лучшим в городе вышибалой. Линолеум покрывали пивные пятна, на окнах висели бордовые занавески, а стулья из стеклопластика стояли где попало.

Сразу два барных табурета у стойки занимал тучный бородатый абориген, почесывая укусы на пузе. Рядом сидела угловатая женщина. В ее лиловой вязаной шапочке застряла подставка для пивного стакана. Глаза у женщины были закрыты, она истерически хохотала.

— Вся банда в сборе, — заметил Аркадий.

— Какая банда?

— Мои приятели из совета пинтупи. Пойдем. Познакомлю тебя с председателем.

Мы взяли по пиву и начали осторожно пробираться через толпу к председателю, который громко разглагольствовал перед кружком восхи-

щенных слушателей. Это был великан с очень темной кожей, в джинсах, в черной кожаной куртке, черной кожаной шляпе, с утыканным гвоздями кастетом на запястье. Он растянул губы в широченной зубастой улыбке и выбросил ладонь для братского рукопожатия:

— Здорово!

Я ответил:

— Здорово! — и увидел розовый кончик своего пальца, торчащий из его кулачища.

— Здорово! — сказал он.

— Здорово! — отозвался я.

— Здорово! — сказал он.

Я промолчал. Подумал, что если в третий раз отвечу: «Здорово!» — то мы будем повторять это до бесконечности.

Я отвел глаза. Его хватка ослабла, и я смог забрать свою полураздавленную ладонь.

Председатель вернулся к рассказу: о своей новой привычке стрелять по висячим замкам на воротах скотоводческих станций. Слушатели находили его рассказ чрезвычайно забавным.

Потом я пытался поговорить с одним городским активистом, который приехал сюда из Сиднея. Но поскольку он все время смотрел куда-то вбок, я разговаривал скорее с аборигенским флагом

— серьгой, висевшей у него в левом ухе.

Сначала я вообще не видел никакого отклика, кроме покачивания флажка. Потом он повернул ко мне лицо и заговорил:

— Вы — англичанин?

— Да.

— Почему вы не уезжаете домой?

Он говорил медленно, четко произнося слоги.

— Я только что приехал.

— Я про всех вас.

— А кто это — «все»?

— Белые люди, — ответил он.

Белые украли у его народа страну, сказал он. Их присутствие в Австралии незаконно. Туземцы никогда не уступали ни пяди своей территории. Не подписывали никаких соглашений. Все европейцы должны убираться туда, откуда приехали.

— А как быть с ливанцами? — спросил я.

— Пускай убираются к себе в Ливан.

— Понятно, — сказал я.

Интервью было окончено: лицо отвернулось и приняло исходное положение.

После этого я приметил симпатичную светловолосую женщину и подмигнул ей. Она подмигнула в ответ, и мы стали пробираться друг к другу, обходя толпу.

— Не поладил с лидером? — прошептала она.

— Да нет, узнал много нового, — ответил я.

Ее звали Мэриан. Она только полчаса назад приехала в город из земель уолбири, где занималась женскими земельными вопросами.

У нее были спокойные голубые глаза, она выглядела невинной и очень счастливой, в своем дешевом платьице с цветочным узором. Под ногтями у нее виднелась красноватая грязь, а въевшаяся дорожная пыль придавала ее коже ровный бронзовый глянец. Под платьем угадывалась крепкая грудь, а руки были сильными, точеными. В рукавах платья были сделаны прорези — чтобы воздух свободно проникал под мышки.

Раньше она учительствовала в буше, в той же школе, что и Аркадий. По взглядам, которые она кидала на его соломенную шевелюру, поблескивавшую под светом лампы, я догадался, что в прошлом они были любовниками.

На Аркадии была голубая рубашка и мешковатые рабочие штаны.

— Давно ты знаешь Арка? — поинтересовалась она.

— Целых два дня, — ответил я.

Я упомянул имя девушки из Аделаиды, нашей

общей знакомой. Мэриан опустила глаза и зарделась.

— Он немножко святой, — сказала она.

— Знаю, — ответил я. — Русский святой.

Я хотел продолжить разговор с Мэриан, но где-то у моего левого локтя раздался скрипучий голос:

— Зачем вы приехали на Территории?

Я обернулся и увидел жилистого, с щетинистым подбородком белого тридцати с лишним лет. По его накачанным мышцам и серой трикотажной безрукавке я легко догадался, что этот тип — спортсмен-зануда.

— Меня кое-что интересует, — ответил я.

— Что-то конкретное?

— Хочу разобраться в аборигенских Тропах Песен.

— Надолго?

— Месяца на два, наверное.

— С вами еще кто-нибудь?

— Нет, я сам по себе.

— А с чего вы взяли, что стоит вам заявиться сюда из Старой Доброй Англии, как перед вами немедленно распахнется сокровищница сакральных знаний?

— Да мне и не нужна сокровищница сакраль-

ных знаний. Я просто хочу понять, как работают Тропы Песен.

— Вы что — писатель?

— В некотором роде.

— Что-нибудь уже публиковали?

— Да.

— Научную фантастику?

— Терпеть не могу научную фантастику.

— Послушайте, дружище, — сказал спортсмен-зануда, — вы зря тратите свое время. Я десять лет прожил на Территориях. Уж я-то знаю этих старейшин. *Вам* они не расскажут ничего.

Стакан у него был пустой. Я решил, что единственный способ прекратить этот разговор — купить ему выпивку.

— Нет, спасибо. — Он вздернул подбородок. — Мне и так хорошо.

Я снова подмигнул Мэриан (она старалась не засмеяться). У других тоже опустели стаканы, и я предложил угостить всю компанию. Подошел к стойке и заказал кому большой бокал пива, кому полпорции. Спортсмену-зануде я тоже сделал заказ, хотел он того или нет.

Аркадий помог мне подхватить стаканы.

— Ну и ну! — ухмыльнулся он. — Похоже, ты вовсю развлекаешься.

Я расплатился, и мы с ним пошли разносить пиво.

— Скажи, когда надоест, — шепнул он. — Можно ко мне пойти.

— Пойдем, когда захочешь.

Спортсмен-зануда, принимая стакан, поморщился и сказал:

— Спасибо, приятель.

Председатель, забирая пиво, не проронил ни слова.

Мы выпили. Аркадий поцеловал Мэриан в губы и сказал:

— До скорого.

Спортсмен-зануда сунул свою руку в мою и сказал:

— До встречи, приятель.

Мы вышли из паба.

— Что это за тип? — спросил я.

— Да так, один зануда, — ответил Аркадий.

Город тихо погружался в сумерки. Вдоль гребня горы Макдоннелл догорал оранжевый ободок заката.

— Ну как тебе «Фрейзер-Армз»? — спросил Аркадий.

— Неплохо, — сказал я. — Теплая обстановка.

Она и вправду была куда теплее, чем в пабе

в Кэтрин.

8

Когда я ехал из Кимберли в Алис, мне нужно было пересесть с одного автобуса на другой в Кэтрин.

Время обеденное. Паб был забит дальнобойщиками и рабочими-строителями, которые пили пиво и ели мясные пироги. Почти на всех стандартная униформа «мужчины с Равнины»: ботинки для пустыни, «землекопские» фуфайки, под которыми виднелись татуировки, желтые защитные шлемы и стаббисы — зеленые облегающие шорты. Первое, что ты видел, зайдя в паб через двери из матового стекла, — бесконечный ряд мохнатых красных ног и темно-зеленых ягодиц.

В Кэтрин останавливались туристы, которые хотели полюбоваться знаменитым ущельем[11]. Ущелье получило статус национального парка, но какие-то юристы из движения за возвращение земли выискали недоработки в правовых документах и теперь требовали вернуть эту местность аборигенам. В городе царила враждебная

[11] Примечания: 11
В национальном парке Нитмилук.

атмосфера.

Я направился в уборную. В коридоре чернокожая проститутка прижалась сосками к моей рубашке и сказала:

— Хочешь меня, милый?

— Нет.

Пока я справлял нужду, она приклеилась к жилистому коротышке, сидевшему на табурете возле стойки. У него на предплечье виднелись вздувшиеся вены, на рубашке красовался значок с надписью «Смотритель парка».

— Нет! — презрительно огрызнулся он. — Грязная баба! Такие, как ты, меня не возбуждают. У меня есть женушка. Но если ты усядешься сюда, на стойку, и раздвинешь ноги, может, я в тебя бутылку и затолкаю.

Я взял свой стакан и направился в дальний конец зала. Там я разговорился с каким-то испанцем. Этот лысый потный коротышка говорил высоким истеричным голоском. Он был городским пекарем. В нескольких шагах от нас очень медленно затевали драку двое аборигенов.

На аборигене постарше, с морщинистым лбом, алая рубаха была расстегнута до пупа. Он нападал на сухопарого паренька в облегающих оранжевых штанах. Мужчина явно набрался больше,

чем мальчишка, и едва держался на ногах. Для равновесия он опирался локтями о табурет. Паренек голосил от страха во все горло, изо рта у него капала пена.

Пекарь ткнул меня пальцем в ребра и пронзительно крикнул:

— Сам я из Саламанки. Похоже на корриду, правда?

Кто-то еще прокричал: «Черномазые дерутся!» — хотя они еще не дрались. Посетители, глумясь и хохоча, стали стягиваться со всех концов бара, чтобы поглазеть.

Легонько, почти ласково, абориген постарше выбил из руки мальчишки стакан, тот упал и разбился. Мальчишка нагнулся, подобрал с пола отбитое донышко и зажал в руке, будто кинжал.

Дальнобойщик, сидевший на табурете рядом, выплеснул содержимое своего стакана, разбил его о край стойки и вложил зазубренное донышко в ладонь мужчины.

— Давай, — подбодрил он его, — покажи ему.

Паренек сделал выпад своим битым стаканом, но мужчина быстрым движением кисти отбил удар. У обоих потекла кровь.

— Оле! — закричал пекарь-испанец. Лицо его перекосила гримаса возбуждения. — Оле! Оле!

Оле!

Вышибала, разом перепрыгнув через барную стойку, выволок обоих драчунов на тротуар, а потом перетащил по асфальту на островок посреди шоссе. Там они растянулись рядышком, истекая кровью под розовыми олеандрами, а мимо с грохотом проносились автомобильные поезда из Дарвина.

Я пошел прочь, но за мной увязался испанец.

— Они лучшие друзья, правда? — сказал он.

9

Я надеялся лечь спать пораньше, но Аркадий позвал меня на барбекю к своим друзьям на другом конце города. У нас оставалось еще около часа свободного времени. Мы купили в магазинчике рядом с баром бутылку охлажденного белого вина.

Аркадий жил в съемной квартире-студии над запертыми гаражами за супермаркетом. Металлические перила лестницы, нагревшиеся за день на солнце, еще обжигали руки. Внутри работал кондиционер, и, как только Аркадий открыл дверь, нас встретил прохладный воздух. На коврике лежала записка. Аркадий включил свет и прочитал ее.

— Вовремя! — пробормотал он.

— Что-то случилось? — спросил я.

Он объяснил, что работа над отчетом вот уже четыре недели стоит на месте из-за одного из старейшин-кайтиш — старика по имени Алан Накумурра. Это последний живой мужчина из своего клана и «традиционный владелец» участка земли к северу от станции Миддл-Бор.

Землемерам-железнодорожникам не терпелось поскорее нанести на карту именно этот отрезок пути. Аркадий упросил их подождать до тех пор, пока Алана не разыщут.

— Куда же он пропал?

— А ты как думаешь? — рассмеялся он. — Отправился в Обход.

— А что случилось с остальными?

— С какими остальными?

— Ну, с остальными мужчинами его клана.

— Застрелены, — ответил Аркадий. — Еще в двадцатые годы, полицейскими.

Комната у него была опрятная и белая. На кухонной стойке стояла соковыжималка, рядом — корзинка с апельсинами. Поверх матраса на полу набросаны индонезийские покрывала и подушки. На крышке клавесина лежали раскрытые ноты: «Хорошо темперированный клавир»[12].

Аркадий откупорил бутылку, наполнил два бокала и, пока я изучал содержимое книжной полки, позвонил своему начальнику.

Минуту-две он говорил о работе, а потом сказал, что тут, в городе, есть один пом, который хочет отправиться в буш с командой топографов… Нет,

---

[12] Примечания: 12

Сборник прелюдий и фуг И. С. Баха. — *Примеч. ред.*

не журналист… Ну да, как и все помы, довольно безобидный… Нет, не фотограф… Нет, не рвется наблюдать за ритуалами… Нет, не завтра… Послезавтра…

Наступила пауза. Мне показалось, я почти слышу, как человек на том конце линии думает. Потом Аркадий улыбнулся и знаком показал мне, что получил добро.

— Едешь с нами, — сказал он и положил трубку на место.

Потом позвонил в компанию по аренде грузовиков и заказал машину на утро среды.

— Поедем на «лендкрузере», — сказал он. — На случай дождя.

На полке у него стояла русская классика, книги о досократиках и ряд трудов, посвященных аборигенам. Среди последних я заметил две мои любимые книжки: «Традиции аранда» и «Песни Центральной Австралии» Теодора Штрелова.

Аркадий открыл банку с кешью, и мы уселись по-турецки на матрас.

— Nazdorovye! — Он поднял бокал.

— Nazdorovye! — Мы чокнулись.

Аркадий снова поднялся, взял с полки фотоальбом и стал листать.

Вначале были сплошь цветные снимки, и почти

на всех присутствовал сам Аркадий. Типичный фотоотчет любого молодого австралийца, впервые отправившегося путешествовать за океан: Аркадий на пляже в Бали; Аркадий в кибуце Хульда; Аркадий возле развалин храма в Суниони; Аркадий с будущей женой в Венеции, с голубями; Аркадий, вернувшийся в Алис, уже с женой и ребенком.

Затем он перелистнул страницы ближе к концу альбома и показал поблекшую черно-белую фотографию: молодая пара на палубе корабля, на фоне спасательной шлюпки.

— Мама с папой, — сказал Аркадий. — В мае сорок седьмого, когда их корабль стоял в Адене.

Я наклонился, чтобы получше рассмотреть фото. Мужчина — низенький, коренастый и крепкий, с густыми черными бровями и чуть косыми скулами. В вырезе рубашки проглядывает клинышек черных волос. Мешковатые штаны, стянутые на поясе, казалось, велики на несколько размеров.

Женщина — повыше ростом, стройная, в простом гладком платье. Светлые волосы заплетены в косы, уложены вокруг головы. Полная рука обвивает стойку палубы. Оба щурятся на солнце.

Ниже на той же странице — еще один снимок

с тем же мужчиной: теперь он, уже с морщинами и сединой, стоял возле калитки у капустных грядок: такая капуста, конечно, растет только в России. Вплотную к мужчине стоят полная крестьянка и два молодых силача в каракулевых шапках и сапогах.

— Моя тетя, — сказал Аркадий. — А это — двоюродные братья, казаки.

Каракулевые шапки напомнили мне об одном душном летнем дне в Киеве, и в памяти снова всплыл эскадрон казацкой конницы, вышагивавший по булыжной мостовой: блестящие черные лошади, алые плащи, высокие шапки, заломленные набекрень, и толпа с хмурыми, недовольными лицами.

Это было в августе 1968 года, за месяц до вторжения в Чехословакию. Все то лето ходили слухи о волнениях на Украине.

Аркадий снова наполнил бокалы, и мы заговорили о «казахах» и «казаках», о казаках-наемниках и казаках-бунтовщиках, о казаке Ермаке и покорении Сибири, о Пугачеве и Стеньке Разине, о Махно и буденновской красной кавалерии. Я упомянул о казачьем стане, организованном фон Паннвицем и сражавшемся на стороне немцев против Красной армии.

— Забавно, что ты вспомнил о фон Паннвице, — сказал Аркадий.

В 1945 году его родители оказались в Австрии, на территории, оккупированной британцами. Это было время, когда союзники отправляли советских перемещенных лиц — и предателей, и невиновных — обратно в СССР, отдавая их на милость Сталина. Отца Аркадия допрашивал британский майор разведки, на безукоризненном украинском языке обвинявший его в том, что он сражался в отряде фон Паннвица. После недели допросов, которые велись с перерывами, ему удалось убедить разведчика в несправедливости предъявленного обвинения.

Затем их перевезли в Германию и расквартировали в бывшем офицерском клубе, под Орлиным Гнездом в Берхтесгадене. Они подали бумаги на эмиграцию — в США или Канаду. Им сказали, что людям, имеющим сомнительный статус, больше подходит Аргентина. Наконец, после года томительного ожидания, пришла новость о том, что рабочие руки требуются в Австралии, и туда разрешается отправиться всем, кто готов подписать бумаги.

Они охотно ухватились за эту возможность. Им хотелось одного: бежать подальше от кровавой

Европы — от холода, грязи, голода, пережитых утрат — и оказаться в солнечной стране, где все едят досыта.

Они отплыли от Триеста на судне, которое прежде служило плавучим госпиталем. На время плавания все пары разлучили — встречаться с женами мужьям разрешалось только днем, на палубе. После высадки в Аделаиде их отправили в лагерь с ниссеновскими бараками[13], где люди в форме цвета хаки лающими голосами отдавали приказы на английском. Иногда им казалось, будто они снова угодили в Европу.

Я и раньше замечал, что в одержимости Аркадия Австралийскими железными дорогами есть какая-то агрессия. Теперь из его рассказа я понял почему.

Иван Волчок получил работу: его устроили техником на Трансконтинентальной линии, посреди Налларборской равнины. Там, между станциями Ксантус и Китченер, вдали от жены и детей, сходя с ума от пекла и кормежки, состоявшей из говядины и крепкого чая, он без продыха менял шпалы.

---

[13] Примечания: 13

Ниссеновский барак — сборное строение с полукруглой крышей из рифленого железа; впервые использовано во время Первой мировой войны. — *Примеч. ред.*

Однажды его привезли в Аделаиду на носилках. «Тепловая прострация», — сказали врачи. Железная дорога и не подумала выплатить подобающую компенсацию. Другой врач сказал: «У вас паршивое сердце». Больше Иван на работу не выходил.

К счастью, мать Аркадия оказалась женщиной хваткой и решительной: начав с уличного ларька, она обзавелась магазинчиком, торговавшим фруктами и овощами и приносившим приличную прибыль. Купила дом в восточном пригороде. Читала русские романы, Аркаше и его братьям — русские сказки. По воскресеньям водила их на службу в церковь.

Отец же Аркадия сильно сдал. Когда-то он был крепким и задорным. Постарев, шаркал ногами по магазину, всем мешал, напивался самогоном и мрачно предавался воспоминаниям.

Бормотал что-то о груше в мамином саду, о каком-то обереге, закопанном у развилки дороги. Деревья в Австралии, говорил он, полумертвые. Вот в России деревья — настоящие, они сбрасывают листву, а весной снова оживают. Однажды вечером брат Аркадия Петро застал отца за рубкой араукарии. Тогда семья поняла, что дела совсем плохи.

Через советское посольство в Канберре отцу и Петро раздобыли разрешение съездить в СССР и посетить родной поселок Горняцкий. Он снова увидел сестру, старый самовар, пшеничные поля, березы и ленивую речку. Грушу давно срубили на дрова.

На кладбище он выкопал лопух с родительской могилы. Слушал скрип ржавого флюгера. Когда вечерело, пел вместе с родней, а племянники по очереди играли на семейной бандуре. За день до отъезда кагэбэшники вызвали его в Ростов для допроса. Листали досье и задавали множество каверзных вопросов о военном времени.

— В тот раз, — сказал Аркадий, — папа обрадовался Вене еще больше, чем в первый.

С тех пор прошло семь лет. Теперь он опять затосковал по России. Только и говорил что о могиле в Горняцком. Родные понимали, что он хочет умереть там, но не знали, как быть.

— Я хоть и европеец, — заметил я, — но хорошо его понимаю. Всякий раз, как я приезжаю в Россию, мне не терпится уехать. Как только уезжаю — снова туда тянет.

— Тебе нравится Россия?

— Русские — удивительный народ.

— Знаю, — ответил он резко. — Но почему?

— Трудно сказать, — ответил я. — Мне нравится думать о России как о стране чудес. Когда боишься самого худшего, всегда происходит что-нибудь удивительное.

— Например?

— Да в основном пустяки. Смирение в России беспредельное.

— Теперь верю, — сказал Аркадий. — Ну пойдем. Нам уже пора.

10

Стояла яркая лунная ночь. Только в лунную ночь можно было безопасно перейти Тодд. У аборигенов имелась привычка, напившись, укладываться спать прямо в русле реки. В кромешной тьме всегда был риск наткнуться на кого-нибудь из них, а некоторые во хмелю бывали опасны.

Стволы эвкалиптов-призраков сверкали белизной: прошлогоднее наводнение повалило несколько деревьев. На другом берегу реки мы увидели казино и светящиеся фары подъезжавших к нему машин. Песок был мягкий и сухой, и мы увязали в нем по щиколотки. На дальнем берегу из зарослей выросла какая-то взъерошенная фигура, пробормотала: «Придурки!» — после чего с глухим стуком и хрустом веток рухнула обратно в кусты.

— Пьян, но безобиден! — констатировал Аркадий.

Он повел меня мимо казино, по улице, застроенной новыми домами. На крышах были установлены солнечные нагреватели, на подъездных дорожках припаркованы автоприцепы.

В дальнем конце улицы, под углом к остальным, стоял старый, обветшавший «первопоселенческий» дом с широкой верандой и москитными сетками. Из сада долетали запахи франжипани и мясного жира.

Седобородый мужчина по имени Билл стоял без рубашки и, обливаясь потом, жарил на угольной решетке мясо и сосиски.

— Привет, Арк! — Он помахал вилкой в воздухе.

— Привет, Билл, — поздоровался Аркадий. — Это Брюс.

— Приятно познакомиться, Брюс, — торопливо проговорил Билл. — Угощайтесь.

Жена Билла, светловолосая Дженет, сидела за длинным столом и раскладывала по тарелкам салат. Рука у нее была в гипсе. На столе стояли бутылки с разными винами и пластмассовая ванночка, заполненная кубиками льда и банками с пивом.

Ночные насекомые роились вокруг пары фонарей-молний.

Гости бродили по саду, держа бумажные тарелки с едой. Одни группками сидели на земле и смеялись, другие — на складных стульях вели чинные беседы. Среди них были медсестры, учи-

теля, юристы, лингвисты, архитекторы. Все эти люди, догадывался я, были так или иначе связаны с аборигенами — работали с ними или для них. Они были молоды и обладали крепкими ногами.

Среди гостей был только один абориген — долговязый мужчина в белых шортах, с развевавшейся по ветру бородой ниже пупа. На руке у него висла девушка-полукровка. Ее волосы были туго стянуты лиловой косынкой. Мужчина молчал, предоставляя ей говорить.

Она жалобным тоном рассказывала о том, что городской совет Алис предложил запретить распитие спиртного в общественных местах.

— Где же нашим людям пить, — возмущалась она, — если им запретят это делать в общественных местах?

Потом я увидел, как через весь сад ко мне направляется спортсмен-зануда. Он переоделся в футболку с символикой движения за земельные права и сине-зеленые бриджи. Надо заметить, лицо у него было довольно приятное, хоть и с кисловатым выражением. Звали его Киддер. Резкий, восходящий тон, которым он завершал свои фразы, придавал каждому его утверждению, даже самому догматичному, неуверенную и вопросительную интонацию. Из него вышел бы

отличный полицейский.

— Я уже сказал тебе в пабе, что эпоха таких исследований кончилась.

— Каких это — «таких»?

— Аборигенам уже осточертело, что за ними подглядывают, как за зверюшками в зоопарке. Они призвали положить этому конец.

— Кто призвал положить этому конец?

— Они сами, — сказал он. — И их общинные советники.

— Вы — один из них?

— Да, — скромно подтвердил он.

— Означает ли это, что я не могу поговорить ни с одним аборигеном, не попросив предварительно разрешения у вас?

Он выставил вперед подбородок, опустил веки и посмотрел в сторону.

— Не желаете ли, — спросил он, — пройти обряд инициации?

И добавил, что, если я пожелаю, мне придется подвергнуться обрезанию, если я еще не обрезан, а затем и подрезанию: последнее, как мне наверняка известно, состоит в том, что мужчине сдирают кожу с уретры, как банановую кожуру, а затем делают там надрез каменным ножом.

— Спасибо, — ответил я. — Я лучше воздер-

жусь.

— В таком случае, — заметил Киддер, — у вас нет права совать нос в дела, которые вас не касаются.

— А вы прошли инициацию?

— Я… э… я…

— Я спрашиваю: *вы* прошли инициацию?

Он провел пальцами по волосам и заговорил более любезным тоном.

— Полагаю, вас следует ознакомить с некоторыми стратегическими решениями, — сказал он.

— Я весь внимание.

Развивая тему, Киддер заговорил о том, что священное знание является культурной собственностью туземных народов. Все знания такого рода, которые попали в руки белых людей, были исторгнуты у аборигенов или обманом, или силой. И теперь их следовало депрограммировать.

— Знание есть знание, — возразил я. — От него не так-то просто избавиться.

Он со мной не согласился.

Депрограммирование священных знаний, продолжал он, означает следующее: нужно изучить архивы, где собраны неопубликованные материалы, касающиеся аборигенов, а затем вернуть все важные страницы полноправным

владельцам. Это означает, что авторские права нужно отобрать у автора книги и передать описываемому в ней народу; фотографии возвратить изображенным на них людям (или их потомкам); звуковые записи — тем, чьи голоса на них записаны, и так далее.

Я слушал Киддера, не веря своим ушам.

— А кто же будет устанавливать, — спросил я, — законных владельцев?

— У нас есть способы добывать такого рода сведения.

— Это ваши способы — или их?

Он не ответил. Вместо этого, сменив тему, поинтересовался, знаю ли я, что такое чуринга.

— Знаю, — ответил я.

— И что же такое чуринга?

— Священная табличка, — сказал я. — Святая святых аборигена. Или, если угодно, его душа.

Обычно чуринга представляет собой пластинку с овальным концом, вырезанную из камня или древесины мульги и испещренную узорами, в которых представлены странствия героя Времен Сновидений, приходящегося Предком владельцу чуринги. Согласно законам аборигенов, непосвященный не имеет права смотреть на такую табличку.

— Вы когда-нибудь видели чурингу? — спросил Киддер.

— Да.

— Где?

— В Британском музее.

— А вы понимали, что, глядя на нее, поступаете незаконно?

— Никогда не слышал подобных нелепостей.

Киддер сложил руки и смял пустую пивную банку: *кла-ац!* Грудь у него ходила ходуном, как у зобастого голубя.

— Людей убивали и за меньшие проступки, — заявил он.

Я с облегчением заметил Аркадия, который шел по лужайке в нашу сторону. На тарелке у него была горка капустного салата, а по подбородку стекала майонезная струйка.

— Я так и знал, что вы споетесь, — улыбнулся он. — Парочка говорящих голов!

Киддер растянул губы в напряженной усмешке. Можно было не сомневаться, он магнитом притягивал к себе женщин. Возле нас уже давно нетерпеливо переминалась с ноги на ногу темноволосая девушка, явно сгоравшая от желания с ним заговорить. Теперь она воспользовалась случаем. Я тоже — чтобы убраться прочь и до-

браться до еды.

— Ты должен мне кое-что объяснить, — сказал я Аркадию. — Кто такой этот Киддер?

— Богач из Сиднея.

— Я имел в виду — *что* он делает для движения борцов за земельные права?

— А, там он никто и ничто. Просто у него есть личный самолет. Летает туда-сюда, доставляет сообщения. Вот и чувствует себя очень важным типом.

— Авиахам, — подытожил я.

— Он неплохой малый, — возразил Аркадий. — Во всяком случае, так говорят.

Я взял еще немного салата, и мы подошли к Мэриан. Она сидела на коврике и разговаривала с адвокатом. На ней было другое платье — еще более линялое и обтрепанное, чем в прошлый раз, с узором из японских хризантем. Лохмотья шли ей. Лохмотья явно были ее стилем. Любая другая одежда, кроме лохмотьев, смотрелась бы на ней безвкусицей.

Она подставила мне обе щеки для поцелуя и сказала, что рада моему участию в поездке.

— Куда?

— В Миддл-Бор, — ответила она. — Надеюсь, ты правда едешь?

— А ты?

— Я тоже. — Она искоса взглянула на Аркадия и сощурилась. — С его светлостью я не разлей вода.

Она рассказала, что у женщин-аборигенок есть свои песенные циклы, а значит, и другие священные места, нуждающиеся в защите. Мало кто знал об этом до недавнего времени: дело в том, что женщины куда скрытнее мужчин, они неохотнее расстаются с тайнами.

— В любом случае хорошо, что ты едешь, — улыбнулась она. — Будет весело.

Она познакомила меня с адвокатом:

— Брюс, это Хьюи.

— Как поживаете?

Он ответил на мое приветствие медленным наклоном головы.

У него было бледное продолговатое лицо, он выговаривал слова четко и педантично; веснушки, очки в стальной оправе и хохолок жидких волос на макушке придавали ему вид отличника в школе. Однако, когда на его лицо упал свет лампы, на нем резко обозначились морщины и проступила усталость.

Он зевнул.

— Не поискать ли нам стул, друг мой? Я больше

ни минуты не могу стоять, а сидеть на полу я просто ненавижу. А вы нет?

Я нашел парочку стульев, и мы уселись. Аркадий с Мэриан тем временем ушли куда-то обсуждать предстоящую поездку.

Адвокат весь день был в суде — защищал чернокожего паренька, обвиняемого в убийстве. Завтра ему тоже предстояло провести весь день в суде. Он был родом из Новой Зеландии. Учился в частном учебном заведении в Англии, потом работал в адвокатуре в Лондоне.

Мы поговорили о деле Лосона, которое слушалось в суде Алис. Лосон был дальнобойщиком. Когда он, явно пьяный, зашел в бар при мотеле где-то на Равнине, хозяйка отказалась продавать ему спиртное. Тогда он вышел на свет палящего полуденного солнца, отцепил трейлер, а через двадцать минут на скорости пятьдесят километров в час въехал в тот самый бар, убив пятерых посетителей и ранив еще двадцать человек.

После этого происшествия Лосон скрылся в буше, а когда его разыскали, стал уверять, что ничего не помнит.

— Вы ему верите? — спросил я.

— Я? Конечно верю! Мистер Лосон — очень симпатичный и правдивый человек; компания

страшно нагружала его работой. Защищать его трудно потому, что он был не пьян, а находился под наркотиками.

— Под какими именно?

— Под амфетаминами, бедняжка! Пять дней глаз не смыкал. Все дальнобойщики, все до одного, буквально сидят на амфетаминах. Суют их в рот, как конфетки! Раз, два, три, четыре, пять, и — *вжуууух!* — только их и видели. Неудивительно, что он был слегка не в себе.

— А в суде об этом говорилось?

— О пяти днях без сна — да, об амфетаминах — нет.

— Почему же?

— Немыслимо! Затрагивать тему амфетаминов и грузоперевозок? Просто не-до-пустимо! Представьте себе — начнется расследование. Амфетамины — ответ Австралии на эти необъятные просторы. Без них страна просто заглохнет.

— Непостижимая страна, — сказал я.

— Да.

— Непостижимей, чем Америка.

— Конечно! — согласился барристер. — Америка *молодая*! Молодая, невинная и жестокая. А эта страна — старая. Древняя глыбища! Вот в чем разница. Старая, усталая и мудрая. Всепоглощаю-

щая! Что ни прольется — все всасывается.

Он махнул тонкой белой рукой в сторону здоровых, загорелых людей на лужайке.

— Поглядите на них! — сказал он. — Им только кажется, что они молоды. Ничего подобного! Они *старики.* Уже родились стариками.

— Только не Аркадий, — возразил я. — Аркадий совсем не кажется мне стариком.

— Арк — исключение, — согласился барристер. — Мне кажется, Арк откуда-то с неба свалился. Но все остальные — старики, — продолжал он. — Вы когда-нибудь обращали внимание на веки молодых людей в этой стране? Это старческие веки. Когда их будишь, они глядят на тебя испуганной ланью — но только мгновенье! А потом снова становятся стариками.

— Может, дело в свете? — предположил я. — В Австралии солнце светит так ярко, что люди тоскуют по темноте.

— Арк говорил мне, что у вас множество интересных теорий. Я бы с удовольствием их послушал, но сегодня я слишком устал.

— Я тоже.

— Это не значит, что у меня самого нет кое-каких доморощенных теорий. Потому-то, наверное, я и здесь.

— Я задавал себе этот вопрос.

— Какой вопрос?

— Что вы здесь делаете.

— Да я сам все время задаю его себе, друг мой! Всякий раз, как чищу зубы, спрашиваю себя об этом. Но что бы я делал в Лондоне? Устраивал чопорные вечеринки? Жил бы в уютной квартирке? Ну уж нет. Это мне совсем не подходит.

— Но почему именно здесь?

— Мне здесь нравится, — проговорил он задумчиво. — Тут все какое-то абстрактное. Вы понимаете, о чем я?

— Думаю, что да.

— Отличное место для сумчатых, но только не для человека. Я про здешнюю землю. Люди здесь вытворяют самые неожиданные вещи. Вы не слышали историю про девушку-немку и велосипед?

— Нет.

— О-очень любопытный случай! Симпатичная, здоровая молодая немка. Берет напрокат велосипед в магазине на Тодд-стрит. Покупает замóк в магазине на Корт-стрит. Выезжает из города по Ларапинта-драйв и добирается до ущелья Ормистон. Затаскивает велосипед в ущелье — а это, если вы там бывали, сами понимаете, сверхчеловеческий подвиг. Потом приковывает ногу

к раме, а ключ от замка выбрасывает и ложится жариться на солнышке. Предельная любовь к солнечным ваннам! Испеклась до костей девушка! Испеклась!

— Жуть какая!

— Нет! — Он покачал головой. — Примирение! Растворение без остатка! Это тоже часть моей маленькой теории насчет Австралии. Но сейчас не буду вас утомлять, потому что я в самом деле страшно устал, и мне давно пора в кровать.

— Мне тоже, — сказал я и поднялся со стула.

— Да сядьте вы! — сказал он. — Почему вы, помы, всегда так торопитесь?

Он отпил вина. Мы еще минуту или две посидели в тишине, а потом он мечтательно произнес:

— Да, здесь приятно затеряться. Затеряться в Австралии… Здесь чувствуешь себя в безопасности.

Он вскочил на ноги.

— Вот теперь, — сказал он, — мне и вправду пора! Очень приятно было с вами побеседовать, надеюсь, мы поговорим когда-нибудь еще. Спокойной ночи!

Он зашагал к садовым воротам, всем кивая по пути и желая спокойной ночи.

Я подошел к Аркадию и Мэриан.

— Ну, как тебе Хьюи? — спросил он.

— Большой чудак!

— Чертовски хороший адвокат, — ответил Аркадий. — Весь суд на нем держится.

— Пожалуй, пойду, — сказал я. — Ты оставайся. Загляну завтра в контору.

— Нет, не уходи, — ответил он. — Тут есть один человек, с которым я хочу тебя познакомить.

— Что за человек?

— Дэн Флинн. — Он показал на бородатого аборигена.

— Тот самый отец Флинн?

— Он самый, — подтвердил Аркадий. — Ты о нем слышал?

— Да, — сказал я.

— От кого?

— От одного ирландца, отца Теренса.

— Такого не знаю.

— Неудивительно, — ответил я. — Он отшельник. Советовал мне поглядеть на Флинна.

Аркадий запрокинул голову и рассмеялся.

— Все хотят поглядеть на отца Дэна, — сказал он. — Пока не получают от ворот поворот. Если ты ему понравишься, узнаешь много интересного. Если нет… тогда сам поймешь.

— Да. Слышал, характер у него не сахар.

11

Пожалуй, никогда еще миссионерской деятельности католической церкви в Австралии не наносили таких ударов, какой нанесла ей история с отцом Флинном.

Он был найденышем: его подбросили к дверям магазина, принадлежавшего ирландцу в Фицрой-Кроссинге. В шестилетнем возрасте подкидыша отправили в бенедиктинскую миссию в Сигнет-Бэй, где он отказывался играть с другими чернокожими ребятишками, научился прислуживать на мессе и завел привычку с мягким набожным выговором задавать вопросы по догматам. Однажды он без запинки оттарабанил имена всех пап, от святого Петра до Пия XII. Святые Отцы усмотрели в этом доказательство тяги к Христу.

Его взялись обучать латыни, уговаривали стать духовным лицом. Он попал под опеку старейшего обитателя миссии, безобидного чудака отца Херцога, который когда-то учился на этнографа и теперь взялся обучать юношу начаткам сравнительного религиоведения.

В 1969 году Флинн принял сан. Отправился в Рим. Прогуливался с товарищами-семинаристами по Альбанским холмам. Удостоился аудиенции у святейшего отца, которая длилась минуту с четвертью. Когда он возвратился в Австралию, начальство ордена решило, что Флинн должен стать первым аборигеном, который возглавит самостоятельную миссию.

Выбор места пал на Роу-Ривер в Кимберли. Чтобы Флинн полностью подготовился к служению, его отправили в другой бенедиктинский аванпост: Бунгари, на обучение к двум «ветеранам» — отцам Субиросу и Вильяверде.

Отец Субирос (позднее мне предстояло встретиться с ним в монастыре, куда он удалился на покой) был человеком мягкого характера: коротышка-каталонец, толстяк и книжник. А отец Вильяверде — сухопарый эстремадурец из Трухильо. За пятьдесят лет они пережили вместе наводнение, голод, болезни, мятежи, японскую бомбежку и множество иных напастей, насланных дьяволом.

Бунгари находился в часе ходьбы от побережья. А Роу-Ривер — в 225 километрах от моря, и порой ливни на три месяца или даже больше отрезали его от остального мира. Ни то ни другое место

не являлось миссией в привычном смысле слова: это были скотоводческие станции, которые орден бенедиктинцев купил по дешевке в 1946 году; предполагалось, что на этих территориях смогут находить убежище племена, чьи земли захватили скотоводы. И эти владения оказались очень выгодными приобретениями.

Отец Вильяверде, происходивший из тех же мест, что и Писарро[14], чувствовал себя обязанным подвизаться в роли конкистадора. Он говорил, что бесполезно пытаться тронуть язычников делами любви, раз они понимают только силу. Он запрещал им охотиться и даже разводить сады. Оставалось надеяться лишь на то, что туземцы полюбят конину.

Отец Вильяверде отбирал маленьких мальчиков у матерей и учил их держаться в седле. Его любимым развлечением было носиться по бушу во главе ватаги юных сорванцов. По субботам он устраивал соревнования — со спринтом, борьбой, метанием копья и бумеранга, причем в каждом состязании принимал участие лично. Будучи прирожденным спортсменом, отец Вильяверде (хоть ему уже перевалило за семьдесят) наслаждался

[14] Примечания: 14

Имеется в виду Франсиско Писарро-и-Гонсалес (ок. 1476–1541) — испанский конкистадор, завоеватель империи инков. — *Примеч. ред.*

случаем похвастаться своим превосходным европейским телосложением. Чернокожие, знавшие, чем ему угодить, не пускали в ход всю свою силу, позволяли ему одержать верх, увенчивали венцом победителя и на плечах относили домой.

Он повыгонял из миссии всех антропологов, журналистов и прочих шпионов. Запретил традиционные обряды. И с какой-то священнической завистью особенно возмущался, когда его «ребята» отправлялись искать себе жен. Уехав куда-нибудь в Брум или Фицрой-Кроссинг, они перенимали там привычку сквернословить и пьянствовать и заражались дурными болезнями. Поэтому, сделав вначале все возможное для того, чтобы удержать своих воспитанников, отец Вильяверде потом всеми силами препятствовал их возвращению.

Чернокожие считали, что он сознательно стремится сократить их численность.

Я ни разу не бывал ни в той, ни в другой миссии: к тому времени, когда я приехал в Австралию, они уже лет семь как закрылись. Обо всех этих делах я узнал от отца Теренса, который в ту пору, когда Флинн приехал в Бунгари, жил примерно в миле от того места — в хижине из листьев и веток.

Отец Вильяверде возненавидел Флинна с первого взгляда и принялся подвергать его всевозможным пыткам. Он заставлял его переходить реку вброд по шею, холостить волов и чистить нужники. Обвинял Флинна в том, что он на мессе заглядывается на медсестер-испанок, тогда как на самом деле эти бедные деревенские девушки, которых целыми партиями присылали сюда из монастыря под Бадахосом, сами заглядывались на Флинна.

Однажды, когда испанцы водили по миссии магната-скотовода из Техаса, его жена настояла на том, чтобы сфотографировать белобородого старейшину, сидевшего в пыли в расстегнутой одежде, скрестив ноги. Старик в ярости выхаркнул целый ком мокроты, который шлепнулся к ногам магнатши. Женщина оказалась на высоте: принесла извинения, вытащила пленку из фотоаппарата и, склонившись над стариком с видом леди Баунтифул[15], спросила: «Могу ли я что-нибудь прислать для вас из Америки?»

«Можете! — рявкнул тот в ответ. — Четыре „тойоты-лендкрузер“».

---

[15] Примечания: 15

Леди Баунтифул — персонаж пьесы ирландского драматурга Джорджа Фаркера (1677–1707). Ее имя стало нарицательным для обозначения благодетельной дамы. — *Примеч. ред.*

Отец Вильяверде был повергнут в шок. В глазах этого истинного кабальеро двигатель внутреннего сгорания являлся проклятием. Должно быть, кто-то мутил воду. Его подозрения пали на отца Флинна.

Примерно месяц спустя он перехватил письмо от Департамента по делам аборигенов из Канберры, где выражалась благодарность совету Бунгари за просьбу выделить «лендкрузер»: вопрос будет рассмотрен.

— Что это еще за совет Бунгари? — кричал отец Вильяверде.

Флинн скрестил руки, подождал, когда прекратится возмущенная тирада, а потом сказал:

— Мы.

С того дня между ними разразилась настоящая война.

В следующую субботу на спортивных соревнованиях, как только отец Вильяверде метнул свое победоносное копье, из-за часовни показался Флинн в белой сутане. В руке у него было копье, натертое красной охрой. Он подал знак зрителям отойти подальше и явно без особого усилия подбросил копье высоко в воздух.

Оно приземлилось вдвое дальше, чем копье испанца. Тот пришел в ярость и вскоре слег.

Я уже забыл названия тех трех племен, что располагались лагерями вокруг миссии. Отец Теренс записал их для меня, но ту бумажку я потерял. Я запомнил только суть: племя А было другом и союзником племени Б и оба были кровными врагами людей из племени В, которое, попав в положение изгоя и лишившись притока женщин, находилось на грани вымирания.

Три лагеря были равноудалены от миссии: каждое племя располагалось с той стороны, откуда было ближе до его родного места. Драки начинались лишь после обмена оскорблениями и обвинениями в колдовстве. И все же, по молчаливому уговору, ни одно из племен-союзников не нападало на своего общего врага. Все три племени признавали миссию нейтральной территорией.

Отец Вильяверде потворствовал этим периодическим кровопусканиям: пока дикари упорствуют в своем неведении Евангелия, они обречены сражаться друг с другом. Кроме того, амплуа миротворца льстило его самолюбию. Заслышав крики, он мчался на место происшествия, вставал между бряцающими копьями дикарями, воздевал руки на манер Христа, усмиряющего воды, говорил: «Остановитесь!» — и воины, стушевавшись, с виноватым видом расхо-

дились по домам.

Главным законником в племени В был человек с незабываемым именем Наглый Жулик Табаджи. В юности он был хорошим охотником и сопровождал экспедиции рудоискателей по Кимберли. Теперь он ненавидел всех без исключения белых и за тридцать лет ни словом не перемолвился с испанцами.

Наглый Жулик был мужчиной богатырского телосложения, но со временем состарился, скрючился от артрита и покрылся коростой от кожной болезни. Ноги ему отказали. Он сидел в полутени своей хижины, и собаки лизали ему болячки.

Он понимал, что умирает, и злился. Наблюдал, как молодежь в его племени тает на глазах: кто-то уходил, кто-то погибал. Скоро никого не останется — некому будет ни петь песни, ни давать кровь для церемоний.

В представлениях аборигенов невоспетая земля — мертвая земля; поэтому, если песни забываются, сама земля обречена на смерть. Допустить ее гибель — страшнейшее из возможных преступлений. С этой горькой мыслью Наглый Жулик и решился передать песни врагу — и тем самым подарить своему народу вечный мир. Разумеется, это было решение куда более мудрое, чем попу-

стительство вечной войне.

Он послал за Флинном и попросил его выступить в этом деле посредником.

Флинн начал ходить от лагеря к лагерю, спорить, уговаривать. Наконец спасительный выход был найден. Оставалось лишь выработать протокол.

Наглый Жулик приступил к переговорам. Согласно закону, передать песни должен был он лично. Вставал вопрос: как именно это осуществить. Ходить сам он не мог. Предложение перенести его на руках он отверг. Сесть на лошадь с презрением отказался. В конце концов Флинну удалось найти подходящее решение: он позаимствовал тачку на колесах у повара-малайца, работавшего в огороде.

Процессия тронулась с места между двумя и тремя часами паляще-знойного синего дня — во время сиесты, когда какаду молчат, а испанцы храпят в кроватях. Возглавлял шествие Наглый Жулик на тачке, в которую впрягся его старший сын. На коленях у старейшины лежала завернутая в газету чуринга, которую он сейчас намеревался передать вражескому племени. Остальные тянулись за ним гуськом.

Потом из кустов за часовней вышли двое муж-

чин — из племен А и Б — и проводили процессию к месту сбора.

Флинн плелся в хвосте, чуть позади. Глаза у него были полуприкрыты, он производил впечатление человека в трансе. Он прошел совсем близко от отца Теренса, но, похоже, не узнал его.

«Я видел, что он находится „не здесь“, — рассказывал мне отец Теренс. — И понимал, что нам грозит беда. Но все это было очень трогательно. Впервые в жизни мне довелось лицезреть картину мира на земле».

В предзакатную пору одна из сестер милосердия, идя короткой дорогой через буш, услышала гудение голосов и мерное *так-так* бумерангов, которыми стучали, как трещотками. Она побежала докладывать обо всем отцу Вильяверде.

Он помчался туда, чтобы разогнать сборище. Из-за дерева вышел Флинн и преградил ему дорогу.

Потом люди говорили, что Флинн всего лишь схватил нападавшего за запястья и удерживал его на месте. Однако это не помешало отцу Вильяверде строчить письмо за письмом вышестоящим чинам ордена, заявляя о неспровоцированном нападении и требуя исторгнуть этого приспешника сатаны из лона церкви.

Отец Субирос советовал ему не накликать приезд начальства. Влиятельные группы, стоявшие на защите аборигенов, и так уже призывали правительство распустить эти две миссии. Флинн ведь не принимал участия в языческом обряде — он просто выступал миротворцем. А что, если слухи об этом просочатся в прессу? Что, если выяснится, что два престарелых испанца давно разжигали межплеменную рознь?

Отец Вильяверде неохотно сдался. И в октябре 1976 года, за два месяца до сезона дождей, Флинн покинул Бунгари и отправился в Роу-Ривер, чтобы вступить в должность. Его предшественник отказался от встречи с ним и, взяв годичный отпуск, улетел в Европу. Начались дожди — и воцарилась тишина.

Во время Великого поста в Бунгари пришла радиограмма от католического епископа из Кимберли с просьбой подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Флинн «отуземился», — на что отец Вильяверде ответил: «Да он и есть туземец!»

В первый же день, когда установилась летная погода, епископ полетел вместе с бенедиктинцами на своей «сессне» в Роу-Ривер, и там они стали свидетелями нанесенного ущерба, «как два

политика-консерватора, осматривающие место, где разорвалась бомба террориста».

Часовня находилась в полном беспорядке. Служебные постройки разобрали на дрова и спалили. Загоны для скотины пустовали, всюду валялись обугленные коровьи кости. Отец Вильяверде изрек: «Нашей работе в Австралии пришел конец».

Флинн перестарался. Он недооценил быстроту, с которой реально распространялось движение за земельные права. Положился на заверения некоторых деятелей из левого крыла, убежденных в том, что миссии, разбросанные по всей стране, будут переданы в руки чернокожих. Он отказался идти на компромисс. И отец Вильяверде побил его собственным козырем.

Эта история нанесла церкви удар по ее самому слабому месту — финансовому. Не все знали, что и Бунгари, и Роу-Ривер финансировались из средств, изначально собранных в Испании. Эти земли принадлежали, в качестве второстепенных активов, одному мадридскому банку. Чтобы предотвратить любые попытки конфискации, банк без лишнего шума продал обе миссии какому-то американскому дельцу, и они оказались поглощены фондами международной корпорации.

Пресса начала кампанию за возврат миссий. В ответ американцы пригрозили закрыть неприбыльную плавильню к северу от Перта — тогда без работы осталось бы около пятисот человек. В дело вмешались профсоюзы. Кампания утихла. Аборигенов распустили, а Дэн Флинн — так он теперь себя называл — поселился в Бруме вместе с подругой.

Ее звали Голди. Среди ее предков были малайцы, койпангеры, японцы, шотландцы и аборигены. Отец ее был ловцом жемчуга, сама она стала дантисткой. Перед тем как вселиться к ней в квартиру, Флинн на безукоризненной латыни написал письмо святейшему папе, прося его освободить от принесенных обетов.

Потом пара переехала в Алис-Спрингс. Оба активно занимались аборигенской политикой.

12

Бывший бенедиктинец сидел в самом темном углу сада, возле него собралось еще человек шесть. Лунный свет заливал его надбровные дуги, а само лицо и борода оставались в темноте. Подруга сидела у его ног. Время от времени она выгибала длинную красивую шею, склоняя голову ему на бедро, а он щекотал ее.

Да, молва о том, что характер у него был не сахар, была справедливой. Когда Аркадий сел на корточки возле его стула и объяснил, кто я и чего хочу, до меня донеслось бормотание Флинна:

— Боже, еще один!

Мне пришлось ждать не меньше пяти минут, прежде чем он соблаговолил повернуть голову в мою сторону. Потом он спросил иронично-любезным тоном:

— Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Да, — ответил я, нервничая. — Меня интересуют Тропы Песен.

— Правда?

Он вел себя так обескураживающе, что любое обращенное к нему слово обречено прозвучать

как глупость. Я решил заинтересовать его разными теориями происхождения и эволюции языка.

— Некоторые языковеды считают, — сказал я, — что первым языком человека была песня.

Он поглядел в сторону и погладил бороду.

Тогда я переменил тему и заговорил о том, как цыгане общаются через огромные расстояния, напевая друг другу по телефону тайные стихи.

— Правда?

Прежде чем пройти инициацию, продолжал я, мальчик-цыган должен выучить наизусть все песни своего клана, имена всех своих родичей, а также запомнить сотни и сотни телефонных номеров по всему миру.

— Цыгане, наверное, ловчее всех в мире умеют набирать телефонные номера.

— Я никак не могу понять, — заметил Флинн, — какое отношение к нам имеют цыгане.

— Дело в том, что цыгане, — объяснил я, — тоже считают себя охотниками. Весь мир — их охотничьи угодья. Оседлые жители — сидячая дичь. В языке цыган слово «оседлый» буквально означает «мясо».

Флинн обратил ко мне лицо.

— А знаете, как наш народ называет белого человека? — спросил он.

— Мясо, — предположил я.

— А знаете, как у нас называют благотворительный чек?

— Тоже мясо.

— Принеси-ка сюда стул. Я хочу с тобой поговорить.

Я отыскал стул, на котором сидел до этого, и уселся рядом с Флинном.

— Извини, я был с тобой немного резок, — сказал он. — Но видел бы ты психов, с которыми мне приходится иметь дело. Что будешь пить?

— Пиво, — ответил я.

— Еще четыре пива, — сказал Флинн мальчишке в оранжевой рубашке.

Мальчишка поспешил за пивом.

Флинн наклонился и что-то прошептал на ухо Голди. Она улыбнулась, и он заговорил.

Белые люди, начал он, совершают типичную ошибку, когда полагают, что, раз аборигены — скитальцы, у них не может быть никакой системы землевладения. Это сущий бред. Конечно, аборигены не мыслят свою территорию как сплошной кусок земли, обнесенный заборами; для них это скорее неразрывная сеть, или совокупность цепочек, троп, или сквозных путей.

— У всех наших слов, которыми мы называем

страну, — сказал Флинн, — имеется значение «тропа».

Этому есть одно простое объяснение. Бóльшая часть равнинной Австралии представляет собой засушливую местность, покрытую чахлым кустарником, или пустыню, где дожди выпадают лишь изредка, а за одним тучным годом могут последовать семь тощих лет. В таком климате оставаться на одном месте — самоубийство; чтобы выжить, нужно двигаться. Собственная земля человека определялась так: «место, где я не должен просить». И все же, чтобы чувствовать себя дома в такой местности, нужно точно знать, как ее покинуть. Должно быть по крайней мере четыре «выхода» — пути, которыми можно безопасно воспользоваться в пору беды. Каждому племени — хотело оно того или нет — приходилось налаживать отношения с соседями.

— Например, если у А были фрукты, — объяснял Флинн, — у Б — утки, а у В — разработки охры, то существовали четко определенные правила, регулировавшие обмен этими товарами, а также четко определенные торговые пути.

То, что белые люди называли Обходом, на деле являлось подобием телеграфа и фондовой биржи, позволявшим обмениваться сообщениями в бу-

ше людям, которые никогда не видели друг друга и, быть может, даже не подозревали о существовании друг друга.

— Такая торговля, — продолжал Флинн, — не являлась торговлей в том смысле, в каком понимаете ее вы, европейцы. Это не купля-продажа ради выгоды! Наша торговля всегда была симметричным обменом.

У аборигенов бытовало представление о том, что всякое имущество может таить в себе некое зло и способно причинить вред владельцу, поэтому оно должно постоянно пребывать в движении. Добро, служившее товаром, не обязано быть съедобным или полезным. Больше всего людям нравилось обмениваться бесполезными вещами — или такими, какими легко может разжиться каждый: перьями, священными предметами, поясами из человеческих волос.

— Знаю, — прервал его я. — Известны случаи, когда люди обменивались своими пуповинами.

— Я смотрю, вы кое-что читали. Обмен товарами, — продолжил он, — следует рассматривать скорее как некую гигантскую партию наподобие шахматной, в которой доской служит весь континент, а игроками выступают все жители. «Товары» являются знаками людских намерений:

торговать, встречаться, устанавливать границы, вступать в родство через брак, петь, танцевать, делиться ресурсами, делиться идеями.

Какая-нибудь раковина могла переходить из рук в руки, перемещаясь от Тиморского моря до Большого Австралийского залива, вдоль дорог, известных с незапамятных времен. Эти дороги непременно проходили мимо источников пресной воды. А источники, в свою очередь, служили обрядовыми центрами, где могли собираться люди из разных племен.

— И устраивать корробори[16], как вы это называете?

— Это *вы* называете их корробори, а не мы, — возразил он.

— Верно, — кивнул я. — Так вы хотите сказать, что торговые пути всегда шли вдоль Песенных Троп?

— Торговый путь и есть Песенная Тропа, — сказал Флинн. — Потому что главным средством обмена являются не вещи, а именно песни. Обмен вещами — побочное следствие обмена песнями.

До прихода белых людей, продолжал он, ни один человек в Австралии не был безземельным,

---

[16] Примечания: 16

Корробори — церемониальный танец австралийских аборигенов. — *Примеч. ред.*

поскольку каждый наследовал в качестве собственности отрывок песни Предка, а вместе с ним — ту полоску земли, по которой эта песня проходила. Строчки, которыми владел человек, являлись его «документом», подтверждавшим право собственности на территорию. Он мог одалживать эти строчки другим. Мог и сам занимать чужие стихи. Единственное, чего он не мог, — это продать песню или избавиться от нее.

Предположим, старейшины из клана Ромбического Питона решили, что пришла пора спеть весь песенный цикл от начала до конца. Рассылались гонцы в обе стороны маршрута, созывались все песневладельцы, собирались в Большом Месте. Там каждый пропевал свой кусочек песни, соответствовавший определенному участку странствия Предка. Причем все соблюдали правильную очередность.

— Спеть песню не в том порядке, — хмуро говорил Флинн, — преступление. За него положена смерть.

— Понимаю, — сказал я. — Случилось бы нечто вроде музыкального землетрясения.

— Хуже, — сердито возразил он. — Сделать так означало бы рас-творить творение.

Там, где устраивалось Большое Место, продол-

жал он, чаще всего проходили и пересекались маршруты нескольких Сновидений. Поэтому, явившись на свой корробори, можно встретить людей из четырех разных тотемных кланов, из самых разных племен. Все собравшиеся принимались обмениваться песнями, танцами, сыновьями и дочерями, предоставлять друг другу «путевые права».

— Когда побудешь здесь подольше, — обратился ко мне Флинн, — услышишь выражение «обретение ритуального знания».

Это означало, что человек расширял свою песенную карту. Открывал перед собой новые возможности, изучая мир посредством песни.

— Представь себе двух аборигенов, — продолжал он, — которые встречаются впервые где-нибудь в пабе в Алис. Один копнет одно Сновидение. Другой — другое. А потом непременно что-нибудь прояснится…

— И это, — вмешался Аркадий, — положит начало красивой забулдыжной дружбе.

Рассмеялись все, кроме Флинна. Он продолжал рассказ.

Следующее, что нужно понять, говорил он, — это что каждый песенный цикл пролегает поверх языковых барьеров, ему неведомы племенные

границы. Сновидение может начинать свой маршрут где-нибудь на северо-западе, под Брумом, затем миновать на своем пути двадцать или больше языков и закончиться где-нибудь у моря под Аделаидой.

— И все равно это будет та же самая песня? — уточнил я.

— У нас в народе, — сказал Флинн, — говорят, что узнают песню по вкусу или по запаху… Конечно, при этом имеется в виду мотив. Мотив *всегда* остается одинаковым, от первых тактов до финальных.

— Слова могут меняться, — снова вмешался Аркадий, — но мелодия остается неизменной.

— Значит ли это, — спросил я, — что юноша, отправляющийся в Обход, может с помощью песни пройти всю Австралию, если он хорошо знает нужный мотив?

— Теоретически — да, — согласился Флинн.

Известен случай, когда один арнемлендец прошагал через весь континент в поисках жены — было это примерно в 1900 году. Он женился на южном побережье и провел свою жену назад, к себе домой, прихватив с собой новообретенного шурина. Там шурин женился на девушке-арнемлендке и увел ее с собой на юг.

— Бедные женщины, — сказал я.

— Так действует табу на инцест, — пояснил Аркадий. — Если тебе нужна свежая кровь, ты должен ее поискать.

— Но на практике, — продолжал Флинн, — старейшины посоветовали бы юноше не уходить дальше чем на две остановки на тропе.

— А что это за остановки? — спросил я.

Остановка, пояснил он, — это «точка передачи», где песня переходит от тебя к следующему песневладельцу, где она перестает быть предметом твоей опеки и где ты уже лишаешься права одалживать ее кому-нибудь. Ты допел до конца своих строк — вот там и пролегает граница.

— Понимаю, — сказал я. — Это что-то вроде государственной границы. Дорожные знаки меняют язык, но дорога все та же.

— Более или менее, — согласился Флинн. — Но такое сравнение не передает красоты нашей системы. Здесь нет границ: только дороги и остановки.

Возьмем, к примеру, такую племенную территорию, как Центральная Аранда. Допустим, что к ней ведут и из нее выходят шестьсот разных Сновидений. В таком случае вокруг нее, по периметру, будут разбросаны тысяча двести «точек

передачи». Каждая такая остановка некогда была обозначена Предком из Времен Сновидений, а значит, ее местоположение на песенной карте неизменяемо. Но поскольку все они были сотворены *разными* Предками, то не существует никакого способа соединить их между собой пунктирными линиями, чтобы получилась современная политическая граница.

В аборигенской семье, говорил он, может насчитываться пять родных братьев, каждый из которых принадлежит к своему тотемному клану, и у каждого имеются свои узы верности в пределах и за пределами племени. Разумеется, у аборигенов случаются стычки, вендетты и кровные распри, но они всегда имеют целью возмещение какого-то ущерба или месть за святотатство. Мысль просто так вторгнуться на землю соседа никогда не могла бы прийти им в голову.

— Словом, все это сводится к чему-то вроде птичьей песни, — подытожил я неуверенно. — Птицы ведь тоже обозначают пределы своих территорий с помощью песен.

Аркадий, который слушал, уперев лоб в колени, вдруг встрепенулся:

— Я все ждал, когда ты додумаешься до этого сравнения.

Затем Флинн завершил разговор, коротко обозначив тему, которая давно сбивала с толку многих антропологов, а именно затронул вопрос двойного отцовства.

Первые путешественники по Австралии отмечали в своих записках, что аборигены не проводят связи между сексом и зачатием: вот доказательство (если только оно требуется) их безнадежно «примитивного» мышления.

Разумеется, это чушь. Абориген прекрасно знает, кто его отец. И все-таки существует нечто вроде параллельного отцовства, которое привязывает его душу к определенному месту, к некоей точке ландшафта.

Считалось, что каждый Предок, когда пел и странствовал по земле, оставлял за собой россыпь «клеточек жизни», или «духов-деток» возле своих следов.

— Что-то вроде музыкальной спермы, — пояснил Аркадий, и снова все рассмеялись, на этот раз даже Флинн.

Предполагалось, что песня распластана по земле в виде непрерывной цепочки куплетов: по куплету на каждую пару следов Предка, и каждый куплет создан из имен, которые он рассеял на ходу.

— Имя налево и имя направо?

— Да, — ответил Флинн.

Тут нужно было представить себе *уже* беременную женщину, которая бродит себе, занимаясь привычным собирательством. И вдруг, как только она наступает на куплет, в нее вспрыгивает «дух-дитя» — проникает в нее через ноготь на ноге или через открытую мозоль на ноге и забирается во влагалище, пробирается в матку и оплодотворяет зародыш песней.

— Первый толчок ребенка в животе матери, — сказал Флинн, — и отвечает этому моменту духозачатия.

Будущая мать запоминает место, где это произошло, и мчится за старейшинами. Затем они изучают местность и устанавливают, какой Предок здесь проходил и какие именно строки станут личной собственностью ребенка. Они отводят ему место зачатия, которое совпадает с ближайшим природным ориентиром на Песенной Тропе. Затем клеймят для него чурингу в хранилище чуринг…

Голос Флинна потонул в гуле самолета, пролетевшего совсем низко у нас над головами.

— Американцы, — хмуро сказала Мэриан. — Они прилетают только по ночам.

Американцы построили станцию для сопровождения космических объектов в Пайн-Гэпе, на Макдоннелле. Подлетая к Алис, можно увидеть огромный белый шар и целую кучу других сооружений. Похоже, никто в Австралии, даже премьер-министр, не знает, что там на самом деле творится, какие у них цели.

— Боже, как это все меня пугает. — Мэриан вздрогнула. — Лучше бы они убрались.

Пилот привел в действие аэродинамические тормоза, и самолет начал медленно снижаться над взлетно-посадочной полосой.

— Уберутся, — сказал Флинн. — Когда-нибудь им придется убраться.

Хозяин дома и его жена уже убрали со столов остатки еды и ушли спать. Я увидел, как с другого конца сада к нам идет Киддер.

— Ну, мне пора, — сообщил он всем нам. — Пора домой, составлять план полета.

Завтра утром он собирался лететь к Айерс-Року по каким-то делам, касавшимся земельных исков.

— Передавай от меня привет, — саркастично сказал Флинн.

— До встречи, приятель. — Это Киддер обратился ко мне.

— До встречи, — отозвался я.

Его блестящий черный «лендкрузер» стоял на подъездной дорожке. Он включил фары, осветив людей, остававшихся в саду. Громко завел мотор и задом выехал на улицу.

— Большой Белый Вождь уехал! — прокомментировал Флинн.

— Придурок! — сказала Мэриан.

— Ты несправедлива, — возразил Аркадий. — В глубине души он неплохой парень.

— Так глубоко я никогда не забиралась.

Флинн тем временем наклонился над своей подругой и целовал, закрыв ее лицо и шею черными крыльями бороды.

Пора было уходить. Я поблагодарил Флинна. Он пожал мне руку. Я передал ему привет от отца Теренса.

— Как он поживает?

— Хорошо, — ответил я.

— По-прежнему в той лачужке?

— Да. Но говорит, что скоро оттуда уедет.

— Отец Теренс, — сказал Флинн, — хороший человек.

13

Я уже почти уснул в своем номере мотеля, как вдруг раздался стук в дверь.

— Брю?

— Да.

— Это Брю.

— Я догадался.

— О!

Этот мой тезка сидел рядом в автобусе из Кэтрин. Он ехал из Дарвина, где только что разошелся с женой. Хотел устроиться где-нибудь дорожным рабочим. Он страшно тосковал по жене. У него было толстое брюхо, и он не блистал умом.

В Теннант-Крике он сказал мне: «Мы с тобой могли бы стать приятелями, Брю. Я бы тебя бульдозер водить научил». В другой раз, с еще большей теплотой: «Ты пом не из нытиков, Брю». И вот теперь, глубоко за полночь, он стоял за моей дверью и звал меня:

— Брю?

— Что?

— Хочешь пойти куда-нибудь и нажраться?

— Нет.

— О! Может, найдем себе красоток, — не унимался он.

— Да неужели? — спросил я. — В такой-то час?

— Ты прав, Брю.

— Ступай спать, — сказал я.

— Ладно, спокойной ночи, Брю.

— Спокойной ночи!

— Брю?

— Ну что еще?

— Ничего, — ответил он и зашаркал по коридору, волоча резиновые шлепанцы по полу: *шлеп… шлеп…*

На улице, за окном, горел натриевый свет, а с тротуара доносилось чье-то пьяное бормотание. Я повернулся к стене и попытался уснуть, но у меня из головы не шел Флинн и его подруга.

Мне вспомнилось, как мы сидели с отцом Теренсом на пустом пляже и как он сказал: «Надеюсь, у нее мягкий характер».

Флинн, пояснил он, — человек, подверженный буйным страстям. «Если у нее мягкий нрав, с ним все будет хорошо. Суровая женщина способна втянуть его в беду».

«В какую еще беду?» — спросил я.

«В революцию или еще во что-нибудь. Флинну

довелось испытать на себе самое нехристианское обращение, одно это могло бы его настропалить. Но если у его подруги окажется мягкий характер…»

Свою Фиваиду[17] отец Теренс обрел на берегах Тиморского моря.

Он жил в отшельнической лачуге, грубо сработанной из побеленного волнистого листа, среди зарослей пандана на мучнисто-белой дюне. Стены он обмотал кабелем, чтобы циклон не разметал хлипкую хижину. Над крышей был водружен крест: перекладинами служили два обломка весла, крепко связанные между собой. Здесь он прожил семь лет — с тех пор как закрыли Бунгари.

Я подходил со стороны суши. Его лачугу, белевшую на дюне между деревьями, прямо под солнцем, я заметил издалека. Ниже, в загоне, пасся брахман[18]. Я прошел мимо алтаря из коралловых пластинок и распятия, подвешенного к ветке.

Дюна взметнулась выше верхушек деревьев.

---

[17] Примечания: 17

Фиваида — область в Верхнем Египте, в которой часто селились первые христианские отшельники. — *Примеч. ред.*

[18] Примечания: 18

Брахман — здесь: порода зебу. — *Примеч. ред.*

Взбираясь по откосу, я оглянулся назад, в сторону суши, и увидел ровную лесистую равнину. Со стороны моря дюны были кочковатые, в крапинках водорослей, а вдоль северной линии бухты тонкой лентой тянулись мангровые заросли.

Отец Теренс печатал на машинке. Я позвал его по имени. Он вышел в шортах, потом снова исчез в хижине, снова показался — уже в грязной белой сутане. Он удивился тому упорству, что заставило меня проделать такой долгий путь по жаре.

— Что ж! — сказал он. — Идите-ка сядьте в тень, а я сейчас вскипячу котелок воды для чая.

Мы сели на скамью, стоявшую позади хибары, в тени. На земле лежали черные резиновые ласты и маска с трубкой. Отец Теренс наломал сухих сучьев, развел костер, и под таганком заплясали языки пламени.

Он был коротышкой с рыжеватыми волосами (вернее, их остатками) и редкими потрескавшимися побурелыми зубами. Отец Теренс обнажил их в неуверенной улыбке и сообщил, что скоро ему предстоит ехать в Брум — проходить курс терапии от рака кожи.

Он рассказал мне, что в детстве жил при ирландском посольстве в Берлине, где его отец, патриот, вел тайную подрывную работу против

Британской империи. Темперамент этого человека и подтолкнул его сына к молитвенной жизни. В Австралию он приехал в 1960-е годы, чтобы присоединиться к цистерцианцам, недавно водворившимся в Виктории.

В это время суток он каждый день печатал: в основном письма друзьям, разбросанным по всему миру. Он давно вел переписку с одним дзен-буддийским монахом из Японии. После этого читал, затем зажигал лампу и снова читал до глубокой ночи. В ту пору это были «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейма — книгу прислал ему один друг из Англии.

— Чистое безумие, — посетовал он. — Это же надо — элементарные формы! Разве у религии могут быть элементарные формы? Этот парень марксистом был, что ли?

Он и сам писал книгу, которая должна была стать «учебником бедности». Название он еще не придумал.

Особенно сегодня, сказал он, людям необходимо учиться жить без вещей. Вещи вселяют в людей страх: чем больше у них вещей, тем больше им приходится бояться. Вещи имеют свойство присасываться к душе человека, а потом диктовать ей, как нужно поступать.

Отец Теренс налил нам чая в красные эмалированные кружки. Чай был темным и обжигающим. Мы помолчали минуту или две, а потом он внезапно сказал:

— Ну не удивительно ли — жить в нашем удивительном двадцатом веке? Впервые в истории можно абсолютно ничем не владеть.

По правде сказать, в этой халупе у него имелось кое-что из личных вещей, но в скором времени он собирался оставить все это. Планировал уехать. Он слишком привязался к своей крошечной хижине, и это причиняло ему боль.

— Есть время для тишины, — сказал отец Теренс, — и время для шума. Немного шума мне сейчас не повредит.

В течение семи лет его духовными проводниками были отцы-пустынники: затеряться в пустыне значило нащупать путь к Богу. Но теперь его куда меньше заботило собственное спасение, чем нужды других людей. Сейчас он собирался отправиться в Сидней — работать во благо отверженных.

— Я испытываю к пустыне похожие чувства, — признался я. — Родина человека — пустыня в Африке. Возвращаясь в пустыню, он заново открывает себя.

Отец Теренс зацокал языком и вздохнул:

— Ну надо же, надо же! Вы, я вижу, эволюционист.

Когда я рассказал ему, что посетил отцов Субироса и Вильяверде, он снова вздохнул и с сильным ирландским акцентом проговорил: «Ох уж эти двое! Поистине, два сапога — пара!» Я расспросил его про Флинна. Он задумался, а потом дал мне взвешенный ответ.

— Флинн, несомненно, человек гениальный, — сказал он. — У него, что называется, девственный разум. Способен усвоить абсолютно все. Он прекрасно постиг богословие, но, мне кажется, он никогда не был верующим. Никогда не мог совершить скачок в веру. Для этого ему недоставало воображения — и это в каком-то смысле делало его опасным. Флинн успел нахвататься довольно опасных идей.

— Каких же?

— Синкретизма, — коротко ответил отец Теренс. — Посещение Рима было ошибкой.

Именно в Риме Флинн возненавидел покровительственное отношение к нему белых священников, старших по званию, и с негодованием понял, как они глумятся над верованиями его народа. К тому времени, как Флинн попал в Бунгари,

он уже обо всем составил собственное мнение.

Церковь, говорил он отцу Теренсу, совершенно неверно рисует себе аборигенов как людей, погрязших в каком-то жутком лимбе: напротив, их состояние весьма близко к тому, в коем пребывал Адам до грехопадения. Он любил сравнивать понятие «следы Предка» с изречением Господа нашего: «Я есмь Путь».

— Что мне было делать? — спрашивал меня отец Теренс. — Прикусить язык? Или высказать ему все, что я думаю? Нет. Мне приходилось говорить ему, что, на мой взгляд, внутренний мир аборигенов очень запутанный, бессердечный и жестокий. Чем еще можно уменьшить их страдания, как не христианским посланием? Как еще остановить смертоубийства? Название одного их места в Кимберли означает «Убивай их всех!» — это один из тех священных центров, из-за которых теперь поднимают столько шума. Нет! Нет! Нет! У этих бедных темнокожих детей есть только две альтернативы: слово Христово — или полиция!

Чернокожие люди ни в чем не виноваты. Просто в течение тысячелетий они оставались отрезанными от остального человечества. Что они знали о Великом Пробуждении, которое

пронеслось по Старому Свету задолго до явления Христа? Что они знали о дао? Или о Будде? Об учениях Упанишад? Или о логосе Гераклита? Ничего! Да и откуда им было знать? Теперь они могли, пусть и с опозданием, совершить скачок в веру. Пойти по стопам трех волхвов и поклониться беззащитному Младенцу Вифлеемскому.

— И вот тут-то, — сказал отец Теренс, — кажется, он перестал меня слушать. Он никогда не мог понять сюжет с яслями.

Стало прохладнее, и мы переместились ко входу в хибару. Над морем строем воздушных айсбергов протянулась линия грозового фронта. Молочно-синие валы глухо ударялись о берег, а над бухтой, почти касаясь крыльями волн, носились крачки, прорезывая шум прибоя высокими, будто металлическими криками. Ветра не было.

Отец Теренс заговорил о компьютерах, о генной инженерии. Я спросил, не скучает ли он иногда по Ирландии.

— Никогда! — Он простер руки к горизонту. — Здесь мне ее не потерять.

Над дверью его лачуги была прибита доска, принесенная океаном, на которой он вырезал кельтским шрифтом две строки:

Лисицы имеют норы, и птицы небесные

– гнезда;

А Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову[19].

Господь, сказал он, провел сорок дней и сорок ночей в пустыне, не строя себе ни дома, ни кельи, но находя себе приют под стенкой колодца.

— Пойдемте, — поманил он меня. — Я вам кое-что покажу.

Он повел меня по горкам из розоватых морских раковин, оставшихся от племени, некогда жившего здесь. Ярдов через двести мы остановились возле сливочного цвета скалы: из-под нее журчала прозрачная вода. Отец Теренс поднял сутану и принялся плескаться и брызгаться, как мальчишка.

— Ну не чудо ли — вода среди пустыни! — крикнул он мне. — Я нарек это место именем Мерива[20].

Когда мы возвращались к его хижине, из зарослей пандана высунул голову валлаби и скакнул навстречу отшельнику.

---

[19] Примечания: 19

Лк. 9: 58.

[20] Примечания: 20

Так Господь назвал источник, иссеченный жезлом Моисея из скалы в пустыне («Это вода Меривы…»; Числ. 20: 13).

— Брат мой валлаби, — улыбнулся тот и зашел в хижину за корочкой хлеба.

Валлаби взял угощение с ладони, потерся головой о его бедро. Отец Теренс погладил животное за ушами.

Я сказал, что мне пора. Он предложил проводить меня вдоль берега.

Я снял башмаки, связал шнурками между собой и повесил на шею; между пальцами босых ног сразу стал набиваться теплый песок. Крабы разбегались от нас в стороны, а стаи цапель поднимались вверх, перелетали вперед и снова приземлялись.

Скучать он будет разве что по морю, сказал отец Теренс. В тихую погоду он целыми часами плавает с маской вдоль рифа. Однажды его приметила лодка таможни — и приняла за всплывший труп. «А я-то был в чем мать родила».

Рыба здесь такая ручная, говорил он, что можно подплыть к ней по мелководью совсем близко и даже потрогать. Оказалось, он знает все их цвета и названия: скаты, губаны, ковровые акулы, бабочка-баронесса, рыба-хирург, скорпена, химера, морской ангел. У каждой рыбины — свой характер, свои повадки: они напоминали ему лица в дублинской толпе.

Дальше в море, где заканчивался коралловый риф, глубоко в воду уходил темный утес, где однажды из тьмы выплыла тигровая акула и принялась кружить вокруг отца Теренса. Он увидел вблизи ее глаза, челюсти и пять жаберных щелей, потом чудовище отвернулось и пропало. Отец Теренс выплыл на сушу и, растянувшись на песке, задрожал от запоздалого ужаса. На следующее утро словно некий груз упал с его плеч: он понял, что больше не боится смерти. Он снова проплыл возле того же участка рифа, и снова акула покружила рядом с ним — и пропала.

— Не бойся! — Он крепко сжал мою руку.

Грозовой фронт подходил все ближе. Теплый ветер подгонял волны.

— Не бойся! — снова крикнул он мне издалека.

Я обернулся помахать ему и увидел две нечеткие фигуры: человек в развевающейся белой рясе и валлаби с хвостом в форме вопросительного знака.

«Не бойся!» Должно быть, он опять повторил эти слова в моем сне, потому что утром, по пробуждении, они первыми пришли мне на ум.

14

Когда я спустился к завтраку, небо было серым и пасмурным. Солнце походило на белый волдырь, а в воздухе чувствовался запах гари. Утренние газеты наперебой рассказывали о пожарах в буше к северу от Аделаиды. Только тогда я догадался, что эти тучи — клубы дыма. Я позвонил друзьям, которые должны были находиться в зоне пожаров или где-то поблизости.

— С нами все в порядке! — послышался в трубке веселый потрескивающий голос Нин. — Ветер переменился как раз вовремя. Ну, ночка у нас все равно выдалась — волосы дыбом.

Они своими глазами видели охваченную огнем полоску горизонта. Пожар двигался со скоростью семьдесят пять километров в час, а между ними и пожаром находился государственный лес. Верхушки эвкалиптов превращались в шаровые молнии, которые штормовой ветер разбрасывал по сторонам.

— Волосы дыбом, — согласился я.

— Это же Австралия, — отозвалась моя приятельница, и тут телефонная линия заглохла.

На улице было так душно и влажно, что я вернулся в комнату, включил кондиционер и провел остаток дня, читая «Песни Центральной Австралии» Штрелова.

Это трудночитаемая, бессвязная и невероятно длинная книга, а Штрелов, по общему мнению, и сам был трудным в общении малым. Его отец Карл Штрелов был пастором, ответственным за лютеранскую миссию в Германсбурге, что к западу от Алис-Спрингс. Один из горстки «добрых немцев», которые, создав зону безопасности, сделали больше, чем кто-либо другой, для спасения аборигенов Центральной Австралии от представителей британского племени. Это не прибавило им популярности. Во время Первой мировой войны пресса развернула кампанию против «гнезда тевтонских шпионов» и «губительных последствий германизации туземцев».

В младенчестве у Теда Штрелова была кормилица-аранда, и ребенком он бегло говорил на языке этого племени. Позже, уже закончив университет, он вернулся к «своему народу» и на протяжении тридцати лет терпеливо заносил в записные книжки, записывал на магнитофонную ленту, снимал на кинопленку песни и религиозные обряды аранда. Об этом его попросили

темнокожие друзья, чтобы их песни не умерли вместе с ними.

Зная биографию Штрелова, можно не удивляться тому, что он сделался мишенью всеобщих нападок: самоучка, стремившийся одновременно к одиночеству и признанию, немецкий идеалист, шагавший не в ногу с идеалами Австралии.

Его ранняя книга «Традиции аранда» на много лет опередила свое время: в ней он выдвинул тезис о том, что интеллект «примитивных» народов нисколько не уступает интеллекту современного человека. Это заявление, оставшееся в целом не замеченным читателями-англосаксами, было подхвачено Клодом Леви-Строссом, который воспользовался многими догадками Штрелова, когда писал «Первобытное мышление».

Затем, уже в преклонном возрасте, Штрелов сделал ставку на одну возвышенную идею.

Он вознамерился доказать, что каждый аспект аборигенской песни имеет свое соответствие в древнееврейской, древнегреческой, древнескандинавской или древнеанглийской словесности, то есть в тех литературах, которые мы, европейцы, почитаем своим наследием. Уяснив взаимосвязь песни и земли, он захотел добраться до корней: найти в песне ключ, который помог бы

раскрыть тайну человеческого существования. Это было непосильное предприятие. За все свои труды он ни от кого не получил признания.

В 1971 году, когда вышли в свет «Песни», в придирчивом обзоре на страницах «Times Literary Supplement» было сказано, что автору следовало бы воздержаться от обнародования своей «возвышенной поэтической теории». Эта рецензия страшно огорчила Штрелова. Но еще более огорчительными оказались нападки активистов, обвинивших его в том, что он украл с целью публикации песни у невинных, ни о чем не подозревавших старейшин.

Штрелов умер за своим письменным столом в 1978 году, будучи уже сломленным человеком. Его память почтили снисходительной биографией, которую я пролистал в книжном магазине «Пустыня»; она показалась мне совершенно безобразной. Я убежден, что Штрелов был крайне самобытным мыслителем, а его обреченные на одиночество книги — действительно великими.

Около пяти часов я зашел в контору к Аркадию.

— У меня есть для тебя хорошие новости, — сообщил он.

Пришла радиограмма из Каллена — абориген-

ского поселения километрах в пятистах отсюда, на границе Западной Австралии. Аркадия позвали туда в качестве примирителя.

— Хочешь поехать? — спросил он.

— Конечно.

— Мы можем разделаться с железнодорожными делами за пару дней. А потом отправимся прямо на запад.

Он уже договорился о том, чтобы мне разрешили посетить резервацию для аборигенов. Вечером он шел на какую-то встречу, назначенную уже давно. Поэтому я позвонил Мэриан и спросил, не хочет ли она поужинать со мной.

— Не могу! — ответила она, запыхавшись.

Она уже запирала дверь, когда раздался телефонный звонок. Мэриан сию минуту уезжала в Теннант-Крик, чтобы найти женщин для опроса.

— Ну тогда до завтра, — сказал я.

— До завтра.

Я поужинал в «KFC» на Тодд-стрит. Под яркими неоновыми лампами мужчина в новехоньком синем костюме проповедовал подросткам (будущим курожарам) с таким видом, словно приготовление цыплят по-кентуккийски — важное религиозное таинство.

Я вернулся к себе в номер и провел вечер наедине со Штреловом и бутылкой бургундского.

Штрелов однажды сравнил изучение аборигенских мифов с проникновением в «лабиринт с бесконечными коридорами и переходами», которые связаны между собой таинственно и непостижимо. Когда я читал его «Песни», мне представлялся человек, который пробрался в этот потаенный мир с черного хода, и ему открылась картина куда более удивительная и замысловатая, чем все остальное, виденное им на свете. Рядом с этой картиной все материальные достижения человека казались просто хламом — и вместе с тем она никак не поддавалась описанию.

Что делает аборигенские песни столь трудными для понимания — так это бесконечное нагромождение подробностей. И все-таки даже не очень въедливый читатель способен заметить в них проблеск нравственного мира — сродни морали Нового Завета, где узы родства распространяются на всех живых людей, на всех его собратьев-животных, охватывают реки, скалы и деревья.

Я продолжал читать. Штреловские транслитерации текстов аранда у кого угодно вызвали бы

косоглазие. Поняв, что больше не могу прочесть ни строчки, я захлопнул книгу. Веки сделались будто наждачные. Я прикончил бутылку вина и спустился в бар, чтобы выпить бренди.

Возле бассейна сидел какой-то толстяк с женой.

— Добрейшего вам вечера, сэр! — приветствовал он меня.

— Добрый вечер.

Я заказал в баре чашечку кофе и двойной бренди, а вторую порцию бренди унес к себе в номер. Начитавшись Штрелова, я сам захотел что-нибудь написать. Я не напился, однако давно не чувствовал себя настолько пьяным. Вытащил желтый блокнот и засел писать.

В Самом Начале

В Самом Начале Земля была бескрайней и унылой равниной, разлученной с небом и с серым соленым морем и окутанной сумрачным покровом. Не было ни Солнца, ни Луны, ни Звезд. Но где-то очень далеко обитали Небожители — юные равнодушные существа с человеческим обличьем, но с ногами эму. Их золотые волосы сверкали в закатном свете, как паутина. Они не имели возраста и не старились — извечно существовали в своем зеленом, пышно цветущем Раю за Западными Облаками.

На поверхности Земли виднелись лишь ямы, которым предстояло стать источниками вод. Не было ни животных, ни растений, и только вокруг родников таились мясистые островки материи, комки первосупа — беззвучные, безвидные, бездыханные, беспробудные и бессонные. И каждый такой комок скрывал в себе сущность жизни, или возможность стать человеческим существом.

Между тем под корой Земли мерцали созвездия, светило Солнце, Луна прибывала и убывала, и лежали в дреме все формы живых созданий

— алость клиантуса, радужная переливчатость бабочкиного крыла, подрагивающие белые усы Старика Кенгуру: все это ожидало своего часа, как сухие семена в пустыне дожидаются блуждающего ливня.

В утро Первого Дня Солнце ощутило потребность родиться. (Тем же вечером должен был наступить черед Звезд и Луны.) Солнце вырвалось на поверхность, залило сушу золотым светом и согрело все ямы, а под каждой из них спал Предок.

В отличие от Небожителей, эти Предки никогда не были молодыми. Хромые, усталые старики с узловатыми конечностями, они проспали в одиночестве долгие столетья.

И случилось так, что в то Первое Утро каждый спящий Предок ощутил тепло Солнца, пригревавшего ему веки, и почувствовал, как его тело дает жизнь детям. Человек-Змея почувствовал, что из его пупка выползают змеи. Человек-Какаду ощутил на себе перья. Человека — Личинку Древесной Моли одолело желание извиваться, Медового Муравья — щекотка, а Человек-Жимолость заметил, что у него распускаются листья и цветы. Человек-Бандикут почувствовал, как из-под мышек лезут детки-бандикуты. И все эти

живые души, каждая зародившаяся отдельно, в своем месте, потянулись к дневному свету.

На дне ям (теперь они уже наполнялись водой) Предки поднимали ноги. Расправляли плечи, разгибали руки, протискивали тела через грязь, тянулись наверх. Их веки разомкнулись — и они увидели, как играют на солнышке их дети.

Грязь отвалилась от их бедер, как плацента от новорожденного. Каждый Предок раскрыл рот и, будто младенец, воскликнул: «Я есмь!» «Я — Змея… Какаду… Медовый Муравей… Жимолость…» И это первое «Я есмь», это первородное действо наречения имен, отныне стало считаться самой сокровенной и священной строкой песни Предка.

Каждый из Старейшин (теперь все они нежились на солнышке) выставил вперед левую ногу и выкликнул второе имя. Выставил вперед правую ногу и выкликнул третье имя. Они давали имена источникам, зарослям тростника, эвкалиптам — давали имена направо и налево, называли все вещи, возвращая их к бытию, и вплетали их имена в стихи.

Старейшины обошли с песнями весь мир. Они воспевали реки и горные цепи, соляные озера и песчаные дюны. Они охотились, ели, совокуплялись,

танцевали, убивали и, где бы им ни случилось пройти, рассыпали за собой музыкальные следы.

Они опутали весь мир песенной паутиной. И вот наконец, когда вся Земля оказалась воспета, они ощутили усталость. Вновь их конечности застыли, их сковало многовековое оцепенение. Некоторые провалились под землю там же, где остановились. Другие уползли в пещеры. Кто-то пробрался назад в Вечные Дома — первородные ямы, которые их породили.

Все они вернулись «восвояси».

15

На следующее утро тучи рассеялись, а поскольку завтрак в мотеле подавали не раньше восьми, я решил устроить пробежку до ущелья[21]. Воздух уже накалялся. В утреннем освещении горы выглядели бурыми и складчатыми.

По пути я прошел мимо вчерашнего толстяка, плававшего в бассейне на спине. На брюхе у него виднелся шрам, очертаниями напоминавший отпечаток рыбьего скелета.

— Доброе утро, сэр!

— Доброе утро, — ответил я.

На другой стороне улицы на муниципальном газоне расположились табором несколько аборигенских семей. Они освежались водой из распылителя для газонов, сидя от него на таком расстоянии, чтобы брызги не тушили сигарет. Вокруг слонялись сопливые дети, вымокшие с головы до ног.

Я поздоровался с бородатым мужчиной, который ответил: «Здорово, приятель». Кивнул его женщине, которая в ответ сказала: «Да пошел

---

[21] Примечания: 21
Имеется в виду ущелье Симпсонс-Гэп.

ты!» — прикрыла глаза и засмеялась.

Прошел мимо бестолковых молодых тел, качавших мускулы в «Развлекательно-оздоровительном центре», потом свернул направо, пошел вдоль реки и остановился прочесть табличку, вывешенную около эвкалиптов-призраков:

Зарегистрированный Священный участок
Сновидения Инджалка (Гусеницы)
Проезд воспрещен
За нарушение штраф 2000$

Там и глядеть-то было не на что — во всяком случае, белому человеку: порванная изгородь из колючей проволоки, беспорядочно лежащие ломкие камни, куча битых бутылок на жесткой траве.

Я пробежался еще немного, добежал до ущелья, но бегать было уже слишком жарко, и, развернувшись назад, я перешел на шаг. Толстяк все еще плавал в бассейне, а рядом с ним его жена. Поверх волос, накрученных на бигуди, у нее была натянута розовая морщинистая шапочка.

Я принял душ и уложил вещи. Прихватил стопку своих старых записных книжек. Там были записи для моей кочевнической книги: рукопись

я сжег, а вот блокноты сохранил. Некоторые страницы я не просматривал уже лет десять. Мешанина из почти неразборчивых конспектов, мыслей, цитат, кратких бесед, путевых заметок, черновиков рассказов… Я взял их с собой в Австралию, потому что надеялся укрыться где-нибудь в пустыне, подальше от библиотек и чужих трудов, и свежим взглядом просмотреть все, что там записано.

Когда я вышел из номера, меня остановил светловолосый лохматый юноша в заплатанных линялых джинсах. Лицо у него было красное, он, похоже, очень волновался. Спросил, не видел ли я паренька-аборигена:

— Такого, с растаманской прической…

— Нет, — ответил я.

— Если увидишь, скажи ему: Грэм ждет около фургона.

— Ладно, — сказал я и пошел завтракать.

Допивал уже вторую чашку отвратительного кофе, когда в столовую вошел тот второй Брюс. Он плюхнул свою каску на мой столик. Я сообщил ему, что уезжаю из города.

— Ну, значит, мы больше не увидимся, Брю, — сказал он угрюмо.

— Может быть, и нет, Брю.

— Ладно, прощай, Брю!

— Прощай!

Я пожал ему руку, и он отправился за своей овсянкой.

Аркадий приехал в девять часов на коричневой «тойоте-лендкрузере». В багажнике на крыше лежали четыре запасных колеса и целая батарея канистр. Аркадий был одет в свежевыстиранную рубашку цвета хаки со следами оторванных капральских нашивок и благоухал мылом.

— Вид у тебя щегольской, — заметил я.

— Это ненадолго, — ответил он. — Уверяю тебя, совсем ненадолго.

Я бросил свою сумку на заднее сиденье. Машина была заставлена ящиками с прохладительными напитками и «эски». «Эски» — сокращенно от «эскимоса» — полистироловый контейнер со льдом, без которого путешествие по пустыне немыслимо.

Мы проехали половину Тодд-стрит, как вдруг Аркадий притормозил, нырнул в книжный магазин «Пустыня» и вскоре вышел, держа в руках «пингвиновское» издание[22] «Метаморфоз» Овидия.

---

[22] Примечания: 22

«Penguin Books» — британское издательство, известное книгами в мягких обложках. — *Примеч. ред.*

— Это тебе подарок, — сказал он. — Будет что читать в дороге.

Мы выехали на окраину города, проехали мимо пабов «Бед Шед» и «Территори Реккинг» и остановились возле лавки ливанца-мясника, чтобы купить мяса. Когда мы вошли, сын мясника поднял голову, а потом продолжил точить нож. В течение следующих десяти минут мы до отказа забивали «эски» кусками мяса и сосисками.

— Угощу стариков, — сказал Аркадий.

— Да это же чертова прорва!

— Погоди, — ответил он. — Вот увидишь: они целую корову способны на ужин слопать.

Купили мы мяса и для одного старого буши[23] по имени Хэнлон, который жил бобылем за гленармондским пабом.

Мы поехали дальше, мимо поворота на телеграфную станцию в Олд-Алис, и наконец оказались среди голой, поросшей низким кустарником равнины Бёрт-Плейн.

Дорога представляла собой прямую ленту асфальта, по обе стороны от нее тянулись полоски рыжей грязи, в которой росли дыни-падди. Дыни эти — величиной с крикетные мячи. В Австралию

---

[23] Примечания: 23

Одно из прозвищ местных белых, живущих в буше. — *Примеч. ред.*

их привезли афганцы — на корм своим верблюдам. Иногда Аркадию приходилось сворачивать в дынные посадки, чтобы уступить дорогу автомобильному поезду, мчавшемуся на юг. Эти поезда состояли из трех сцепленных трейлеров. Они не снижали скорости, выскакивали прямо из знойно-миражной дали и нахально неслись по шоссе.

Каждые несколько километров мы проезжали мимо ворот скотоводческой станции или насоса с ветряным двигателем, вокруг которого паслась скотина. Нам попадалось много дохлых животных, валявшихся копытами вверх: вздутые от газа трупы клевало воронье. Дожди запоздали на два месяца.

— Убыточные земли, — пояснил Аркадий.

Почти все лучшие арендаторские участки были скуплены иностранцами — Вестиз, Банкер-Хант и тому подобные. Неудивительно, что жители Северной Территории чувствовали себя обманутыми!

— Страна против них, — продолжал Аркадий. — Политики против них. Многонациональные компании против них. Аборигены и те против них. Как будто эта земля хороша только для аборигенов.

Он рассказал, как однажды, когда они сле-

довали вдоль Песенной Тропы неподалеку от Маунт-Уэджа, хозяин выехал им навстречу и, потрясая дробовиком, проорал: «Убери их с моей земли! Убери этих черномазых с моей земли!» Тогда Аркадий, который уже написал пять писем этому человеку и ни на одно не получил ответа, изложил ему положения закона о земельном праве, согласно которому «традиционным землевладельцам» позволяется посещать свои исконно священные места.

Скотовода это взбесило.

— На моей земле нет никаких священных мест!

— Еще как есть, — возразил один из присутствовавших аборигенов.

— Нет их здесь!

— Да ты сейчас прямо на нем стоишь, приятель.

Дорога делала поворот, огибая русло реки, и на ее дальнем берегу, ближе к востоку, Аркадий показал мне причудливую цепочку светло-коричневых холмов. Они казались картонными декорациями, сооруженными над плоской равниной.

— Видишь вон тот маленький холм? — спросил он.

— Да.

Там виднелся конический холм поменьше, соединенный с остальными низким скальным уступом.

— В нем железнодорожники хотели прорыть тоннель, который позволил бы сократить длину путей по крайней мере на три километра.

Холмы лежали у северного края земли аранда; однако, когда Аркадий разослал сообщения по привычным каналам связи, никто не заявил о своих правах на этот участок. Он уже был готов заключить, что владельцев нет, и тут вдруг к нему в контору заявляется большая толпа аранда… и сообщает, что владельцы — они. Он отвез пятерых из них к холмам, и там аборигены встали с безучастным и жалким видом, выпучив глаза от страха. Он снова и снова спрашивал их: «Что здесь за песни?» или «Какое здесь проходило Сновидение?». Но они только плотнее сжимали губы и ни слова не говорили.

— Я никак не мог понять, что с ними, — рассказывал Аркадий. — Тогда я объяснил им про тоннель, и это вызвало настоящий переполох. Они все наперебой залопотали: «Черный умрет! Белый умрет! Все люди умрут! Конец Австралии! Конец света! Гибель!»

— В общем, ясно было, что тут кроется что-то серьезное, — продолжал Аркадий. — Тогда я обратился к старейшине, который трясся с головы до ног: «Ну что у вас тут такое?» Он приставил ковшиком руку к моему уху и прошептал: «СИЛА ЛИЧИНОК!»

Песня, которая проходила вдоль линии этих холмов, рассказывала о Предке из Времен Сновидений, которому не удалось совершить правильный обряд — такой, что поддержал бы цикл размножения мух в буше. Полчища личинок наводнили равнину Бёрт-Плейн, лишив ее растительности, — она остается голой по сей день. Предок согнал личинок в одно место и снова затолкал их обратно, придавив горным уступом, и с тех пор они продолжают плодиться и плодиться там, под землей. Старик сказал, что если прорезать в том месте склон, то произойдет гигантский взрыв. Целое облако мух взовьется вверх, накроет землю и убьет всех людей и животных ядом.

— Бомба? — догадался я.

— Бомба, — угрюмо кивнул Аркадий. — Кое-кто из моих друзей многое узнал о бомбе. Уже *после* того, как ее взорвали.

Перед испытанием британской водородной

бомбы в Маралинге[24] армия выставила остерегающие знаки с надписью на английском языке: «Прохода нет!» — предназначавшиеся для аборигенов. Не все эти знаки увидели, не все умели читать по-английски.

— Они прошли через него, — сказал Аркадий.

— Через Облако?

— Да, через Облако.

— Сколько же людей погибло?

— Никто не знает, — ответил он. — Все это замяли. Попробуй расспросить Джима Хэнлона.

---

[24] Примечания: 24
11 октября 1956 года.

16

Спустя примерно час мы проехали мимо глен-армондского паба, свернули влево с асфальтированного шоссе, затряслись по грунтовой дороге, а через некоторое время остановились возле бывшей скотобазы.

Поблизости, за тамарисками, служившими чем-то вроде заграждения, стояло старое некрашеное жестяное бунгало: серые стены рыжели ржавчиной, из середины торчала кирпичная труба. Здесь и жил Хэнлон.

Во дворе перед входом — пустые бочки для нефтепродуктов и куча армейского хлама. Дальше, под скрипучим ветряным насосом, стоял мертвый «шевроле», сквозь который пробивался мискантус. На входной двери висел выцветший плакат с призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Дверь со скрипом приоткрылась сантиметров на пятнадцать. За ней стоял Хэнлон.

— В чем дело, а? — трескучим голосом проговорил он. — Никогда голого мужика не видели, что ли? Ну, заходите, ребята!

Для человека, которому перевалило за семьдесят, Хэнлон выглядел очень даже неплохо. Он был худощав и мускулист, с коротковатой приплюснутой головой на длинной шее. То и дело поглаживал свои остриженные ежиком седые волосы. Еще у него был перебитый нос, очки в стальной оправе и громкий гнусавый голос.

Мы уселись, Хэнлон продолжал стоять. Уставился серьезным взглядом на свои гениталии, почесал в паху и похвастался нам, что недавно переспал с аптекаршей в Теннант-Крике.

— Неплохо для семидесяти трех лет! — Он снова оглядел себя. — Причиндалы в рабочем состоянии! Полон рот зубов! Что еще нужно старику?

— Ничего, — сказал Аркадий.

— Верно, — самодовольно ухмыльнулся Хэнлон.

Он обмотал себе пузо полотенцем и достал три бутылки пива. Я заметил, что правая рука у него сухая.

Внутри домика было жарко, как в печке. Зной беспрепятственно проникал через крышу, и скоро рубашки на нас промокли от пота. Передняя комната представляла собой Г-образный коридор, в конце которого стояла старая эмалированная ванна. Была еще кухня и стол со стульями.

Он показал нам газетные вырезки, пришпиленные к стенам: забастовка в Калгурли, череп Ленина, усы Дядюшки Джо[25], красотки из «Плейбоя». Он поселился здесь тридцать лет назад с женщиной, которая от него потом ушла. Продал свою землю и жил на пособие.

Стол был застелен красной клеенкой. Полосатая кошка облизывала тарелку.

— Брысь, дрянь такая! — Хэнлон занес кулак, и кошки след простыл. — Какими судьбами, ребята?

— Едем в земли кайтиш, — ответил Аркадий. — С людьми Алана Накумурры.

— Землемерный отчет, да?

— Да.

— Священные места, да?

— Да.

— Хрень собачья, а не священные места! Организация — вот что нужно этим ребятам!

Он подбросил пробки от пивных бутылок, потом высморкался в руку и тщательно размазал сопли по низу своего стула. Заметил, что я наблюдаю за ним. Уставился на меня в ответ.

Потом Хэнлон ударился в воспоминания о Кал-

---

[25] Примечания: 25
Прозвище Сталина на Западе. — *Примеч. ред.*

гурли, о том, как до Второй мировой войны состоял в партии.

— У него спроси! — Он ткнул в Аркадия. — Спроси у этого парня, и он тебе расскажет мою биографию!

Хэнлон прошлепал в дальнюю комнату, где стояла кровать, и, порывшись среди старых газет, откопал книгу в тускло-красном клеенчатом переплете. Вернулся, снова сел рядом с нами, поправил очки и прислонился спиной к спинке стула.

— А теперь, — возгласил он, делая вид, что раскрывает книгу наобум, — почитаем Евангелие от отца нашего Маркса. Уж простите старику это богохульство! Сегодня у нас… Что за день сегодня, черт побери? Четверг… Так я и думал! Число не имеет значения… Страница двести пятьдесят шестая… Ну и что же тут написано?

«В чем же заключается отчуждение труда? Во-первых, в том, что труд является для рабочего чем-то внешним, не принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развивает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свои духовные

силы…»[26]

— Нет ничего полезнее, чем несколько строчек из Маркса перед едой! — улыбнулся Хэнлон. — Подстегивает интеллект и улучшает пищеварение! Ребята, вы голодные?

— Мы ели, — ответил Аркадий.

— Ну, тогда еще раз поедите вместе со мной.

— Нет, Джим, правда. Мы не можем.

— Еще как можете.

— Мы опоздаем.

— Опоздаете? Что такое «поздно» и что такое «рано»? Важный философский вопрос!

— Мы опоздаем на встречу с девушкой по имени Мэриан.

— А вот это уже не философский вопрос! — сказал он. — Кто, черт возьми, эта Мэриан?

— Моя давняя приятельница, — ответил Аркадий. — Работает в Земельном совете. Она поехала за женщинами-кайтиш. Мы договорились встретиться в Миддл-Боре.

— Мэриан! Девица Мэриан! — Хэнлон зачмокал губами. — Является в Миддл-Бор со свитой прекрасных дам. Знаешь что — они могут и подождать. Ступай-ка, неси мясо, парнишка!

---

[26] Примечания: 26

Карл Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. — *Примеч. ред.*

— Только если быстро, Джим, — смягчился Аркадий. — У нас есть час, но не больше.

— Помнишь ли ты… наши мечты… Пусть это был только сон… мне дорог он…

У Хэнлона сохранились остатки приличного баритона. Он взглянул на меня.

— Да не пялься на меня так! — огрызнулся Хэнлон. — Я в настоящем хоре пел.

Аркадий пошел к машине за мясом.

— Значит, ты писатель, да? — спросил меня Хэнлон.

— В некотором роде.

— Ты хоть один день в своей жизни честно вкалывал, а?

Его голубые глаза слезились. Глазные яблоки были опутаны сплошной красной сеткой.

— Старался, — ответил я.

Он выбросил вперед сухую руку. Она казалась багровой и восковой одновременно. Мизинец отсутствовал. Он поднес эту руку к моему лицу, будто клешню.

— Знаешь, что это такое? — спросил он.

— Рука.

— Рука труженика!

— Мне приходилось работать в поле, — сказал я. — И рубить лес.

— Лес? Где же это?

— В Шотландии.

— Какой лес?

— Ель… Лиственницу…

— Очень убедительно! А какой пилой?

— Электрической.

— Какой марки, болван?

— Уже не помню.

— Совсем неубедительно, — заключил он. — Что-то я тебе не верю.

Аркадий протиснулся через дверь. Он нес мясо в белом полиэтиленовом пакете, запачканном кровью. Хэнлон взял пакет, открыл и понюхал.

— Ага! Вот так-то! — усмехнулся он. — Наконец-то настоящее красное мясо!

Он встал, зажег газовую конфорку, вылил на сковороду немного масла из старой банки из-под краски и положил жариться три куска.

— Эй, ты! — обратился он ко мне. — Подойди сюда, потолкуй с поваром.

Жир зашкварчал, и он принялся ворочать мясо лопаткой, чтобы не пригорало.

— Значит, книжку пишешь?

— Пытаюсь, — ответил я.

— А почему бы тебе не писать свою книжку прямо здесь? Мы бы вели с тобой поучительные

беседы, а?

— Почему бы и нет, — неуверенно произнес я.

— Арк! — крикнул Хэнлон. — Последи-ка минутку за мясом, а, малыш? Я покажу этому книжнику квартиру. Эй! Пойдем-ка со мной!

Он сбросил полотенце на пол, натянул шорты и сунул ноги в шлепанцы. Я вышел вслед за ним на солнечный свет. Ветер усилился, теперь он взметал вдоль дороги рыжие клубы пыли. Мы прошли сквозь заросли тамарисков и подошли к скрипучему эвкалипту, под которым стоял трейлер.

Он открыл дверь. Внутри пахло дохлятиной. Окна опутывала паутина. На постели лежало скомканное белье, рваное и грязное. Стол был заляпан томатным соусом, вокруг пятен роились муравьи.

— Уютное гнездышко! — защебетал Хэнлон. — Умеренная плата! А дерево можно смазать, если тебе скрип будет мешать.

— Очень мило, — сказал я.

— Но все-таки недостаточно мило, да?

— Я этого не говорил.

— Зато подумал! Здесь можно все обеззаразить. И тебя заодно!

Он с шумом захлопнул дверь и поплелся обратно в дом.

Я некоторое время послонялся по двору, а когда вернулся, бифштекс уже был готов. Хэнлон в придачу пожарил шесть яиц и уже собирался подавать все это на стол.

— Обслужи сначала его светлость! — сказал он Аркадию.

Хэнлон отрезал три ломтя хлеба и поставил на стол бутылку с соусом. Я ждал, когда сядет Хэнлон. Стояла невыносимая жара. Я поглядел на кусок мяса и на яичные желтки.

Хэнлон, казалось, целую минуту буравил меня взглядом, а потом сказал:

— А ну давай, жри мясо!

Мы ели молча.

Хэнлон придерживал свой бифштекс сухой рукой, а здоровой нарезал на кубики ножом с зазубренным лезвием и парой загнутых зубцов на кончике.

— Что он о себе воображает? — обратился он к Аркадию. — Кто просил его совать сюда свой сопливый аристократский нос?

— Ты сам и просил, — сказал Аркадий.

— Я? Ну, тогда я ошибся.

— Никакой я не аристократ, — сказал я.

— И все же слишком аристократичен для моего маленького званого обеда! Званый обед! Так это

называют у вас в Померанглии! Званый обед у королевы! А?

— Джим, прекрати, — сказал Аркадий. Ему было явно не по себе.

— Ну, я не хотел его обидеть, — сказал Хэнлон.

— Это уже что-то, — заметил я.

— Да уж, — согласился он.

— Расскажи ему про Маралингу, — попросил Аркадий, чтобы сменить тему разговора. — Расскажи ему об Облаке.

Хэнлон поднял здоровую руку и щелкнул пальцами, как кастаньетами:

— Облако! Да-да, сэр! Облако! Облако ее величества. Облако сэра Энтони-вознесшегося-в-рай![27] Бедный сэр Энтони! Он так мечтал о своем Облаке! Чтобы потом говорить русскому в Женеве: «Гляди, старина, у нас тоже есть Облако!» Забыв, разумеется, о том, что существуют такие вещи, как климатические перемены!.. *Даже* в Австралии! Забыв о том, что ветер *может* подуть не в том направлении! И вот он вызывает Боба Мензи-

[27] Примечания: 27

Имеется в виду Роберт Энтони Иден — премьер-министр Великобритании в 1955–1957 годы. — *Примеч. ред.*

са[28] и говорит ему: «Боб, мне нужно мое Облако прямо сейчас! Сегодня!» — «Но ветер…» — возражает ему сэр Боб. «Да что ты мне про ветер, — упирается сэр Энтони. — Я же сказал — *сейчас*!» И вот они запускают это устройство — как мне нравится слово «устройство»! — и Облако, вместо того чтобы улететь в море и отравить рыб, прилетело вглубь суши и отравило *нас*! А там они его потеряли! Потеряли эту хрень над Квинслендом! И все-таки сэр Энтони потолковал-таки потом с товарищем Никитой, мило так поболтал с ним об Облаке: «Да, товарищ, это правда. И у нас тоже есть, есть-таки Облако. Правда, мои люди ненадолго потеряли его из виду! Распылили при этом горсточку аборигешек…»

— Хватит, — твердо сказал Аркадий.

Хэнлон понурил голову.

— А, черт! — сказал он, потом воткнул вилку в очередной кусочек мяса и отправил его в рот.

Все молчали до тех пор, пока Хэнлон не рыгнул и не сказал:

— Прошу прощения!

Он отпихнул от себя тарелку:

— Не могу доесть эту хрень.

---

[28] Примечания: 28

Роберт Гордон Мензис — премьер-министр Австралии в 1949–1966 годы.

Его лицо приобрело гипсовый оттенок. Рука затряслась.

— Тебе нехорошо? — спросил Аркадий.

— У меня загиб кишки, Арк.

— Тебе нужно к врачу.

— Да был я у врача. Меня хотят резать, Арк.

— Сочувствую, — сказал я.

— Я не дам себя резать. Верно, а?

— Нет, — сказал Аркадий. — Пожалуй, тебе лучше согласиться.

— Ну, может, и соглашусь, — жалобно всхлипнул Хэнлон.

Прошло еще пять минут. Аркадий поднялся и бережно обнял старика за плечи.

— Джим, — сказал он с нежностью, — прости, но, боюсь, нам уже пора. Тебя никуда не надо подвезти?

— Нет, — ответил тот. — Я остаюсь здесь.

Мы уже двинулись к выходу.

— Побудьте еще немного, — попросил Хэнлон.

— Нет, нам правда пора ехать.

— Жаль, ребята, лучше бы вы еще остались. Мы бы хорошо время провели.

— Мы еще приедем, — сказал я.

— Приедете? — Хэнлон оживился. — Когда?

— Через пару дней, — сказал Аркадий. — Когда

с делами управимся. А потом поедем в Каллен.

— Извини, что я на тебя так налетел, — сказал мне Хэнлон. У него дрожала губа. — Вечно на помов налетаю!

— Ничего страшного, — сказал я.

Снаружи зной только усилился, но ветер почти стих. В загоне перед домом парил орел с клиновидным хвостом, слегка касаясь колышков ограды. Увидев нас, эта красивая, блестящая птица с бронзовыми перьями улетела прочь.

Я сделал попытку пожать Хэнлону руку. Он не отнял ее от живота. Мы сели в «лендкрузер».

— Могли бы сказать мне спасибо за бифштексы, — крикнул он нам вдогонку.

Пытался вернуться к своему прежнему, колкому тону, но видно было, что он напуган. По щекам у него текли слезы. Он отвернулся — не хотел видеть, как мы отъезжаем.

17

На воротах лагеря Скалл-Крик висела табличка, грозившая штрафом в 2000 долларов каждому, кто пронесет спиртное на территорию аборигенского поселения. Поверх этой надписи кто-то накорябал белым мелом: «Чушь собачья!» Мы заехали сюда, чтобы забрать старейшину-кайтиш по имени Тимми. Он приходился Алану Накумурре родственником по материнской линии и знал все Сновидения вокруг станции Миддл-Бор.

Я снял цепь с ворот, и мы подъехали к беспорядочному скоплению блестящих жестяных крыш, проглядывавших сквозь выбеленную траву. На окраине поселения ребятня скакала на батуте, а неподалеку стояла большая коричневая металлическая коробка без окон. Аркадий сказал, что это местная лечебница.

— Ее прозвали «машиной смерти», — сказал он. — Теперь к ней никто и близко не подходит.

Мы припарковались под двумя эвкалиптами-призраками, рядом с маленьким беленым домиком. В ветвях щебетали птицы. Две полногрудые женщины — одна в просторном зеленом

платье — лежали на крыльце и спали.

— Мэвис, — позвал Аркадий.

Ни одно из толстых храпящих созданий не шевельнулось.

За деревьями, выстроившись вокруг рыжего земляного пустыря, стояло около двадцати хибар: полуцилиндры из волнистого листа, открытые с одной стороны, как загоны для свиней. Там, в тени, лежали или сидели на корточках люди.

Ветер швырял туда-сюда обрывки картона и пластмассы, вся территория сверкала осколками стекла. По ней скакали блестящие черные вороны, моргали желтыми глазами и клевали старые консервные банки из-под тушенки; потом их прогнали собаки.

Один малыш, узнав Аркадия, закричал: «Арк! Арк!» — и уже через несколько секунд нас со всех сторон обступила толпа голых ребятишек, оравших: «Арк! Арк! Арк!» Их светлые волосы смотрелись как стерня на черноземном поле. Уголки их глаз облепили мухи.

Аркадий взял двоих мальчишек на руки. Третий запрыгнул ему на спину, а остальные цеплялись за ноги. Он трепал им волосы, пожимал протянутые руки. Потом, распахнув багажник «лендкрузера», принялся раздавать детворе на-

питки и леденцы.

Одна из толстух приподнялась, села, отбросила с лица спутанные космы, зевнула, протерла глаза и сказала:

— Это ты, Арк?

— Привет, Мэвис! — ответил он. — Как дела сегодня?

— В порядке. — Она снова зевнула и встряхнулась.

— А где Тимми?

— Спит.

— Хочу взять его в буш.

— Сегодня?

— Сейчас, Мэвис. Сейчас!

Мэвис с усилием встала и, неуклюже переваливаясь, отправилась на поиски мужа. Но Тимми сам услышал галдеж на улице и уже стоял на пороге лачуги.

Это был бледный, костлявый, ехидный с виду старик с жидкой бородкой. Один глаз у него был затянут трахомой. Коричневая фетровая шляпа надета набекрень, вокруг шеи повязан красный платок. Из-за крайней худобы штаны с Тимми то и дело сползали, и ему приходилось их поддергивать. Он погрозил Аркадию пальцем и издал сдавленный смешок.

Аркадий поставил детей на землю и достал из машины фотоальбом со снимками, сделанными в прошлой экспедиции. Потом уселся на ступеньках рядом с Тимми, и тот принялся листать альбом с сосредоточенностью ребенка, погрузившегося в сказку.

Я сидел позади них и глядел по сторонам. Приставучая белая сука, больная маститом, настырно совала морду мне в пах.

Аркадий обнял старика и спросил:

— Едешь с нами сегодня?

— Гостинец есть? — спросил Тимми.

— Гостинец есть.

— Хорошо.

Мэвис плюхнулась рядом. Космы снова скрыли ее лицо, так что теперь виднелась только выпяченная растрескавшаяся нижняя губа.

Аркадий перегнулся к ней и спросил:

— А ты поедешь, Мэвис? С нами будут Топси и Глэдис из Кертис-Спрингс.

— Нет! — недовольно пробурчала она. — Я теперь никуда не езжу. Сижу тут все время.

— Без выходных и праздников?

Она фыркнула:

— Иногда мы ездим в Теннант-Крик. У меня там родня. Моя мать оттуда. Там еще большая

скважина возле речки. Знаешь это место?

— Кажется, да, — неуверенно сказал Аркадий.

— Земля людей Билли-Боя, — сказала Мэвис, поднявшись с видом усталого достоинства, будто утверждая свое право на существование. — Рядом со станцией Мак-Клуэн.

— Так ты не поедешь с нами в Миддл-Бор?

— Не могу.

— А что тебе мешает?

— У меня нет шлепанцев. — Она выставила босую ногу, предлагая Аркадию осмотреть ее мозолистую, в трещинах, подошву. — Куда я поеду босиком? Нужно найти шлепанцы.

— Возьмите мои, — предложил я. — У меня есть запасная пара.

Я пошел к машине и достал свою единственную, и последнюю, пару зеленых резиновых шлепанцев. Мэвис выхватила у меня шлепанцы, словно я их у нее украл. Надела, тряхнула головой и потопала за котелком и одеялом для Тимми.

— Благодетель сэр Уолтер! — проговорил Аркадий и усмехнулся.

Тимми тем временем посасывал из картонной пачки яблочный сок. Он отставил пачку, поправил на себе шляпу, потом снова присосался к соку и наконец задумчиво спросил:

— А как насчет Большого Тома?

— Он здесь?

— Конечно здесь.

— Захочет поехать?

— Конечно захочет.

Мы подошли к хибаре с навесом и подпорками, где росли дыни-падди. Под ним спал Большой Том. Рубашки на нем не было. Мерно дышавшее пузо покрывали завитушки волос. Собака залаяла, и он проснулся.

— Том, — обратился к нему Аркадий, — мы сейчас едем в Миддл-Бор. Хочешь поехать с нами?

— Конечно, — улыбнулся тот.

Он выполз из своего убежища, нацепил коричневую рубашку, шляпу и объявил, что готов. Его жена Руби, высокая худая женщина со смущенной улыбкой, покрыла голову зеленым крапчатым платком и тоже сказала, что готова отправиться в путь.

Я никогда не видел, чтобы двое женатых людей так быстро собрались в дорогу.

Теперь нас стало шестеро, и внутри «лендкрузера» воцарился сложный и странный запах.

По пути к воротам мы проехали мимо долговязого юноши со светлыми волосами, заплетенными в крысиные косички, и с рыжеватой бородой.

Он лежал, растянувшись во весь рост, на красно-бурой земле. На нем была оранжевая футболка, линялые красные джинсы, на шее — раджнишевские четки. Вокруг него на корточках сидели четыре или пять чернокожих женщин. Похоже, они массировали ему ноги.

Аркадий нажал на гудок и помахал ему рукой. Тот еле кивнул в ответ.

— Это еще кто? — спросил я.

— Это Крейг, — ответил Аркадий. — Он женат на одной из этих женщин.

18

Возле отеля «Бёрнт-Флэт», где мы остановились, чтобы залить бак бензина, патрульный полицейский принимал показания о человеке, найденном мертвым на дороге.

Жертва, сообщил он нам, — белый мужчина лет двадцати с лишним, отщепенец. Многие автомобилисты видели его последние три дня — он то слонялся вдоль шоссе, то куда-то пропадал.

— А теперь от него кровавое месиво осталось. Пришлось лопатой от асфальта отскребать. Дальнобойщик принял его за дохлого кенгуру.

Несчастный случай произошел в пять утра, но тело — вернее, то, что оставил от него автомобильный поезд, — к тому времени уже часов шесть как было холодным.

— Похоже, кто-то подбросил его на шоссе, — заключил полицейский.

Он был подчеркнуто вежлив и любезен. В вырезе рубашки цвета хаки вверх-вниз ходило адамово яблоко. Он просил нас войти в его положение: позволить задать нам пару вопросов. Задави кто-нибудь черномазого в Алис-Спрингс

— невелика потеря. Но *белого* человека!..

— Так где вы были вчера в одиннадцать вечера, ребята?

— В Алис, — ответил Аркадий ровным голосом.

— Большое спасибо. — Чиновник коснулся краешка своей шляпы. — Нет необходимости вас дольше задерживать.

Все это он говорил, глядя внутрь машины и не сводя глаз с наших пассажиров. Пассажиры в свою очередь делали вид, что его не существует, и неотрывно смотрели в окно на равнину.

Полицейский направился к своей машине с кондиционером. Аркадий нажал на звонок, чтобы его вышли обслужить. Позвонил второй раз. Потом третий. Никто так и не вышел.

— Похоже, нам придется немного подождать, — заметил Аркадий.

— Похоже на то, — согласился я.

Было три часа дня, и все постройки плавились от зноя. Отель был выкрашен в ирисочный цвет, а на волнистой крыше жирными, но уже осыпающимися буквами было написано: «БЁРНТ-ФЛЭТ». Под верандой размещался вольер с волнистыми попугайчиками и розеллами. Окна номеров были заложены досками, а вывешенная табличка гласила: «Заведение продается».

Хозяина звали Брюс.

— Доход резко упал, — пояснил Аркадий, — после того как хозяин лишился права торговать спиртным.

Раньше Брюс греб деньги лопатой, но потом законы о торговле спиртным изменились: теперь торговцам запрещалось продавать аборигенам крепкие напитки.

Мы стали ждать.

Подъехала пожилая пара на трейлере, и, когда муж нажал на звонок обслуживания, дверь бара вдруг распахнулась и вышел мужчина в шортах с тяжело дышащим бультерьером на поводке.

У Брюса были ноги великанского размера, рыжие волосы, отвислые ягодицы и овальный подбородок. На предплечьях красовались татуированные русалки. Он привязал собаку, которая облаяла наших пассажиров. Смерил взглядом Аркадия и пошел обслуживать пожилую пару.

После того как мужчина из трейлера расплатился, Аркадий обратился к Брюсу очень вежливым тоном:

— Будьте любезны, канистру бензина.

Брюс отвязал собаку и вразвалку зашагал туда, откуда пришел.

— Свинья, — сказал Аркадий.

Мы снова стали ждать.

Полицейский наблюдал за происходящим из своей машины.

— Рано или поздно нас должны обслужить, — сказал Аркадий. — Этого требует закон.

Десять минут спустя дверь снова отворилась, и по ступенькам спустилась женщина в синей юбке. У нее была короткая стрижка и ранняя седина. Она только что готовила пирог: к ногтям пристало тесто.

— Не обращайте внимания на Брюса, — вздохнула она. — Он сегодня как бешеный.

— Только сегодня? — улыбнулся Аркадий.

Женщина сгорбила плечи и глубоко вздохнула.

— Зайди внутрь, — сказал мне Аркадий, — если хочешь ознакомиться с местным колоритом.

— А у нас есть время?

— Можем подождать, — сказал он. — Ради расширения твоего кругозора.

Женщина закусила губу и издала неловкий смешок.

— Может, купить нашим чего-нибудь выпить? — вызвался я.

— Купи, — сказал Аркадий. — А мне пива.

Я просунул голову через окно и спросил наших спутников, что они будут пить. Мэвис заказала

апельсиновый сок, но потом передумала и попросила апельсин с манго. Руби выбрала яблочный, Большой Том — грейпфрутовый сок, а Тимми — кока-колу.

— И «Фиолетовую Крошку», — прибавил он.

«Фиолетовая Крошка» — это большая конфета в шоколадной глазури.

Аркадий расплатился с женщиной за бензин, и я последовал за ней в бар.

— Когда будешь выходить, — крикнул он мне вдогонку, — погляди направо от выключателя.

Внутри компания дорожных рабочих играла в дартс, служащий станции, выряженный в ковбойскую одежду, скармливал монетки музыкальному автомату. На стенах красовалось множество поляроидных снимков: голые толстяки и множество длинных воздушных шаров. Надпись гласила: «Кредит — как секс. Одним он достается. Другим — нет». На «средневековом» свитке изображался карикатурный силач и были выведены шрифтом под древнеанглийский следующие стишки:

Да, хоть я прохожу
Долиной Смертной Тени,
Я Зла не убоюсь,

Ибо я есмь Брюс,

Подлейший сукин сын в Долине.

Рядом с бутылками «Сазерн-Камфорт» стояла старинная бутыль, доверху наполненная желтой жидкостью и снабженная ярлыком: «Настоящая С.-Т. Джиновая Бормотуха».

Я стал ждать.

Услышал, как Брюс сообщает кому-то из посетителей, что он купил себе местечко в Квинсленде, где «еще можно называть черномазого черномазым».

В бар вошел механик-телеграфист, с которого ручьями лился пот, и заказал два пива.

— Я слышал, у вас тут авария на дороге произошла и виновник скрылся?

— Ага! — Брюс оскалил зубы. — Свежее мясо!

— Что-что?

— Я говорю, свежее съедобное мясо!

— Съедобное?

— Белый человек. — Брюс высунул язык и грубо расхохотался.

Я с удовольствием отметил, что механик нахмурился и ничего не ответил.

Потом дверь снова открылась, зашел товарищ механика и сел на барный табурет. Это был худо-

щавый молодой абориген-полукровка с веселой, самоуничижительной усмешкой.

— Черным сюда нельзя! — Брюс повысил голос, чтобы перекричать игроков в дартс. — Ты меня слышал? Я сказал: «Черным сюда нельзя!»

— Я не черный, — ответил полукровка. — У меня проблемы с кожей.

Брюс рассмеялся. Дорожные рабочие тоже рассмеялись, а полукровка стиснул зубы и продолжал улыбаться. Я наблюдал за тем, как крепко сжимают его пальцы банку с пивом.

Потом Брюс обратился ко мне тоном принужденной вежливости:

— Далеко от дома забрались. Что прикажете?

Я перечислил напитки.

— И «Фиолетовую Крошку», — вспомнил я.

— И «Фиолетовую Крошку» для английского джентльмена!

Я молча расплатился.

Идя к выходу, я поглядел направо от выключателя и увидел в обоях дырку, пробитую пулей. Вокруг отверстия красовалась позолоченная рамка с небольшой латунной бляшкой — такие бляшки обычно прибивают под трофеями вроде оленьих рогов или засушенных рыб — с надписью: «Майк — 1982».

Я раздал аборигенам напитки, и они приняли их, даже не кивнув.

— Ну и кто был этот Майк? — спросил я, когда мы снова тронулись в путь.

— Он и сейчас есть, — сказал Аркадий. — Работал раньше барменом у Брюса.

Тогда стоял такой же знойный летний день, как сегодня, и четверо парней-пинтупи, возвращавшиеся из миссии Балго, зашли купить бензина и выпивки. Они очень устали, были взбудоражены, и старший из компании, увидев бутылку с «Джиновой Бормотухой», сказал что-то оскорбительное. Майк отказался их обслуживать. Тогда задира схватил пивной стакан, прицелился в бутылку, но промазал. А Майк взял 22-калиберную винтовку Брюса — она всегда лежала наготове под прилавком — и принялся стрелять поверх голов пинтупи.

— Так, во всяком случае, — сказал Аркадий, — он утверждал на суде.

Первая пуля вышла из основания черепа задиры. Вторая пробила стену справа от выключателя. Третья, для полноты картины, угодила в потолок.

— Естественно, — продолжал Аркадий тем же бесстрастным тоном, — соседи пожелали внести

вклад в судебные расходы бедняжки-бармена. Они устроили гала-концерт и пригласили топлесс-шоу из Аделаиды.

— Майк вышел сухим из воды?

— Самозащита.

— А как же свидетели?

— Со свидетелями-аборигенами не всегда легко найти общий язык, — сказал Аркадий. — Например, они отказываются слышать, как покойника называют по имени.

— Они что — совсем не хотят давать показаний?

— Просто сильно осложняют судебный процесс.

19

На развилке с указателем на Миддл-Бор мы повернули направо и поехали на восток по пыльной дороге, которая тянулась параллельно скалистому эскарпу. Дорога вздымалась и опускалась, проходя сквозь чащу кустарников с серыми листьями, светлоперые ястребы сидели на кольях ограждений. Аркадий старательно объезжал глубокие колеи и ямы.

Недалеко от дороги, справа, показалось обнажение породы — выветренная глыба песчаника с отдельно стоящими остроконечными «башнями» высотой метров в шесть с половиной. Я понял, что это — место Сновидения, и ткнул Большого Тома в ребра.

— Кто здесь? — спросил я.

— Маленький такой. — Он согнул указательный палец, изображая шевелящуюся личинку.

— Древесная моль?

Он энергично замотал головой и, жестом показав, что отправляет личинку себе в рот, сказал:

— Меньше.

— Гусеница?

— Да! — просиял он и в свой черед ткнул меня в ребра.

Дорога вела к белому дому в зарослях деревьев, за которыми были разбросаны другие постройки. Это и была станция Миддл-Бор. На поле, поросшем белой, как кости, травой, паслись гнедые лошади.

Мы вывернули налево и поехали по более узкой дороге, пересекли ручей и остановились у ворот моего второго по счету аборигенского лагеря. Это место выглядело менее мрачным, чем Скалл-Крик. Меньше битых бутылок, меньше собак с гноящимися ранами, да и у детей был куда более здоровый вид.

Хотя день перевалил за середину, большинство людей в лагере все еще спали. Под деревом сидела женщина и перебирала какие-то плоды или ягоды. Когда Аркадий поздоровался, она опустила голову и уставилась на свои босые ноги.

Мы стали пробираться мимо лачуг, двигаясь зигзагом между порослями колючек к бесколесному корпусу фургона «фольксваген». Над дверью был натянут зеленый брезент, а из пластмассового шланга сочилась вода на участок, засаженный арбузами. У фургона на цепи сидела остромордая охотничья собака.

— Алан? — громко позвал Аркадий, пытаясь перекричать собачий лай.

Никакого ответа.

— Алан, ты здесь? Черт, — чуть слышно пробормотал он, — надеюсь, он не ушел опять.

Мы еще немного подождали, и из-за края брезента высунулась длинная черная рука. Через некоторое время вслед за рукой показался жилистый седобородый мужчина в светло-сером котелке, грязных белых штанах и фиолетовой рубашке с узором из гитар. Он был бос. Шагнул на солнечный свет, поглядел сквозь Аркадия и величаво склонил голову.

Собака продолжала лаять, он ее пнул.

Аркадий заговорил с ним на уолбири. Старик выслушал его, опять склонил голову и ушел обратно за брезентовую занавеску.

— Похож на Хайле Селассие[29], — заметил я, когда мы отошли от вагончика.

— Только еще благороднее.

— Намного, — согласился я. — Он поедет с нами?

— Наверное.

— Говорит по-английски?

---

[29] Примечания: 29

Хайле Селассие (1892–1975) — последний император Эфиопии, происходивший из легендарной династии потомков царя Соломона.

— Может, когда хочет. Английский — не самый любимый его язык.

Народ кайтиш, рассказал Аркадий, имел несчастье жить вдоль сухопутной телеграфной линии и потому рано вошел в контакт с белым человеком. Они быстро научились изготовлять ножи и наконечники копий из фарфоровых изоляторов. Чтобы положить этому конец, белые сочли нужным их проучить. А кайтиш отомстили своим убийцам.

По пути сюда мы проезжали мимо придорожной могилы телеграфиста, который, умирая от раны, нанесенной копьем, успел отбить по телеграфу прощальную записку жене в Аделаиду. Это случилось в 1874 году. Полицейские репрессии продолжались до 1920-х.

Когда Алан был еще молод, у него на глазах расстреляли отца и братьев.

— Ты говорил, он один остался в живых?

— Из его клана — да, — сказал Аркадий. — В этой части страны.

Мы сели спиной к спине, прислонившись к стволу эвкалипта, и стали наблюдать за пробуждением лагеря. Мэвис и Руби пошли в гости к подругам. Большой Том задремал, а Тимми сидел, скрестив ноги, и улыбался. Земля здесь высохла и

растрескалась, возле моих башмаков плотным ручейком, не отклоняясь от курса, ползли муравьи.

— Где же Мэриан, черт возьми? — вдруг сердито сказал Аркадий. — Она уже несколько часов назад должна была приехать. Ладно, давай пить чай.

Пока он распаковывал чай и кое-какую снедь, я принес из чащи хвороста и разжег костер. Аркадий вручил Тимми булочку с ветчиной, тот мгновенно проглотил ее и попросил добавки, а потом, с видом человека, привыкшего к тому, чтобы его обслуживали, протянул мне свой котелок.

Вода уже почти закипала, когда в лагере внезапно поднялся страшный переполох. Женщины завизжали, собаки и дети попрятались, и мы увидели, что в нашу сторону несется столб малиново-бурой пыли.

Приближаясь, этот ураган ревел и трещал. Он засасывал листья, ветки, ошметки пластмассы, бумаги и кусочки металлического листа, вихрем поднимал все это в небо, а потом уносил прямо над лагерем в сторону дороги.

Немного паники — и все пришло в норму.

Через некоторое время к нам подошел человек средних лет в голубой рубашке. Шляпы на нем не было. Жесткая седая щетина на голове была

такой же длины, что и щетина на подбородке. Открытым, улыбчивым лицом он напомнил мне моего отца. Незнакомец присел на корточки и принялся ложками сыпать сахар в свою кружку. Аркадий говорил. Мужчина слушал, потом что-то ответил тихим шепотом, одновременно чертя пальцем в песке.

Потом он ушел в сторону жилого фургончика Алана.

— Кто это? — спросил я.

— Племянник старика, — ответил Аркадий. — И его ритуальный ассистент.

— Чего он хотел?

— Проверить нас.

— Мы прошли проверку?

— Думаю, он вернется.

— Когда?

— Скоро.

— Хотел бы я понять, что такое ритуальный ассистент.

— Это непросто.

Дым от костра летел прямо на нас, отгоняя мух.

Я достал блокнот и положил на колени.

Вначале, сказал Аркадий, нужно усвоить два аборигенских понятия: *кирда* и *кутунгурлу*.

Старик Алан — *кирда*: иначе говоря, он является «владельцем», или «боссом», той земли, которую мы собираемся осматривать. Он отвечает за ее сохранность, за то, чтобы ее песни пелись, а нужные ритуалы совершались вовремя.

А мужчина в голубом — *кутунгурлу* Алана, его «ассистент», или «помощник». Он принадлежит к другому тотемному клану и приходится Алану племянником — настоящим или символическим, не важно, — с материнской стороны. Само слово «кутунгурлу» означает «утробный родственник».

— Значит, у ассистента, — уточнил я, — и у босса всегда разные Сновидения?

— Да.

Каждый из них пользуется гостеприимством на земле другого, и оба, условно говоря, работают в одной команде, стремясь сохранить обряды гостеприимства. Босс и ассистент редко бывают ровесниками, и эта разница в возрасте гарантирует эстафету ритуальных знаний, которые продолжают своим чередом переходить от поколения к поколению.

В прежние времена европейцы думали, что босс и вправду босс, а ассистент — его подчиненный. Оказалось, что это весьма ошибочное представление. Сами аборигены иногда перево-

дят слово «кутунгурлу» как «полицейский»: это куда точнее передает характер его взаимоотношений с *кирда.*

— Босс, — продолжал Аркадий, — ни шагу сделать не может без разрешения «полицейского». Возьмем, к примеру, Алана. Племянник сказал мне, что они оба очень боятся, что строительство железной дороги разрушит важное священное место, где навеки почил Предок-Ящерица. Но решать, стоит ли им ехать вместе с нами или нет, будет не Алан, а он.

Волшебство такой системы, добавил он, состоит в том, что ответственность за землю возложена в конечном итоге не на ее хозяина, а на представителя соседнего клана.

— И наоборот? — спросил я.

— Разумеется.

— Значит, война между соседями становится делом крайне затруднительным?

— Она обречена на провал.

— Как если бы Америка и Россия вдруг договорились махнуться курсами внутренней политики…

— Тсс! — прошептал Аркадий. — Они идут.

20

Человек в голубом медленным шагом шел через заросли колючек. Алан следовал за ним, отставая на пару шагов, надвинув котелок на лоб. На лице у него застыла маска ярости и самообладания. Он сел рядом с Аркадием, скрестил ноги и положил на колени ружье-двадцатидвушку.

Аркадий развернул землемерную карту, придавил концы камнями — от ветра. Принялся тыкать в различные холмы, дороги, скважины, ограждения — и обозначать возможный путь, по которому пройдет железная дорога.

Алан глядел на карту с хладнокровием генерала на совещании в Генштабе. Время от времени он вопросительно тянул палец к какой-нибудь точке на карте.

Поначалу я принял это представление за игру: мне даже в голову не приходило, что старик распознает местность, обозначенную на карте. Но потом он расставил указательный и средний пальцы буквой V и стал прикладывать их, как циркуль, к карте, быстро и беззвучно шевеля губами. Как потом объяснил мне Аркадий, так он

отмерял Тропу Песен.

Алан взял сигарету у Большого Тома и закурил, продолжая хранить молчание.

Через несколько минут подкатил раздолбанный грузовик. В кабине сидели двое белых мужчин, а у откидного борта, сгорбившись, застыл черный скотовод. Водитель — худой, морщинистый человек с бакенбардами, в засаленной коричневой шляпе — вышел и поздоровался за руку с Аркадием. Это был Фрэнк Олсон — владелец станции Миддл-Бор.

— А это, — показал он на своего молодого спутника, — мой партнер Джек.

На обоих были шорты, грязные фуфайки и ботинки для пустыни без шнурков на босу ногу. Ноги покрывали струпья, царапины от колючек и укусы насекомых. Поскольку вид у обоих был довольно мрачный и решительный, Аркадий сразу занял оборонительную позицию. Но в этом не было необходимости. Все, что хотел знать Олсон, — это где пройдет железнодорожная линия.

Он присел на корточки над картой.

— Дай-ка я гляну, что там эти мерзавцы затевают, — сердито сказал он.

За последние две недели, рассказал он нам, бульдозеры расчистили широкую полосу буша и

вплотную подошли к южным границам его владений. Если они продолжат двигаться по линии водораздела, то разрушат его систему дренажа.

Однако намеченная на карте линия делала в том месте поворот и загибалась на восток.

— Фух! — выдохнул Олсон, сдвинул шляпу на затылок и вытер ладонью пот. — Никто, конечно, не удосужился поставить меня в известность.

Он заговорил о падении цен на говядину, о засухе, о повсеместном падеже скотины. В удачный год осадков выпадало около трехсот миллиметров. В этом году пока не перевалило и за двести. Если уровень снизится до ста семидесяти пяти, ему придется бросать свое дело.

Аркадий попросил разрешения разбить лагерь возле одной из его запруд.

— Я-то не возражаю! — ответил Олсон и подмигнул Алану. — Ты лучше босса спроси.

Старик не шевельнул ни мускулом, но в волнах его бороды мелькнула легкая улыбка.

Олсон встал.

— Ладно, еще увидимся, — сказал он. — Заходите завтра на чай.

— Зайдем, — сказал Аркадий. — Спасибо.

Вечером в воздухе установилась золотая тишина, когда мы завидели вдалеке над дорогой

полоску пыли. Это ехала Мэриан. Она сидела за баранкой своего старого «лендровера». Проехав мимо лачуг, припарковалась метрах в сорока пяти от нашего костра. Из машины вылезли две толстухи — Топси и Глэдис, а за ними показалось еще четыре женщины постройнее. Спрыгнули на землю, стряхнули с себя пыль и начали разминаться.

— Ты опоздала! — ласково пожурил Аркадий.

Ее щеки ввалились от усталости.

— На моем месте ты бы тоже опоздал! — рассмеялась она.

Покинув Алис-Спрингс, она проехала 430 километров. Лечила мальчика от укуса скорпиона; давала малышу лекарство от дизентерии; выдергивала у старейшины больной зуб; зашивала женщину, избитую мужем; зашивала ее мужа, избитого шурином.

— А теперь, — сказала она, — я умираю от голода.

Аркадий принес ей французскую булку и кружку с чаем. Спросил, не слишком ли она устала, чтобы продолжать путь.

— Можем переночевать здесь, — сказал он.

— Нет уж, спасибо, — возразила она. — Давай лучше выбираться отсюда.

На Мэриан было все то же скромное платьице с цветочным узором. Она уселась на передний бампер, расставила ноги и вгрызлась во французскую булку. Я пытался с ней заговорить, но она смотрела сквозь меня и отвечала улыбкой женщины, занятой женскими делами.

Мэриан осушила кружку до дна и вернула ее Аркадию.

— Еще десять минут, — сказала она, — и поедем.

Мэриан ушла принять душ под гидрантом в женской части лагеря. Потом вернулась, вырисовываясь силуэтом на фоне солнца, с головы до ног мокрая: платье прилипло к груди и бедрам, волосы вились золотыми змейками. Без преувеличения можно было сказать, что она — вылитая мадонна Пьеро[30]: легкая скованность движений делала ее еще привлекательнее.

Ее обступила толпа молодых матерей. Мэриан бросилась обнимать малышей, вытирать им сопли и попки. Она поглаживала их, подбрасывала в воздух, потом возвращала матерям.

До чего удивительны эти австралийки! Почему они такие сильные, довольные жизнью, в то

---

[30] Примечания: 30

Имеется в виду художник Пьеро делла Франческа (1416–1492).

время как многие мужчины кажутся выжатыми словно лимон? Я снова попытался с ней заговорить, но она снова отшила меня молчаливой улыбкой.

— Что это с Мэриан? — спросил я у Аркадия, когда мы укладывали пожитки в машину. — Похоже, я что-то не то сделал.

— Не волнуйся, — сказал он. — Она всегда такая, когда рядом ее подопечные.

Если женщины увидят, что она точит лясы с незнакомцем, то решат, что она — балаболка, и перестанут ей рассказывать о своих делах.

— А-а, — сказал я. — Тогда понятно.

— Пойдем, народ! — позвал Аркадий мужчин, сидевших вокруг костра. — Мы едем дальше.

21

«Лендкрузер», подпрыгивая и качаясь, двигался по двойной колее пыльной дороги, и кусты, как щетки, терлись о нижнюю часть кузова. Алан с Тимми сидели впереди, у Алана торчала зажатая между колен винтовка. Мэриан с женщинами ехали за нами следом. Мы пересекли песчаную вымоину, и пришлось включить привод на четыре колеса. Наше появление вспугнуло черную лошадь: она заржала и галопом умчалась прочь.

Впереди лежала открытая лесистая местность. Деревья отбрасывали длинные тени на траву, а эвкалипты-призраки в этот оранжевый вечерний час будто плыли над землей, как воздушные шары, бросившие якорь.

Алан поднял руку, подавая Аркадию знак остановиться, просунул свою двадцатидвушку в окно и выстрелил куда-то в кусты. Из укрытия вырвались самка кенгуру с детенышем и помчались прочь, сверкая белыми ляжками на фоне серых кустарников.

Алан выстрелил еще пару раз. Потом они с человеком в голубом выскочили из машины и

побежали за ними следом.

— Большой рыжий кенгуру, — сказал Аркадий. — Приходят сюда на водопой на закате.

— Он попал?

— Думаю, что нет, — сказал он. — Гляди-ка, они назад идут.

Первой над травой показалась шляпа Алана. Человек в голубом в кровь поцарапался о колючки, порвал рубашку на плече.

— Не повезло, старик, — сказал Аркадий Алану.

Алан снова взвел винтовку и уставился в окно.

Солнце освещало верхушки деревьев, когда мы доехали до ветряного насоса рядом с какими-то заброшенными загонами для скота. Раньше здесь было поселение. Кое-где валялись кучи сгнивших серых дров, торчал остов бывшего дома животновода. Из насоса вода била в два круглых оцинкованных бака, напор был хороший.

На бортиках баков сидела целая стая розовых какаду, их собралось не меньше сотни. Завидев наше приближение, птицы с розовыми хохолками взвились в небо; с изнанки их крылья напоминали цветом лепестки шиповника.

Мы все сгрудились вокруг корыта-поилки, начали умываться и набирать воду в канистры.

Я нарочно избегал Мэриан, но она сама подошла сзади и ущипнула меня за задницу.

— Начинаешь усекать правила, да? — усмехнулась она.

— Сумасшедшая!

Земля к востоку представляла собой плоскую бездревесную пустошь, начисто лишенную растительности. Алан то и дело поднимал палец, показывая на одинокую возвышенность на горизонте. Когда мы доехали до маленького скалистого холма, уже почти стемнело. Между камнями пробивались вверх белые колоски спинифекса в оперении цветов и торчал черный пух безлиственных кустарниковых эвкалиптов-малли.

Этот холм, сказал Аркадий, и есть место последнего успокоения Предка-Ящерицы.

Мы разделились на две группы, разойдясь на расстояние, на котором можно было перекликаться. Мужчины сели в круг, разложив рядом свои пожитки, и начали переговариваться приглушенными голосами. Пока Аркадий распаковывал вещи, я пошел собирать хворост.

Я уже разжег костер, использовав в качестве трута кору и травы, как вдруг в женском лагере начался какой-то переполох. Все женщины виз-

жали и кричали, и в свете их костра я различил силуэт Мэвис, которая прыгала и показывала на землю.

— Что стряслось? — крикнул Аркадий Мэриан.

— Змея! — весело отозвалась она.

Это был всего лишь змеиный след на песке, но его оказалось достаточно, чтобы у женщин началась истерика.

Мужчины тоже забеспокоились. Первым вскочил на ноги Большой Том, за ним остальные. Алан снова взвел винтовку. Остальные, вооружившись палками, принялись изучать песок, переговариваться хриплым возбужденным шепотом и размахивать руками, будто плохие актеры в шекспировской драме.

— Не обращай внимания, — сказал Аркадий. — Они просто дурака валяют. И все же, пожалуй, я улягусь на крыше «лендкрузера».

Я усмехнулся:

— Ага, струсил!

Себе я соорудил для ночлега «змеенепроницаемую» подстилку, привязав все четыре угла к кустам, так что ее края были приподняты сантиметров на тридцать над уровнем земли. Потом принялся стряпать ужин.

Огонь чересчур разгорелся, так что мясо с

краю немного пригорело, да и я сам едва не обуглился. Алан смотрел на мою возню с полным достоинства хладнокровием. Остальные тоже не проронили ни словечка благодарности, только молча протягивали тарелки за добавкой. Наконец, наевшись, они принялись совещаться.

— Знаешь, кого они мне напоминают? — сказал я Аркадию. — Банкиров в зале заседаний.

— Ну, это недалеко от истины, — согласился он. — Они решают, как все провернуть, чтобы выложить нам как можно меньше.

Мясо получилось подгоревшим и жестким, да и после обеда у Хэнлона у нас с Аркадием не было особого аппетита. Мы убрали остатки еды и сели в круг к старикам. Свет от костра выхватывал из темноты их лица. Взошла луна. Очертания холма едва различались.

Мы немного посидели молча, а потом Аркадий, улучив момент, повернулся к Алану и тихо обратился к нему по-английски:

— Ну так что за история связана с этим местом, старик?

Алан не отрывал взгляда от костра. На скулах, плотно обтянутых кожей, играли отблески огня. Потом едва заметным движением он наклонил голову к человеку в голубом — тот встал и начал

показывать (вставляя слова на пиджине) странствия Предка-Ящерицы.

Песня рассказывала о том, как Ящерица и его молодая жена пришли с севера Австралии к Южному морю и как южанин соблазнил жену Ящерицы и подсунул вместо нее другую, с которой тот и отправился домой.

Не знаю, какой именно вид ящерицы он изображал — был ли он бородатой или земляной ящерицей или одной из взъерошенных, сердитых ящериц с воротником на шее. Главное, что человек в голубом казался вылитой ящерицей — более натуральную трудно было и вообразить.

Он был самцом и самкой, соблазнителем и соблазненной. Сладострастником, рогоносцем и утомленным путником. Он топорщил свои ящеричьи лапы, потом замирал и задирал голову. Поднимал нижнее веко, прикрывая радужную оболочку, и выбрасывал вперед ящеричий язык. Чудовищно раздувал шею, изображая ярость. Наконец, когда пришло время умирать, он принялся выгибаться и извиваться, и его движения делались все слабее и слабее, как у умирающего лебедя.

И вот его челюсти сомкнулись: настал конец.

Человек в голубом махнул рукой в сторону

холма и победным голосом рассказчика, поведавшего лучшую из всех мыслимых историй, прокричал:

— Там… Он теперь там!

Все представление длилось не больше трех минут.

Смерть ящерицы тронула и опечалила нас. Но Большой Том и Тимми катались со смеху с самого эпизода подмены жены и еще долго продолжали улюлюкать и прыскать после того, как человек в голубом сел на место. Даже сдержанное и красивое лицо Алана осветилось улыбкой. Потом все они, один за другим, зевнули, разложили свои пожитки, свернулись поудобнее и уснули.

— Похоже, ты им понравился, — сказал Аркадий. — Так они по-своему поблагодарили тебя за ужин.

Мы включили фонарь-молнию и уселись на складные стулья подальше от костра. То, чему мы стали свидетелями, пояснил Аркадий, разумеется, было не настоящей песней Ящерицы, а всего лишь декоративным фасадом, или изложением, с которым знакомят чужих. В настоящей песне перечислялись бы и назывались все источники, из которых пил Человек-Ящерица, каждое дерево, из которого он вырезал себе копье, каждая

пещера, в которой он ночевал, пока совершал свой долгий путь.

Аркадий понимал пиджин куда лучше моего. С его слов я записал такой вариант этой истории.

Ящерица и его жена отправились к Южному морю. Жена была молода и красива, и кожа ее была намного светлее, чем у мужа. Они шли по болотам и рекам, а потом остановились у холма — у этого самого холма в Миддл-Боре — и заночевали. Утром они проходили мимо места привала Динго, где мать кормила целый выводок щенят. «Ага! — сказал Ящерица. — Я запомню этих щенков, а потом съем».

Муж с женой продолжили путь. Они прошли мимо Уднадатты, мимо озера Эйр и наконец вышли к морю возле Порт-Огасты. С моря дул пронизывающий ветер, Ящерица замерз и начал дрожать. Он заметил неподалеку на мысу костер, вокруг которого грелись какие-то южане, и сказал жене: «Ступай к этим людям и попроси у них головешку».

Она пошла. Но один из южан, воспылав вожделением к светлокожей незнакомке, овладел ею — и она согласилась остаться с ним. Потом он высветлил собственную жену, вымазав ее с головы до ног желтой охрой, и отправил с головешкой к

одинокому путнику. Лишь когда охра осыпалась, понял Ящерица, что его провели, затопал ногами, весь раздулся от злости. Но в этой чужой далекой земле он был пришельцем и потому не мог отомстить обидчику. Он жалко поплелся домой с подменной женой-уродиной. По дороге Ящерица остановился, чтобы убить и сожрать щенков Динго, но от них ему сделалось плохо. Дойдя до холма в Миддл-Боре, он лег на землю и издох…

И там, как сообщил нам человек в голубом, он лежит до сих пор.

Мы с Аркадием еще посидели, размышляя над этим антиподным сказанием о Елене. Расстояние отсюда до Порт-Огасты по прямой составляло примерно 1700 километров: вдвое длиннее, прикинули мы, чем от Трои до Итаки. Мы попытались представить себе такую «Одиссею», в которой каждый стих отвечает за каждый поворот и изгиб десятилетнего странствия героя.

Я взглянул на Млечный Путь и сказал:

— Это все равно что пересчитать все звезды.

Многие племена, продолжал Аркадий, говорят на языке своих ближайших соседей, так что трудностей в коммуникации при пересечении границ не существует. Загадка же заключается в том, как человек из племени А, живущий на одном конце

Песенной Тропы, услышав несколько тактов из песни, которую поет племя Х, не зная при этом ни слова на их языке, сразу же понимает, о какой земле идет речь.

— Черт! — сказал я. — Ты хочешь сказать, что старик Алан знает песни земли, которая лежит в полутора тысячах километров отсюда?

— Скорее всего, знает.

— Хотя никогда там не бывал?

— Именно.

Над этой проблемой уже билась парочка этномузыковедов, добавил он. Мы и сами можем устроить небольшой воображаемый эксперимент.

Предположим, мы разыскали где-нибудь неподалеку от Порт-Огасты певца, который знает песню Ящерицы. Предположим, упросили его напеть слова песни и записали его исполнение на магнитофон, а потом проиграли запись для Алана в земле кайтиш. Скорее всего, он немедленно опознает мелодию — точно так же, как мы мгновенно узнаем «Лунную сонату», — но смысл слов, конечно, останется для него непонятным. Однако он очень внимательно прислушается к музыкальному строю песни. Быть может, попросит повторить несколько тактов. А потом

— синхронно запоет свои слова поверх чужой тарабарщины.

— Слова про землю, которая находится у Порт-Огасты?

— Да, — сказал Аркадий.

— И что, такое бывает?

— Бывает.

— Но как, черт возьми?

Никто точно не знает, сказал Аркадий. Есть люди, которые объясняют это телепатией. Сами аборигены рассказывают, что их певцы в состоянии транса проносятся вдоль Песенной Тропы. Но возможно и еще одно, еще более поразительное объяснение.

Независимо от слов мелодический строй песни описывает природу той земли, по которой эта песня проходит. Так, если Человек-Ящерица плетется по соляным ямам озера Эйр, то можно ожидать непрерывного ряда бемолей, как в «Похоронном марше» Шопена. Если же он скачет вверх-вниз по эскарпам Макдоннелла, то мы наверняка услышим перемежающиеся арпеджио и глиссандо, как в «Венгерских рапсодиях» Листа.

По-видимому, определенные музыкальные фразы, сочетания нот описывают поведение *ног* Предка. Например, одна фраза означает «соляную

яму», другие — «русло ручья», «колючки», «песчаный холм», «куст мульги», «бугристый камень» и так далее. Опытный певец, прислушавшись к последовательности таких фраз, быстро сосчитает, сколько раз его герой перешел реку и забрался на гребень горы, и вычислит, как далеко он продвинулся вдоль Песенной Тропы и куда именно попал.

— Прослушав несколько тактов, — объяснял Аркадий, — он сможет сказать: «Это Миддл-Бор» или «Это Уднадатта», где его герой совершил действие X, Y или Z.

— Так, значит, — спросил я, — музыкальная фраза — это ключ к карте?

— Музыка, — это банк памяти, который позволяет не заблудиться в мире, — изрек Аркадий.

— Мне понадобится некоторое время, чтобы это осмыслить.

— У тебя в запасе целая ночь, — улыбнулся он. — Со змеями!

Во втором лагере все еще горел огонь, до нас долетали взрывы женского смеха.

— Спокойной ночи, — сказал Аркадий.

— Спокойной ночи.

— Никогда я так не веселюсь, как с моими стариками, — добавил он.

Я попытался уснуть, но безуспешно. Земля у меня под спальником была жесткой и комковатой. Я попытался сосчитать звезды вокруг Южного Креста, но все время возвращался мыслями к человеку в голубом. Кого-то он мне напоминал. Какого-то другого человека, который разыгрывал похожую историю, тоже очень правдоподобно подражая повадкам животного. Однажды в Сахеле я наблюдал, как танцоры представляют прыжки антилоп и аистов. Но я искал другое воспоминание.

И вдруг я понял: Лоренц!

22

В тот день, когда я познакомился с Конрадом Лоренцем, он работал у себя в саду в Альтенберге, городке на Дунае, недалеко от Вены. Из степи задувал горячий восточный ветер. Я приехал к нему брать интервью для газеты.

«Отец этологии» оказался жилистым мужчиной с седой бородой лопатой, арктически-синими глазами и розовым румянцем. Книга Лоренца «Об агрессии» возмутила либеральные умы по обе стороны Атлантики и явилась подарком для консерваторов. Его враги раскопали одну полузабытую работу, опубликованную в 1942 году (год «окончательного решения»[31]), где Лоренц ставил теорию инстинкта на службу расистской биологии. В 1973 году он получил Нобелевскую премию.

Лоренц познакомил меня с женой. Она отложила свою корзинку для прополки и сдержанно улыбнулась из-под полей соломенной шляпки. Мы вежливо побеседовали о трудностях разве-

---

[31] Примечания: 31

«Окончательное решение еврейского вопроса» — политика нацистской Германии по массовому уничтожению евреев. — *Примеч. ред.*

дения фиалок.

— Мы с женой, — сказал Лоренц, — знаем друг друга с малых лет. Помню, вон в тех кустах играли с ней в игуанодонов.

Он повел меня к дому — пышному необарочному особняку, построенному его отцом-хирургом еще в старые добрые времена Франца-Иосифа. Когда он открыл входную дверь, оттуда вырвалась целая свора поджарых дворняжек коричневого окраса. Все они норовили поставить лапы мне на плечи и лизнуть в лицо.

— Что за собаки? — удивился я.

— Ублюдки! — хмуро пробормотал Лоренц. — Я бы весь приплод уничтожил. Видите вон ту чау-чау? Отличное животное! Внучка волка! Жена водила ее по всем лучшим производителям чау-чау в Баварии, подыскивая пару для случки. Она отвергла их всех… а потом взяла и совокупилась со шнауцером!

Мы расположились у него в кабинете, где стояли белая фаянсовая печка, аквариум с рыбами, игрушечный поезд и клетка с ухающей майной. Начали мы с обзора его биографии.

В возрасте шести лет Лоренц уже читал книги об эволюции и сделался убежденным дарвинистом. Позже, будучи студентом в Вене, специа-

лизировался в сравнительной анатомии уток и гусей: тогда-то он и понял, что, как и все прочие животные, утки и гуси наследуют целые «блоки», или «парадигмы», инстинктивного поведения, которые хранятся в генах. Брачный ритуал дикого селезня — готовый эпизод для пьесы. Самец машет хвостом, трясет головой, наклоняется вперед, выгибает шею — выполняет в определенной последовательности движения, которые разворачиваются по заданному сценарию. Эти сценарии — такая же неразрывная часть его птичьего естества, как перепонки на лапах или блестящая зеленая голова.

Лоренц осознал и то, что эти «фиксированные формы действия» менялись в ходе естественного отбора и, должно быть, некогда играли жизненно важную роль в выживании видов. Следовательно, их можно подвергнуть научному измерению, как измеряют, например, анатомические изменения, наблюдаемые между ближайшими родственными видами.

— Вот так я и пришел к этологии, — сказал Лоренц. — Никто меня не наталкивал на эти мысли. Я думал, что это само собой разумеется, что это понятно всем психологам: ведь тогда я был еще ребенком и очень уважал взрослых. Я даже не

понял, что стану одним из первооткрывателей.

Агрессия, по определению Лоренца, является инстинктом, присущим животным и человеку и побуждающим их искать соперников своего же вида и драться с ними — хотя не обязательно убивать. Функция агрессии — обеспечивать равномерное распределение вида по среде его обитания, а также передачу генов «достойнейших» особей следующему поколению. Воинственное поведение — не реакция, а побуждение, или стремление, и оно, подобно чувству голода или половому влечению, имеет свойство возрастать и изливаться либо на «естественный» предмет, либо, если такого не находится, на «козла отпущения».

В отличие от человека, дикие звери редко дерутся до смерти. Чаще всего они превращают свои ссоры в ритуал, демонстрируя друг другу зубы, оперение, шрамы или издавая крики. Чужак — разумеется, если это *более слабый* чужак — распознает отпугивающие знаки и удаляется без лишнего шума.

Так, волку, который признает свое поражение, достаточно лишь подставить противнику загривок — и победителю уже не обязательно доводить до конца демонстрацию собственного

превосходства.

Лоренц называл свою книгу «Об агрессии» сборником сведений, накопленных опытным натуралистом, который многое знает о драках у животных и видел много войн между людьми. В войну он служил хирургом на русском фронте. Провел несколько лет в советских лагерях для военнопленных и пришел к заключению, что человек — «опасно агрессивный» вид. Война как таковая является для него коллективным выбросом загнанных вглубь драчливых побуждений: такое поведение помогло человечеству пережить нелегкие тысячелетия первобытной эпохи, однако несет смертельную угрозу в век водородной бомбы.

Наше пагубное упущение, или грехопадение, утверждал он, состоит в том, что мы изобрели «искусственное оружие» вместо того, чтобы развивать естественные средства обороны. Следовательно, как вид мы оказались лишены сдерживающего инстинкта, который не позволяет «профессиональным хищникам» истреблять своих собратьев.

Я ожидал увидеть в Лоренце учтивого старомодного чудака, который давно закоснел в своих убеждениях, и, восхищаясь упорядоченностью

и разнообразием животного царства, решил отрезать себя от болезненного и хаотичного мира человеческих отношений. Я попал пальцем в небо. Передо мной был человек, запутавшийся не меньше остальных: невзирая на свои былые убеждения, он испытывал почти детское желание делиться восторгами собственных открытий с другими, исправлять ошибки или неверно расставленные акценты.

Он оказался великолепным мимом. Мастерски перевоплощался в любую птицу или рыбу, в любого зверя. Когда он изображал галку, стоящую на нижней ступени в иерархии «порядка клевания», он *становился* несчастной галкой. *Становился* парой диких гусей, которые сплетались шеями, исполняя «торжественный обряд». Демонстрируя сложные брачные игры чиклид из своего аквариума, в которых Рыба-Брунгильда отвергала робкие ухаживания партнера, но преображалась в жеманную и чересчур покорную барышню, как только в аквариуме появлялся настоящий самец, Лоренц по очереди превращался в Брунгильду, в слабака и в тирана.

Он сетовал на то, что его превратно толкуют люди, которые выносят из его теории агрессии оправдание бесконечным войнам.

— Это просто клевета, — говорил он. — Агрессивность не обязательно имеет целью навредить соседу. Иногда это всего лишь отгоняющее поведение. Можно добиться желаемого, просто выражая неприязнь. Скажите: «Уоч!» — и уходите прочь, пока он квакает в ответ. Так поступают лягушки.

Поющие лягушки, продолжал он, держатся друг от друга как можно дальше, исключая периоды икрометания. Так же поступают и белые медведи, у которых, к счастью для них самих, популяция немногочисленная.

— Белый медведь, — сказал он, — может позволить себе роскошь — убраться от собрата подальше.

Примерно так же в Ориноко делали индейцы, которые подавляли племенную вражду, прибегая к ритуальному обмену дарами.

— Подождите, — встрял тут я, — ведь такой дарообмен, несомненно, не является ритуалом для *подавления* агрессии. Это и *есть* агрессия, только возведенная в ритуал. Насилие вспыхивает, лишь когда нарушена равноценность даров.

— Да-да, — с энтузиазмом согласился Лоренц. — Конечно-конечно.

Он достал карандаш из стола и протянул его

мне.

— Если я дарю вам нечто, — сказал он, — то говорю: «Я хозяин этой территории». Но это также означает: «У меня *есть* территория, и я не угрожаю твоей». Мы всего-навсего обозначаем границы. Говорю вам: «Я кладу свой дар вот здесь. Я не иду дальше». Потому что, если я положу свой дар слишком далеко, это уже будет оскорблением.

Понимаете, территория, — добавил он, — это не обязательно земля, на которой вы кормитесь. Это место, на котором вы обитаете… Где вам известны все укромные уголки и потайные щели… Где вы наизусть знаете все укрытия… Где вы остаетесь непобедимым для преследователя. Я изучал это даже на примере колюшек.

И тут он устроил незабываемое представление, изображая двух сердитых колюшек-самцов. Каждый был неукротим, оставаясь в центре своей собственной территории. Но, удаляясь от центра, оба делались все боязливее и уязвимее. Они беспокойно сновали туда-сюда, пока не находили место равновесия, а потом соблюдали дистанцию. Ведя свой рассказ, Лоренц скрещивал руки под подбородком и растопыривал пальцы, изображая колючки колюшек. Менял окраску жабр.

Бледнел. Раздувался и сдувался, делал выпады и обращался в бегство.

Вот этого-то бессильного, отступающего самца колюшки, которого изображал Лоренц, и напомнил мне в Миддл-Боре Человек-Ящерица, обманутый муж, который удалился от родной земли и лишился красавицы-жены.

23

Проснувшись утром, я обнаружил, что лежу посреди ярко-синей подстилки, а солнце уже высоко. Старики на завтрак снова захотели мяса. За ночь лед в «эски» растаял, и куски говядины лежали в кровавой лужице. Мы взялись за стряпню, пока мясо не потеряло свежесть.

Я раздул вчерашние угли, оживил костер, а Аркадий между тем совещался с Аланом и с человеком в голубом. Он показал им на карте, что железная дорога пройдет по крайней мере в трех километрах от Скалы-Ящерицы, и заполучил от них на это неохотное согласие. Затем показал им следующий участок земли, отрезок длиной около тридцати восьми километров, куда собирался ехать дальше.

Почти все утро наши автомобили медленно пробирались по пересеченной местности на север. Солнце было ослепительным, а растительность — выжженной и безрадостной. С восточной стороны начинался уклон, а чуть дальше высился гребень светлых песчаных холмов. Долину, лежавшую посередине, покрывала непрерывная

серебристо-серая чаща безлиственных в этом сезоне деревьев мульга, издалека походившая на низко стелющийся туман.

Среди полной неподвижности вдали дрожало горячее марево.

Мы то и дело проезжали следы пожаров. Кое-где от кустарника остались лишь торчавшие вверх, закаленные огнем острые колючки, протыкавшие нам шины, стоило только на них наехать. У нас спустило три колеса, у Мэриан в «лендровере» — два. Всякий раз, как мы останавливались поменять колеса, в глаза нам летела пыль с пеплом. Женщины выпрыгивали из машины и радостно отправлялись добывать в буше лакомства.

Мэвис была очень оживленна, ей хотелось как-нибудь отблагодарить меня за шлепанцы. Она схватила меня за руку и потащила к вялому зеленому кусту.

— Эй! Куда это вы? — окликнул нас Аркадий.

— Хочу угостить его дикими бананами, — крикнула Мэвис в ответ. — Он никогда не видел наших бананов в буше.

Однако нашли мы только совсем усохшие.

В другой раз они с Топси погнались за вараном, но тот оказался куда проворнее. Наконец Мэвис

обнаружила кустик со спелыми ягодами паслёна и принялась насыпать мне целые пригоршни. И видом, и вкусом они напоминали незрелые помидоры черри. Я съел несколько штук, чтобы угодить Мэвис, и она сказала: «Ну, молодец», протянула пухлую руку и погладила меня по щеке.

Всякий раз, как что-нибудь в пейзаже хоть чуть-чуть напоминало «знак», Аркадий тормозил и спрашивал старика Алана: «Это что такое?» или «Здесь ничего нет?».

Алан пристально смотрел в окно на свои владения.

Около полудня мы доехали до эвкалиптовых зарослей: это был единственный клочок зелени посреди пустыни. Неподалеку на поверхность выходил песчаник — скала метров шести в длину, едва возвышавшаяся над уровнем земли. Она была обозначена на аэросъемке и являлась одним из трех одинаковых обнажений породы, лежавших в ряд вдоль горной цепи.

Аркадий сказал Алану, что инженер, возможно, захочет начать здесь добычу камня для судового балласта. Возможно, он захочет взорвать эту скалу динамитом.

— Ну так что, старик? — спросил он.

Алан ничего не отвечал.

— Здесь никакой истории? Ничего?

Тот молчал.

— Значит, здесь все чисто?

— Нет. — Алан глубоко вздохнул. — Дети.

— Чьи дети?

— Дети, — повторил он — и тем же усталым голосом начал рассказывать историю о Детях.

Во Времена Сновидений Человек-Бандикут, Акука, и его брат охотились вдоль этого горного хребта. Была засушливая пора года, и они мучились от страшного голода и жажды. Все птицы и звери разбежались. Деревья растеряли свои листья, и по земле пронеслись пожары.

Охотники всюду искали зверье, и вот, уже находясь на последнем издыхании, Акука заметил бандикута, удиравшего в нору. Брат остерег его, напомнив, что своих собратьев убивать запрещено, это табу. Но Акука ослушался.

Он вытащил бандикута из норы, убил его копьем, ободрал, съел и немедленно ощутил в животе судороги. Живот у него раздувался и раздувался, пока не лопнул, и тогда из него выскочила целая толпа Детей, которые сразу закричали, что хотят пить.

Умирая от жажды, Дети отправились к северу от Синглтона, а потом на юг, к Тейлор-Крику, ту-

да, где сейчас плотина. Они набрели на болотце, выпили всю воду и вернулись к трем скалистым выходам породы. Эти скалы и были Детьми, которые сбились в кучу, чтобы вместе умереть, хотя и вышло так, что они не умерли.

Их дядя, брат Акуки, услыхал крики и попросил западных соседей вызвать дождь. С запада принесся дождь (обширные серые заросли мульги были грозой, которая потом превратилась в деревья). Тогда Дети снова пошли прежним путем на юг. Переходя ручей неподалеку от Скалы-Ящерицы, они упали в воду и растворились.

То место, где Дети «вернулись восвояси», называлось Акверкепентье, что означало «далеко странствующие дети».

Когда Алан закончил рассказ, Аркадий мягко сказал ему:

— Не печалься, старик. Все будет хорошо. Никто не тронет этих Детей.

Алан огорченно замотал головой.

— Разве ты не рад?

Нет. Радоваться было нечему. Эта проклятая железная дорога ничем и никогда его не порадует. Что ж, хотя бы за Детей можно было не бояться.

Мы поехали дальше.

— Вся Австралия — страна заблудившихся Де-

тей, — медленно проговорил Аркадий.

Еще через час мы оказались у северной границы станции Миддл-Бор. Теперь у нас осталась только одна запасная шина для «лендкрузера», поэтому, чтобы не рисковать, мы решили возвращаться окольным путем. Старая грунтовая дорога шла оттуда на восток, затем поворачивала на юг и проходила позади Аланова поселения. В конце маршрута нас ждала встреча с железнодорожниками.

Землю вдоль намеченной линии будущих путей уже расчищали. Экскаваторы прорезали рвом заросли мульги, и вдаль тянулась полоса перелопаченной земли шириной в сотню ярдов.

Старики горестно смотрели на множество поваленных деревьев.

Мы остановились поговорить с чернобородым великаном. Росту в нем было больше двух метров, и казалось, он изваян из бронзы. Голый по пояс, в соломенной шляпе и в шортах, он молотком забивал в землю маркировочные столбы. Через час или два он собирался уехать отсюда в Аделаиду — в отпуск.

— О господи, — сказал он, — знали бы вы, как я рад отсюда выбраться!

От дороги ничего не осталось. Наши машины

едва ползли, барахтаясь и увязая в рыхлой рыжей земле. Трижды нам приходилось вылезать и толкать их. Аркадий совсем измотался. Я предложил сделать небольшой привал. Мы свернули в сторону, в пятнистую тень деревьев. Повсюду торчали муравейники, заляпанные птичьим пометом. Аркадий достал кое-какие съестные припасы, а вместо навеса растянул подстилку, на которой я спал ночью.

Мы думали, что наши старики, как всегда, окажутся голодными. Но они, с хмурым видом сбившись в кучу, отказывались и есть, и разговаривать: судя по выражениям их лиц, им явно было плохо.

Мэриан с женщинами расположились на отдых под другим деревом. Женщины умолкли и нахмурились.

Мимо, взметая клубы пыли, проехал желтый бульдозер.

Аркадий улегся на землю, прикрыл голову полотенцем и вскоре захрапел. Я подложил под голову свой кожаный рюкзак, прислонился к стволу дерева и принялся листать «Метаморфозы» Овидия.

Миф о превращении Ликаона в волка вмиг перенес меня в тот ветреный весенний день

в Аркадии, когда я глядел на известняковую вершину горы Ликаон и различал в ней очертания припавшего к земле царя-зверя. Я читал о Гиацинте и Адонисе, о Девкалионе и Потопе, о том, как из теплого нильского ила были сотворены «зародыши всяческой твари»[32]. И мне вдруг пришло в голову — теперь, когда я столько узнал о Тропах Песен, — что, пожалуй, вся классическая мифология представляет собой пережитки гигантской песенной карты, что все эти странствия богов и богинь, пещеры и священные источники, сфинксы и химеры, все эти мужчины и женщины, превращенные в соловьев и воронов, в эхо и нарциссы, камни и звезды, — все это вполне можно толковать и с точки зрения тотемической географии.

Наверное, я и сам незаметно задремал, а когда очнулся, по лицу у меня ползали мухи, а Аркадий звал:

— Вставай. Едем.

Мы приехали в Миддл-Бор за час до заката. «Лендкрузер» не успел еще остановиться, как Алан и человек в голубом распахнули дверцы, вышли и, даже не кивнув нам, зашагали восво-

---

[32] Примечания: 32
Овидий. Метаморфозы. I, 419. Перевод С. Шервинского.

яси. Большой Том пробормотал что-то вроде: «Железная дорога — это плохо».

Аркадий выглядел подавленным.

— Черт! — сказал он. — Выходит, все коту под хвост!

Он винил себя в том, что показал им экскаваторы.

— Но ты же не виноват, — возразил я.

— Все равно.

— Рано или поздно они бы сами увидели.

— Но не со мной.

Мы освежились водой из шланга, и я принялся воскрешать наше вчерашнее кострище. Подошла Мэриан, уселась на отпиленный пенек и начала распутывать волосы. Потом они с Аркадием сверили записи. Женщины рассказали ей о Песенной Тропе, которая называется Две Плясуньи, но она нигде не пересекается с будущей железной дорогой.

Мы взглянули в сторону и увидели процессию женщин и детей, возвращавшихся с поисков съестного. Младенцы мирно покачивались в складках материнских платьев.

— Пока мать находится в движении, дети не кричат, — заметила Мэриан.

Она невольно затронула одну из моих люби-

мых тем.

— Если младенцы такие непоседы, — сказал я, — то отчего с возрастом мы так успокаиваемся?

Она вскочила на ноги:

— Ты напомнил, что мне пора ехать.

— Прямо сейчас?

— Да. Я обещала Глэдис и Топси, что сегодня же отвезу их домой.

— А здесь им нельзя остаться? — спросил я. — Разве нельзя нам всем здесь переночевать?

— Тебе — можно, — ответила она, шутливо высунув язык. — А мне нет.

Я поглядел на Аркадия, и тот пожал плечами, как бы говоря: «Уж если она что-то втемяшит в голову, никакая сила ее не удержит». Через пять минут Мэриан уже собрала женщин и, весело помахав нам, укатила.

— Не женщина, а настоящий Крысолов! — сказал я.

— Это точно! — ответил Аркадий.

Он напомнил, что мы обещали заглянуть к Фрэнку Олсону.

На наш стук из станционной постройки с шарканьем вышла крупная женщина с обветренной кожей, всмотрелась в нас сквозь москитную сет-

ку, а потом открыла дверь.

— Фрэнк уехал в Глен-Армонд, — сообщила она. — По срочному делу. Джиму Хэнлону стало плохо!

— Когда? — спросил Аркадий.

— Прошлой ночью, — ответила женщина. — Потерял сознание в пабе.

— Надо собирать ребят и ехать, — сказал он.

— Да, думаю, нам лучше съездить, — согласился я.

24

Бармен в глен-армондском мотеле рассказал, что Хэнлон заявился сюда вчера около девяти вечера и стал хвастаться, что сдал свой трейлер одному англичанину-писателю. Желая отпраздновать такую важную сделку, он выпил пять двойных виски, упал и ударился головой об пол. В надежде, что к утру он протрезвеет, его отнесли в комнату неподалеку. Среди ночи какой-то дальнобойщик услышал его стоны — тот опять лежал на полу. Держался за живот, и рубаха на нем была вся изорвана.

Позвонили его приятелю Фрэнку Олсону, и тот отвез старика в Алис. К одиннадцати часам утра Хэнлон уже лежал в операционной.

— Поговаривают о закупорке, — нравоучительным тоном заметил бармен. — Обычно это означает одно.

В баре был телефон-автомат. Аркадий позвонил в больницу. Дежурная сестра сообщила, что с Хэнлоном все в порядке, он спит.

— Так что же с ним стряслось? — спросил я.

— Этого она не сказала.

Бар был сооружен из бывших деревянных шпал. Наверху висела табличка с предупреждающей надписью: «ВЫНОСИТЬ СПИРТНОЕ ЗАПРЕЩЕНО».

Я взглянул на картину на стене. Акварель изображала фантазию художника на тему Гленармондского мемориального комплекса динго. «Мемориального» — потому, что тут увековечивалась память той самой собаки динго, которая то ли съела, то ли, наоборот, никогда не ела пропавшую малышку Азарию Чемберлен[33]. Проект предусматривал возведение фигуры динго из стекловолокна, высотой метров в восемнадцать, со спиральной лестницей, поднимающейся между передними лапами, и рестораном с темно-красным интерьером у нее в брюхе.

— Невероятно, — заметил я.

— Да нет, — возразил Аркадий. — Забавно.

Напротив остановился ночной автобус на Дарвин, и в бар хлынули его пассажиры. Среди них были немцы, японцы, англичанин с розовыми коленками и типичные жители Территорий. Они покупали пироги и мороженое, пили, выходили

---

[33] Примечания: 33

Австралийская девочка Азария Чемберлен пропала в возрасте девяти недель в районе Центральной Австралии в 1980 году. В ее убийстве долгое время подозревали родителей. Лишь в 2012 году дело о ее исчезновении было закрыто, официальная причина смерти — нападение собаки динго. — *Примеч. ред.*

помочиться, снова возвращались к выпивке. Автобус стоял минут пятнадцать. Потом водитель крикнул, что отправляется, пассажиры гурьбой пошли на выход, и в баре снова остались одни завсегдатаи.

В дальнем конце зала толстый ливанец играл в пул с тощим молодым блондином с бельмом на глазу, силившимся, превозмогая заиканье, рассказать, что системы родства у аборигенов «уж… уж… ужжжасно… зза… зза… забб…блин-путанные!» У барной стойки крупный мужчина с багровым родимым пятном на шее методично посасывал виски, обнажая гнилые зубы, и беседовал с тем самым патрульным полицейским, которого мы накануне встречали возле «Бёрнт-Флэта».

Теперь полицейский был одет в джинсы и чистую белую фуфайку, на шее блестела золотая цепочка. Без формы он как будто уменьшился в размерах. Тонкие руки выше линии манжет оказались совсем незагорелыми. Его немецкая овчарка, привязанная к табурету, лежала тихо, навострив уши и высунув язык, и не сводила взгляда с аборигенов.

Полицейский обратился ко мне:

— Что будете пить?

Я призадумался.

— Ну так чем вас угостить?
— Виски с содовой, — сказал я. — Спасибо.
— Со льдом?
— Со льдом.
— Писатель, значит?
— Ого, да вам уже все доложили.
— И что пишете?
— Книги, — ответил я.
— Печатались?
— Да.
— Научную фантастику?
— НЕТ!
— Бестселлер уже написали?
— Нет еще.
— А я вот мечтаю написать бестселлер.
— Отлично.
— Вы не поверите, мне такие истории иногда приходится выслушивать!
— Верю.
— Просто невероятные! — произнес он тонким, обидчивым голоском. — Они все у меня вот здесь хранятся.
— Здесь — это где?
— В голове.
— Дело за малым — перенести это все на бумагу.

— Я уже и название отличное придумал.

— Неплохо.

— Сказать какое?

— Ну, если хотите.

Он разинул рот и уставился на меня:

— Да вы шутите! Так я вам и сказал! Может, вы его украдете? Название же денег стоит.

— Тогда никому не говорите.

— Название, — сказал он прочувствованно, — это уже залог успеха — или провала. Вспомним Эда Макбейна! «Расплата убийцы»! Вспомним «Город акул»! Или «Сожжение Эдема»! Или «Собачий день»! Отличные названия.

Полицейский оценивал придуманное им название в 50 тысяч американских долларов. С названием вроде этого можно снять отличное кино. Даже без книги!

— Даже без сюжета? — вставил я.

— Может, и так, — кивнул он.

В Америке, сказал он, названия продают за миллионы. Нет, он-то не собирается перепродавать свое название киношникам. Название и сюжет — одно целое.

— Нет. — Он задумчиво покачал головой. — Пусть уж останутся вместе.

— Конечно.

— А может, нам поработать вдвоем? — вдруг предложил он.

И изложил суть этого творчески-делового союза. С него — название и сюжет. А я пишу саму книгу, потому что у него, как у полицейского, нет времени на писанину.

— Да, времени на это уходит немало, — согласился я.

— Ну так что — по рукам?

— Нет.

Полицейский явно расстроился. Он еще морально не созрел, чтобы сообщить мне название, но с целью раздразнить мой аппетит решил ознакомить с сюжетом. Начиналась эта невероятная история с того, что автомобильный поезд насмерть раздавил аборигена.

— Ну и?

— Ладно, сейчас скажу.

Он облизал губы. Решение далось ему с большим трудом.

— «Мешок для тела», — сказал он.

— «Мешок для тела»?

Он прикрыл глаза и улыбнулся.

— Я еще никому не говорил, — признался он.

— Но почему «Мешок для тела»?

— Ну, мешок, в который засовывают мертвеца.

Я же сказал — история начинается с того, что на шоссе задавили чернокожего.

— Это я уже слышал.

— И что — нравится? — спросил он взволнованно.

— Нет.

— Я про название.

— Я понял.

Я повернулся к человеку с багровым родимым пятном, который сидел слева от меня, и заговорил с ним. Он воевал во Франции, потом женился на англичанке из Лестера (там квартировала часть, куда его распределили). Жена приехала вместе с ним в Австралию, но потом с ребенком вернулась в Лестер.

Мой собеседник уже слышал, чем мы занимаемся — осматриваем священные места.

— Знаешь, что надо с этими священными местами? — спросил он, растягивая слова.

— Что?

— Динамитом взорвать!

Он усмехнулся и отсалютовал стаканом аборигенам. Когда он пил, его родимое пятно ходило ходуном.

Один из аборигенов, очень худой, с виду типичный деревенщина с копной спутанных волос,

оперся обоими локтями на стол и прислушивался.

— Священные места! — не унимался человек с пятном. — Да если сосчитать все, что они называют священными местами, то окажется, что в Австралии триста чертовых миллиардов священных мест!

— Примерно так и есть, дружище! — отозвался худой абориген.

Справа от меня Аркадий разговаривал с полицейским. Они оба раньше жили в Аделаиде, в пригороде Сент-Питерс. И даже ходили в одну школу, и математику у них вел один учитель. Только полицейский был на пять лет старше Аркадия.

— Мир тесен, — изрек он.

— Это точно, — подтвердил Аркадий.

— Зачем ты с ними возишься? — Полицейский уставил большой палец в сторону аборигенов.

— Потому что они мне нравятся.

— Да мне они тоже нравятся, — ответил тот. — Ей-богу! Нравится наводить у них порядок. Но они не такие, как мы.

— И в чем же это они не такие?

Полицейский снова облизал губы, звучно вдохнул.

— Устроены иначе, — изрек он наконец. — У них не такие мочевыводящие пути, как у белого человека. Другая мочевая система! Поэтому они и пить не умеют!

— Откуда вы знаете?

— Это доказано, — ответил полицейский. — Научно доказано.

— Кем?

— Не помню.

Должно существовать два разных закона о потреблении спиртного, продолжал он: один для белых, другой для черных.

— Вы так думаете? — спросил Аркадий.

— Штрафовать человека за то, что у него более крепкая мочевая система? — От негодования полицейский повысил голос. — Это же несправедливо. Неконституционно!

Его овчарка заскулила, и он ее погладил.

Ну а где другая мочевая система, там, конечно, и другое серое вещество. Мозг аборигенов, заявил полицейский, отличается от мозга белых. У них лобные доли более плоские.

Аркадий сузил глаза до татарских щелок. Теперь он уже по-настоящему разозлился.

— Да, они мне нравятся, — повторил полицейский. — Я ничего против них не имею. Но они же

как дети! У них детский разум.

— С чего вы это взяли?

— Они не способны к прогрессу, — заявил тот. — Вот поэтому все борцы за их права ошибаются. Вы сами мешаете прогрессу! Помогаете им уничтожать белую Австралию.

— Купить вам еще выпить? — вмешался я.

— Нет, спасибо! — рявкнул тот.

Лицо его гневно подрагивало. Я заметил, что ногти у него обкусаны до мяса.

Аркадий помолчал секунду-другую, справляясь с приступом раздражения, а потом начал объяснять, медленно и доходчиво, что лучше всего судить об интеллектуальных способностях человека по его умению оперировать словами.

По нашим меркам, сказал он, многие аборигены — просто лингвистические гении. Разница лишь во взглядах на мир. Белые беспрестанно изменяют мир, чтобы он отвечал их сомнительным представлениям о будущем. Аборигены же вкладывают все силы в то, чтобы сохранить мир таким, какой он есть. Разве это хуже?

У полицейского отвисла челюсть.

— Ты — не австралиец, — заявил он Аркадию.

— Еще какой австралиец!

— Ничего подобного. Я чую, что ты не австра-

лиец.

— Я родился в Австралии.

— Это еще не делает тебя австралийцем, — заносчиво возразил тот. — У меня пять поколений предков жили в Австралии. А твой отец где родился?

Аркадий немного помолчал, а потом со спокойным достоинством ответил:

— Мой отец родился в России.

— Ага! — Полицейский поджал губы и повернулся к человеку с родимым пятном. — Что я тебе говорил, Берт? Помми, да еще и комми!

25

Ночью небо заволокло, наутро было пасмурно и душно. Мы позавтракали в баре мотеля яичницей с беконом. Жена хозяина приготовила нам сэндвичей для пикника и дала лед для «эски». Аркадий снова позвонил в больницу.

— По-прежнему не хотят говорить, что с ним такое, — сказал он, положив трубку. — Боюсь, плохи дела.

Мы стали раздумывать, ехать ли нам обратно в Алис, но, поскольку сделать мы все равно ничего не могли, решили поторопиться в Каллен. Аркадий развернул на столе карту. Дорога туда, прикинул он, займет два дня. Мы поедем напрямик, переночуем в Попанджи, а потом двинемся дальше в Каллен.

Женщина, пившая кофе за соседним столиком, случайно услышала, о чем мы говорим, и извиняющимся тоном спросила, не будем ли мы, случайно, проезжать мимо Ломбарди-Даунз.

Аркадий взглянул на карту.

— Это нам по пути, — сказал он. — Подвезти вас?

— Да нет! — Женщина поморщилась. — Нет-нет. Мне туда не нужно. Я просто подумала, не возьметесь ли передать кое-что. Письмо от меня.

Это была нескладная, потрепанная молодая женщина с тусклыми волосами и неподвижными янтарными глазами. Она выговаривала слова, как воспитанная дама. На ней было желтоватое платье с длинными рукавами.

— Оно уже написано, — сказала она. — Вас не затруднит? Сейчас принесу, если вы не…

— Конечно захватим, — сказал Аркадий.

Женщина куда-то убежала, вернулась, тоже бегом, запыхавшись, с письмом. Она положила его на стол и порывисто отбросила от себя. Потом затеребила крошечное золотое распятие на шее.

— Оно для Билла Малдуна, — сказала она, не сводя глаз с имени на конверте. — Он управляющий станцией в Ломбарди. Это мой муж. Попросите кого-нибудь передать ему письмо. Но если вы увидите его самого… если он спросит, не видели ли вы меня… скажите ему, что у меня все хорошо.

Она выглядела хрупкой, жалкой и больной.

— Не волнуйтесь, — сказал я. — Обязательно передадим.

— Спасибо, — ответила она сдавленным голо-

сом и пошла допивать свой кофе.

Три часа мы ехали по скучной равнине. Ночью прошли дожди и прибили пыль. Вдалеке мы увидели нескольких эму. Поднимался ветер. Мы заметили, что на одиноко стоящем дереве что-то болтается. Это оказался огромный вязаный игрушечный мишка в синих штанишках и в красной шапочке. Кто-то вспорол ему горло, и оттуда вылезала набивка из растительного пуха. Под деревом из натертых охрой сучков, связанных веревкой из волос, был выложен крестик.

Я поднял крест и протянул Аркадию.

— Это дело рук аборигенов, — сказал он. — На твоем месте я бы его не трогал.

Я бросил крест и вернулся в машину. Небо впереди темнело.

— Похоже, попадем в грозу, — сказал Аркадий.

Мы свернули возле знака, указывавшего поворот на Ломбарди-Даунз. Через полтора километра дорога уклонялась в сторону, огибая конец взлетной полосы. На свистящем ветру горизонтально колыхался оранжевый флюгер, на некотором расстоянии от нас в небо поднялся небольшой самолет.

Владелец этой станции владел и авиалинией.

Ферма находилась в развалившемся белом

доме, видневшемся среди низкорослых деревьев, но ближе к взлетной полосе стоял еще один дом, поменьше, из кирпича, а рядом с ним — открытый ангар. В ангаре помещалась коллекция винтажных аэропланов и машин, принадлежавшая владельцу фермы. Рядом с «тайгер-мотом»[34] стоял «форд» модели «Т» и сельскохозяйственный грузовик от «роллс-ройса» с деревянными бортами, выкрашенными в коричневый цвет с черной каймой.

Я рассказал Аркадию любимую байку моего отца — про «роллс-ройс» и овцевода-миллионера.

— Выходит, не так уж это далеко от истины, — заключил я.

В дверях показалась неряшливо одетая женщина в домашнем халате в зеленую крапинку, с бигуди на светлых волосах.

— Кого-то ищете, ребята? — поинтересовалась она.

— Билла Малдуна, — ответил я, силясь перекричать ветер. — У нас для него письмо.

— Билла сейчас нет, — сказала она. — Заходите, я вам кофе сварю.

Мы вошли в грязную кухню. Аркадий положил

---

[34] Примечания: 34

«Тайгер-мот» — биплан, разработанный в 1930-х годах. — *Примеч. ред.*

письмо на стол, на красную клетчатую клеенку, рядом с кипой женских журналов. Мы сели. На стене кособоко висела картина маслом, изображавшая Айерс-Рок. Женщина взглянула на почерк на конверте и пожала плечами. Она и была разлучница.

Пока кипела вода в чайнике, подруга Билла развернула полусъеденную большую конфету, откусила от нее чуть-чуть, снова завернула и слизнула с губ шоколад.

— Боже, какая скукотища!

Владелец станции прилетел на выходные из Сиднея, сказала она, поэтому Малдуна вызвали по делу. Она налила нам по чашке кофе и снова сказала, что умирает от скуки.

Мы уже собирались уходить, но тут пришел Малдун — атлетически сложенный краснолицый мужчина, с головы до ног одетый во все черное: шляпа, ботинки, джинсы и рубаха, расстегнутая до пупа, — все было черным. Он подумал, что мы пришли по делу, и пожал нам руки. Заметив письмо, сразу же побледнел и стиснул зубы.

— Убирайтесь, — сказал он нам.

Мы ушли.

— Какой невежа, — сказал я.

— Пастушья этика, — заметил Аркадий. — Она

на весь мир одна.

Через полчаса мы миновали решетчатые ограждения от скотины, отмечавшие окраину Ломбарди-Даунз. Мы удачно избежали ливня и теперь наблюдали за косыми полосами дождя, которые сносило ветром в сторону дальних холмов. Потом выехали на дорогу из Алис в Попанджи.

По обочинам шоссе валялось множество брошенных машин, чаще всего перевернутых, посреди куч битого стекла. Мы притормозили у ржавого синего «форда», возле которого сидела на корточках чернокожая женщина. Капот был открыт, а на крыше часовым стоял голый маленький мальчик.

— Что у вас тут? — высунулся из окна Аркадий.

— Свечи, — ответила женщина. — Уехал за новыми свечами.

— Кто?

— Он.

— Куда?

— В Алис.

— Давно?

— Три дня назад.

— С вами все в порядке?

— Да, — огрызнулась женщина.

— У вас есть вода и прочее?

— Да.

— Хотите сэндвич?

— Да.

Мы вручили женщине и мальчику три сэндвича. Они набросились на них с жадностью.

— У вас точно все в порядке? — настаивал Аркадий.

— Да, — кивнула женщина.

— Можем подбросить вас в Попанджи.

Она раздраженно мотнула головой и махнула рукой, чтобы мы ехали дальше.

В обед мы пересекли ручей, в русле которого росли красные камедные деревья. Хорошее место для пикника. Мы начали осторожно объезжать отполированные водой валуны и лужицы со стоячей желтой водой, на поверхности которых плавали опавшие листья. К западу простиралась серая, бездревесная земля, по ней пробегали тени от облаков. Здесь не было ни скотины, ни решетчатых оград, ни насосов: эти засушливые места не годились для пастбищ. Коровьи лепешки остались позади, а вместе с ними и мухи.

Мы подошли к одному из камедных деревьев, и оттуда с пронзительными криками, похожими на скрип ржавых дверных петель, вылетела стая черных какаду и расселась на поваленном дереве

неподалеку. Я надел очки и рассмотрел ярко-красные перышки, сверкавшие у них под хвостами.

Мы устроили пикник в тени. Сэндвичи оказались несъедобными, так что их пришлось выбросить воронам. Хорошо, что у нас с собой было кое-что еще: сухое печенье, сыр, маслины, банка сардин и пять банок пива.

Мы говорили о политике, литературе и, наконец, о русской литературе. Аркадий признался, что очень странно чувствовать себя русским в стране, где царят англосаксонские предрассудки. Попробуй провести вечер в комнате, заполненной сиднейскими интеллектуалами, — все они, в конце концов, начнут обмусоливать какое-нибудь малозначительное событие времен Первой каторжной колонии[35].

Он окинул взглядом расстилавшиеся вокруг нас просторы.

— Как жаль, что не мы сюда первыми пришли, — вздохнул он.

— «Мы» — это русские?

— Не только русские, — покачал он головой. — Славяне, венгры, даже немцы. Любой народ, который привык к широким горизонтам. Такая

---

[35] Примечания: 35

Период с 1788 по 1868 год, когда британское правительство отправило в Австралию более 150 000 преступников. — *Примеч. ред.*

огромная страна — а досталась островитянам! Они никогда ее не понимали. Они боятся простора. Мы бы гордились ею, — добавил он. — Любили бы ее такой, какая она есть. И наверное, так легко бы ее не продали.

— Да, — сказал я. — Почему же австралийцы, живя в стране с огромнейшими природными ресурсами, продолжают распродавать их иностранцам?

— Да они отца родного продадут, — пожал плечами Аркадий.

Потом он сменил тему и спросил, не случалось ли мне когда-нибудь во время путешествий общаться с охотничьими племенами.

— Один раз, — ответил я. — В Мавритании.

— А где это?

— В Западной Сахаре. Это было даже не племя — скорее охотничья каста. Они звались немади.

— А охотились на кого?

— На сернобыков и антилоп мендес.

В городе Валата, где некогда находилась столица империи Альморавидов, а теперь лишь стояли как попало кровавого цвета дворы, я провел целых три дня, докучая губернатору просьбами разрешить мне встретиться с немади.

Губернатор, мрачный ипохондрик, стосковался

по собеседнику, с которым можно было поделиться воспоминаниями о студенческой юности в Париже или поспорить о некоторых аспектах *la pensée maotsetungienne*[36]. Его любимыми словечками были *tactique* и *technique*[37], но, стоило мне заговорить о немади, он отрывисто смеялся и ворчал: «Это запрещено».

За обедом, пока мы ели кускус, лютнист с розовыми пальцами услаждал нас музыкой, а я помогал губернатору воскресить в памяти расположение улиц Латинского квартала. Из его дворца (если только можно назвать дворцом четырехкомнатный дом из сырцового кирпича) мне было видно крошечное белое пятнышко — шатер немади, манивший меня с холма.

— Зачем вам встречаться с этими людьми? — распекал меня губернатор. — Валата — да! Валата — историческое место! Но эти немади — ничтожество. Грязные людишки.

И не только грязные. Они настоящее национальное бедствие. Гяуры, идиоты, воры, паразиты, лжецы. Едят запрещенную пищу.

— А их женщины, — добавил он, — потаскухи!

---

[36] Примечания: 36
Маоцзэдуновской философии *(фр.)*.

[37] Примечания: 37
Тактика и техника *(фр.)*.

— Хотя бы красивые? — спросил я, чтобы поддразнить его.

Он выбросил руку из складок своих синих одеяний:

— Ага! — Он стал грозить мне пальцем. — Теперь я знаю! Теперь я все понимаю! Но позвольте доложить вам, юный англичанин, что у этих женщин — страшные болезни. Неизлечимые!

— А я слышал иное, — не сдавался я.

На третий вечер, когда мне уже пришлось стращать его именем министра внутренних дел, по некоторым признакам я увидел, что он начинает смягчаться. На следующий день за обедом он сказал, что я могу отправиться к немади, но при условии, что меня будет сопровождать полицейский и я никоим образом не буду поощрять их к охоте.

— Они *не должны* охотиться, — прогремел он. — Вы меня слышите?

— Я вас прекрасно слышу, — ответил я. — Но они же охотники. Занимались охотой задолго до пророка. Что им еще делать, как не охотиться?

— Охота, — тут губернатор с менторским видом сложил пальцы, — запрещена законами нашей Республики.

Несколькими неделями ранее, роясь в литера-

туре о кочевниках Сахары, я наткнулся на отчет о немади, опиравшийся на сообщения одного швейцарского этнолога, который относил их «к самым обделенным людям на планете».

Предполагалось, что их насчитывается около трехсот человек и что они скитаются группами человек по тридцать вдоль края Эль-Джуфа, незаселенного сектора Сахары. В отчете говорилось, что у них светлая кожа и голубые глаза; они считались восьмой и самой низшей ступенью мавританского общества, «изгоями пустыни», даже ниже харратинов — чернокожих невольников, обрабатывающих поля.

Немади не признавали пищевых запретов и не испытывали почтения к исламу. Они питались саранчой и диким медом, а также кабанятиной — когда им удавалось убить дикого кабана. Иногда они добывали пропитание у кочевников, сбывая им *тичтар* — сушеное антилопье мясо, которое измельчают и добавляют в кускус, чтобы придать ему привкус дичи.

Еще эти люди промышляли тем, что вырезали каркасы сидений и плошки для молока из древесины акации. Они утверждали, что являются законными хозяевами этой земли и что мавры украли ее у них. Поскольку мавры обращались с

ними как с париями, им пришлось уйти подальше от городов.

Что касается их происхождения, то, возможно, они являлись потомками мезолитического охотничьего населения. Почти не вызывало сомнений то, что немади были теми самыми «людьми племени массуфа», один из которых — слепой на один глаз, полуслепой на второй — в 1357 году водил по пескам Ибн Баттуту[38]. «Эта пустыня, когда в ней находишься, сверкает и сияет, а сердце радуется, и душа становится счастливой… В ней много антилоп, и случается, что стадо антилоп идет и приближается к людям настолько, что те могут на них охотиться с собаками и стрелами»[39].

К 1970-м годам из-за любителей поохотиться из «лендроверов» винтовками дальнего боя поголовье сернобыков и антилоп мендес не просто сократилось: эти животные оказались на грани вымирания. Правительство наложило полный запрет на охоту, который распространился и на

---

[38] Примечания: 38

Ибн Баттута (1304–1368/1369) — арабский путешественник. — *Примеч. ред.*

[39] Примечания: 39

Ибн Баттута. Подарок наблюдающим диковинки городов и чудеса путешествий. Перевод И. Ибрагимова.

немади.

Немади знали, что жестокость и мстительность мавританцев так же велики, как их собственная кротость, и считали, что к жестокости ведет именно скотоводство. Поэтому разводить скот они не желали. В их любимых песнях говорилось о побегах в пустыню, где можно переждать тяжелые времена.

Губернатор рассказал мне, как однажды они с коллегами купили для немади целый гурт в тысячу коз.

— Тысяча коз! — не унимаясь, кричал он. — Вы представляете, сколько это? Страшно много! И как вы думаете, что они сделали с этими козами? Начали их доить? Как бы не так! Слопали! Сожрали всю эту прорву! *Ils sont im-bé-ciles!*»[40]

Полицейский, к моей радости, относился к немади с симпатией. Он называл их *brave gens*[41] и говорил мне — по большому секрету, — что губернатор «не в своем уме».

Подойдя к белому шатру, мы сначала услышали смех, а потом увидели группку немади, человек двенадцать, взрослых с детьми. Они отдыхали в

---

[40] Примечания: 40
«Они и-ди-оты!» *(фр.)*

[41] Примечания: 41
Отличные ребята *(фр.)*.

тени акации. Среди них не было ни больных, ни грязных. Все выглядели безупречно.

К нам подошел поздороваться их предводитель.

— Махфульд, — произнес я его имя и пожал ему руку.

Его лицо было мне знакомо по фотографиям того швейцарского этнографа: плоское, сияющее лицо в обрамлении тюрбана василькового цвета. За двадцать лет он почти не состарился.

Среди людей, отдыхавших под акацией, было несколько женщин и один косолапый негр. Был там и дряхлый синеглазый калека, передвигавшийся на руках. Главным охотником был мужчина с квадратными плечами; выражение лица у него было одновременно суровое и безоглядно-веселое. Он строгал из колоды каркас для сиденья, а в колено ему тыкалась мордой его любимая собака — гладкошерстный пегий терьер, похоже джек-рассел.

Слово «немади» означает «повелитель собак». Рассказывают, что собаки здесь едят, даже когда хозяева голодают; их выучке позавидовал бы любой цирк. Свора состоит из пяти псов — «царя» и четырех его вельмож.

Охотник, выследив стадо антилоп и прибли-

зившись к месту, где они пасутся, залегает вместе со своими собаками за пологим откосом дюны и втолковывает им, на какое животное они должны наброситься. По его знаку «царь» срывается с места, мчится вниз по склону и впивается в морду антилопе, а остальные собаки хватают ее за ноги — по одной на каждую. Один удар ножом, быстрая молитва, испрашивающая прощения у антилопы, и охота окончена.

Немади презирают огнестрельное оружие: его применение — святотатство. А еще они верят, что душа убитого зверя находится в его костях, поэтому почтительно погребают их, спасая от осквернения собаками.

— Антилопы были нашими друзьями, — сказала одна из женщин с ослепительной белой улыбкой. — Теперь они ушли далеко-далеко. А нам ничего не остается — только смеяться.

Они все как один расхохотались, когда я спросил про губернаторских коз.

— Если вы нам купите козу, — сказал главный охотник, — мы ее тоже убьем и съедим.

— Хорошая идея, — сказал я полицейскому. — Давайте купим им козу.

Мы перешли ближайший вади и подошли к скотоводу, который поил там свою скотину. Я

заплатил чуть больше, чем он запросил за годовалого козленка, и охотник повел его к лагерю. Булькающий звук, раздавшийся из-за куста, возвестил о том, что жизнь животного оборвалась и на ужин будет мясо.

Женщины смеялись, отбивали ритм на старых жестяных тазах и пели нежную воркочущую песню, благодаря иноземца, подарившего им мясо.

Известна одна история про мавританского эмира, который, сведенный с ума улыбкой женщины-немади, похитил ее, нарядил в шелка — и с тех пор уже никогда не видел ее улыбки, пока однажды сквозь решетку своей темницы она не заметила мужчину-немади, который шел по базару. Надо воздать эмиру должное: он ее отпустил.

Так в чем же, спросил я у женщин, секрет их знаменитой улыбки?

— В мясе! — весело воскликнули они, обнажив белые зубы. — Мясо дарит нам такие красивые улыбки. Мы жуем мясо — и не можем не улыбаться.

В маленьком белом шатре, сшитом из полосок суданского хлопка, жила старуха с двумя собаками и кошкой. Звали ее Лемина. Она была очень стара еще в ту пору, когда сюда приезжал швейцарец, а было это двадцать лет назад. Полицейский

сказал, что ей больше ста лет.

Высокая и прямая, в синих одеждах, она шла между колючими кустарниками туда, где царило оживление.

Махфульд поднялся, чтобы поприветствовать ее. Старуха оказалась глухонемой. Они стояли на фоне темнеющего неба и жестикулировали, изъясняясь на языке знаков. У старухи была белая, как бумажная салфетка, кожа и мутные глаза под набрякшими веками. Улыбнувшись, она воздела морщинистые руки в мою сторону и издала какую-то длинную птичью трель.

Ее улыбка продержалась добрых три минуты. Потом она повернулась, отломила веточку акации и пошла обратно к своему шатру.

Среди этих светлокожих людей негр смотрелся диковинкой. Я поинтересовался, как он к ним попал.

— Ему было одиноко, — ответил Махфульд. — Вот и прибился к нам.

Тогда полицейский объяснил мне, что чужой мужчина может пристать к немади, а вот женщина — никогда. И все же, поскольку численность племени очень мала, а ни один уважающий себя чужак не захочет навлечь на себя позор, взяв жену из «низших», женщины-немади всегда вы-

искивают «свежую белую кровь».

Одна из молодых матерей, серьезная и миловидная молодая женщина в синем капюшоне, кормила грудью младенца. Это была жена охотника. На вид ей можно было дать лет двадцать пять; однако, когда я упомянул имя швейцарского этнографа, ее муж улыбнулся и, указав рукой на жену, сказал:

— У нас и от него есть один.

Он отложил свои плотницкие принадлежности и свистнул куда-то в сторону второго лагеря. Через минуту-другую из-за кустов появился гибкий юноша с бронзовой кожей и мерцающими зелеными глазами. В руке он держал копье, у его ног вились две собаки. Из одежды на нем был только кожаный набедренный лоскут. Остриженные светло-рыжеватые волосы торчали наподобие петушиного гребня. Завидев европейца, юноша сразу опустил взгляд.

Он молча уселся между матерью и приемным отцом. Их можно было бы принять за Святое семейство.

Я закончил рассказ, и Аркадий, удержавшись от замечаний, встал и сказал:

— Нам пора ехать.

Мы закопали мусор и пошли к машине.

— Может, тебе это покажется глупым, — сказал я, пытаясь добиться от него хоть какой-то реакции, — но я до сих пор живу с улыбкой той старухи.

Эта улыбка, сказал я, стала для меня чем-то вроде весточки из золотого века. Она научила меня отвергать любые доводы о врожденной подлости человека. Мысль о возвращении к «первобытной простоте» ничуть не наивна, не антинаучна и не оторвана от действительности.

— Отречение даже сейчас может принести плоды, — подытожил я. — Еще не поздно.

— С этим я согласен, — сказал Аркадий. — Если у мира вообще есть будущее, то оно аскетично.

26

В полицейском участке в Попанджи две девушки-аборигенки в грязных платьях в цветочек стояли у конторки и приносили клятвы перед дежурным офицером. Им нужно было подать на социальное пособие, а для этого требовалось поставить официальную печать. Приход аборигенок оторвал полицейского от упражнений со штангой.

Он взял и положил руку более высокой девушки на Библию.

— Вот так, — сказал он. — А теперь повторяй за мной. Я, Рози…

— Я, Рози…

— Клянусь Всемогущим Богом…

— Клянусь Всемогущим Богом…

— Достаточно, — сказал он. — Теперь ты, Мёртл.

Полицейский схватил за руку вторую девушку, но та скривилась и выдернула ее.

— Давай, милая, — сказал он вкрадчивым голосом. — Хватит разыгрывать дикарку!

— Давай, Мёртл, — сказала ее сестра.

Но Мёртл яростно мотала головой и держала руки за спиной, крепко сцепив. Потом Рози удалось разжать указательный палец сестры и пригнуть его к переплету Библии.

— Я, Мёртл… — подсказал полицейский.

— Я, Мёртл… — повторила она таким голосом, как будто эти слова душили ее.

— Ладно, — сказал он. — Хватит.

Он шлепнул печати на их бланки с заявлениями и поставил поверх каждой свою размашистую подпись. На стене висели портреты королевы и герцога Эдинбургского. Мёртл, посасывая большой палец, таращилась на бриллианты королевы.

— Ну, чего тебе еще? — спросил полицейский.

— Ничего, — ответила Рози за сестру.

Девушки пробежали мимо флагштока по мокрому от дождя газону — дождь лил с самого утра — и зашлепали по лужам в сторону мальчишек, гонявших футбольный мяч.

Полицейский был коротышка с багровым лицом, тумбообразными ногами и фантастическими мускулами. С него градом лился пот, а морковно-рыжие кудри липли ко лбу. Одет он был в короткое льдисто-голубого цвета трико с атласным отливом. Майку так и распирало от

могучих грудных мышц, а по бокам от лямок выглядывали соски.

— Привет, Арк, — поздоровался полицейский.

— Ред, — сказал Аркадий, — познакомься с моим другом Брюсом.

— Рад познакомиться, Брюс, — сказал Ред.

Мы стояли у окна из листового стекла и глядели на безжизненный горизонт. После наводнения несколько аборигенских лачуг так и стояли в воде глубиной около тридцати сантиметров. Жители затопленных домов забросили свои пожитки на крыши. В воде плавал мусор.

Неподалеку, чуть к западу, стояло старое двухэтажное здание — дом прежнего управляющего, отданный теперь под нужды общины. Крыша осталась на месте, пол и очаг — тоже. А стены, оконные рамы и лестницы давно порубили на дрова.

Мы взглянули сквозь остов дома, напоминавший рентгеновский снимок, на желтый закат. На обоих этажах виднелись темные фигуры, сидевшие в кругу и гревшиеся вокруг дымного костра.

— На стены им наплевать! — сказал Ред. — А вот крыша от дождя им нравится.

Аркадий рассказал ему, что мы едем в Каллен.

— Небольшая размолвка между Титусом и

людьми Амадеуса.

— Да, — кивнул Ред. — Я кое-что слышал.

— А кто этот Титус? — спросил я.

— Увидишь, — сказал Аркадий. — Увидишь.

— Я сам туда на следующей неделе поеду, — сказал Ред. — Нужно грейдер поискать.

Кларенс Джапальджаррайи, калленский председатель, забрал из Попанджи грейдер, чтобы проложить дорогу от поселения до водоема.

— Это было почти девять месяцев назад, — сказал Ред. — А теперь этот мерзавец говорит, что потерял его.

— Потерял грейдер? — расхохотался Аркадий. — Черт возьми, да как можно потерять грейдер?

— Ну, если кто-то и способен потерять грейдер, — сказал Ред, — так это Кларенс.

Аркадий спросил, какая дальше дорога. Ред потеребил пряжку своего пояса-бандажа.

— Вроде в порядке, — сказал он. — В четверг Коротышка Джонс чуть не увяз там в сильную грозу. Но Рольф с Уэнди проехали по этой дороге вчера, а сегодня прислали радиограмму о том, что добрались без проблем.

Ред неловко переминался с ноги на ногу. Видно было, что ему не терпится вернуться к своим

штангам.

— Последний вопрос, — сказал Аркадий. — Ты не видел старика Стэна Тджакамарру? Мы хотели захватить его с собой. Он в неплохих отношениях с Титусом.

— Кажется, Стэн отправился в Обход, — ответил Ред. — Они там целую неделю обряды совершали. Тут черт знает что творилось. Ты лучше у Лидии спроси.

Лидия была одной из здешних школьных учителей. Мы отправляли ей радиограмму, предупреждая о своем приезде.

— До скорого, — сказал Ред. — Она сегодня еду готовит.

Полицейский участок в Попанджи размещался в низком бетонном здании, поделенном на три равные части: в одной было государственное учреждение, во второй — квартира для полицейского, а в третьей — комната, где Ред тягал штангу. А во дворе позади здания находилась тюрьма.

В спортзале окно было во всю стену, а сами штанги — того же ярко-голубого цвета, что и трико Реда. Мы увидели, как он вошел. Потом лег на скамью для жима и схватился за перекладину. Какой-то мальчишка свистнул товарищам, и те,

бросив мяч, ринулись голыми к окну, завопили, принялись корчить рожи и расплющивать носы об стекло.

— Нечасто такое на Территориях увидишь, — сказал Аркадий.

— Да уж, — согласился я.

— Он неплохой малый, этот Ред, — продолжал он. — Конечно, любит порядок. А на языках аранда и пинтупи говорит не хуже туземцев. Сказать правду, он немного чокнутый. Угадай-ка с первого раза, какая у него любимая книга.

— Даже представить себе не могу.

— Угадай!

— «Пособие для качков»?

— Холодно.

— Ну, сдаюсь.

— «Этика» Спинозы.

27

Лидию мы нашли в школьном классе, где она пыталась восстановить подобие порядка: тетради, банки с красками, пластмассовые алфавиты, книжки с картинками были разбросаны по партам или валялись на полу, растоптанные грязными ногами. Она подошла к двери.

— О господи! — воскликнула она. — Ну и что мне делать?

Это была умная, талантливая женщина лет сорока с небольшим — разведенная, с двумя сыновьями. Из-под челки с проседью спокойно глядели карие глаза. Она была настолько умна и так привыкла справляться с любыми неприятностями, что просто отказывалась признаваться — и себе, и другим, — что нервы ее на грани истощения.

Во время урока она вышла из класса, чтобы ответить на звонок из Мельбурна: у нее заболела мать. Когда Лидия вернулась, оказалось, что ребятишки запустили руки в банку с зеленой краской и размазывали ее по стенам.

— Хорошо еще в этот раз они на парты не нага-

дили, — вздохнула она. — Бывало и такое!

Ее сыновья, Ники и Дэвид, играли на школьном дворе со своими чернокожими друзьями. В одних трусах, перепачканные с ног до головы, они раскачивались, как обезьянки, на надземных корнях фигового дерева. Ники, вне себя от возбуждения, кричал матери непристойности и высовывал язык.

— Я тебя *утоплю*! — крикнула она ему в ответ.

Стоя в дверях, Лидия вытянула руки вперед, словно для того, чтобы не дать нам войти, а потом сказала:

— Входите же. Входите. Я сама не своя.

Она остановилась посреди класса: хаос будто парализовал ее.

— Давайте разведем костер, — предложила она. — Единственное, что можно придумать, — запалить костер и все это сжечь. Сжечь, а потом начать все сначала.

Аркадий принялся утешать ее — особыми успокаивающими русскими интонациями, которые он обычно приберегал для женщин. Потом Лидия подвела нас к листу фибролита, к которому были пришпилены рисунки ее учеников.

— Мальчишки рисуют лошадей и вертолеты, — сказала она. — Но чтобы они хоть раз нарисовали

дом? Никогда! Только девочки рисуют дома… и цветы.

— Любопытно, — сказал Аркадий.

— Вы на это поглядите, — улыбнулась Лидия. — Забавно, правда?

Она показывала на два рисунка пастелью: на одном изображалось Чудище-Эму со свирепыми когтями и клювом. На другом — волосатый Обезьяночеловек с полной пастью клыков и сверкающими желтыми глазами, похожими на автомобильные фары.

— А где Грэм? — неожиданно спросил Аркадий.

Грэмом звали помощника Лидии. Это был тот самый юноша, с которым я столкнулся в Алис, когда выходил из мотеля.

— Ох, даже не говори мне про Грэма! — содрогнулась Лидия. — Я знать ничего не хочу про Грэма. Если еще кто-нибудь произнесет имя Грэм, я за себя не ручаюсь.

Она совершила очередную вялую попытку навести порядок на одной из парт, но потом прекратила уборку и глубоко вздохнула.

— Нет, — сказала она. — Бесполезно! Лучше оставлю все это на завтра.

Лидия заперла двери, позвала своих мальчишек

и заставила их надеть футболки (с инопланетянами из игры *Space Invaders*). Мальчишки, как были босиком, неохотно поплелись за нами следом, но по дороге росло столько колючек, а на земле валялось столько битого стекла, что мы решили понести ребят на закорках.

Мы миновали лютеранскую часовню, которая уже три года стояла заколоченной. Потом прошли Общинный центр — ангар под кровлей из глинистого сланца. Снаружи на нем была нарисована в мультяшной манере процессия медовых муравьев. Изнутри доносились звуки музыки «кантри-энд-вестерн». Евангелическое собрание было в самом разгаре. Я спустил Дэвида на землю и заглянул в ангар.

На сцене стоял бледный абориген-полукровка в тугих белых брюках клеш и блестящей алой рубашке. Косматую грудь украшали золотые цепи. Арбузное брюшко смотрелось на нем совсем неуместно, будто его приделали по ошибке. Проповедник раскачивался на высоких каблуках и изо всех сил пытался завести довольно сварливого вида паству.

— О'кей, — мурлыкал он. — Ну, давайте же! Давайте все вместе! Давайте пропоем хвалу Иисусу!

На экране для слайдов строчка за строчкой появлялись слова песни-молитвы:

Иисус – Его сладкое имя пою,
Он сам мне шепчет молитву свою,
И я потому Его очень…

— Вот видишь, — сказал Аркадий, — с чем нам приходится иметь дело.

— Ну и пошлятина, — фыркнул я.

Лидия с сыновьями жила в обшарпанном сборном доме из трех комнат, который стоял в тени железного дерева. Она бросила портфель на кресло.

— А теперь, — вздохнула она, — мне еще предстоит схватка с кухонной раковиной.

— Нет, давай-ка мы сами с ней разберемся, — возразил Аркадий. — А ты пока отдохни, полежи.

Он убрал игрушки с тахты и подвел к ней Лидию. На кухне горами лежала грязная посуда, скопившаяся за три дня, и повсюду ползали муравьи. Мы отскребли жир от алюминиевых кастрюль и вскипятили воду в чайнике. Я нарезал мясо и лук для жаркого. За вторым чайником чая Лидия пришла в себя и начала весьма вразумительно рассказывать о Грэме.

Грэм приехал в Попанджи сразу после педагогического колледжа в Канберре. Ему было двадцать два года. Наивный и нетерпимый, с обезоруживающей улыбкой. Впрочем, если кто-то называл его «ангелом», он сразу же делался несносен.

Грэм жил музыкой, а ребята-пинтупи — прирожденные музыканты. Приехав сюда, он чуть ли не первым делом основал оркестр Попанджи. Звуковую аппаратуру стибрил с умирающей радиостанции в Алис. Репетировали в бывшем кабинете хирурга, где до сих пор в неприкосновенности сохранились все электрические провода.

Сам Грэм играл на барабанах. Двое гитаристов — сыновья Альберта Тджакамарры. Клавишник — толстяк по прозвищу Дэнни-Кенгуру. Вокалист — и звезда — худой как жердь шестнадцатилетний паренек Мик Длинные Пальцы.

Мик носил растаманские косички и был потрясающим имитатором. Посмотрев какую-нибудь видеозапись всего минут пять, он запросто начинал косить под Боба Марли, Хендрикса или Заппу. Но самое классное зрелище получалось, когда он закатывал свои приторные, как сироп, глаза, растягивал огромный пухлый рот в улыбку — и превращался в своего тезку, самого Джаггера.

Путешествуя и ночуя в Грэмовом трейлере-«фольксвагене», оркестр разъезжал с концертами по поселениям от Юэндуму до Эрнабеллы и наведывался даже в такую даль, как Балго.

Они исполняли заунывную песню о полицейских расстрелах, которая называлась «Баллада о Бэрроу-Крик»[42]. В программе был оптимистичный номер, называвшийся «Або-Раста», и другой, еще более жизнеутверждающий, направленный против нюханья бензина. Они выпустили кассету, затем семидюймовую пластинку, потом записали хит.

«Дедова Страна» стала главной песней движения аутстейшн[43]. Тема ее была вечной: «На запад, парень! На запад!» Подальше от городов и правительственных лагерей. Подальше от алкоголя, клея, гашиша, героина, тюрьмы. Прочь, на простор! Назад в пустыню, откуда прогнали деда. Рефрен «Людские толпы… Людские толпы…» имел немного литургическое звучание, почти как «Хлеб небесный… Хлеб небесный», и приводил публику в неистовство. На рок-фестивале в Алис,

---

[42] Примечания: 42

Бэрроу-Крик — медно-никелевое месторождение в Австралии.

[43] Примечания: 43

Outstation *(англ.)* — так называли небольшие, удаленные от городов поселения, возникшие в Австралии в 1970-х годах. — *Примеч. ред.*

когда они исполняли эту песню, белобородые старики-аборигены прыгали и скакали вместе с малыми детьми.

Промоутер из Сиднея отвел Грэма в сторонку и стал соблазнять его трепом о шоу-бизнесе.

Грэм вернулся к своей работе в Попанджи, но мыслями, похоже, витал в облаках. Ему грезилось, как его музыка облетит всю Австралию и вообще весь мир. Мечтал сняться в главной роли в «дорожном фильме». Вскоре он уже распинался перед Лидией об агентских комиссионных, о правах на звукозапись и на киносъемку. Она слушала его молча, ее одолевали дурные предчувствия.

Да, она ревновала — и была слишком честна, чтобы в этом не сознаваться. Она ведь по-матерински заботилась о Грэме, кормила его, ставила заплаты на его джинсы, наводила порядок у него в доме и выслушивала его пламенные идеалистические речи.

Больше всего ей нравилась в нем серьезность. Он был человеком дела — в отличие от ее бывшего мужа, который вначале собирался «работать во благо аборигенов», а потом сбежал в Бондай[44]. Больше всего она боялась, что и Грэм тоже уедет.

---

[44] Примечания: 44
Бондай-Бич — пляж в Сиднее.

Когда Грэм был рядом, Лидия напрочь забывала о том, что она одинокая, бездомная и неимущая женщина с двумя сорванцами на руках, забывала о вечно глодавшей ее тревоге — что правительство урежет фонды и ее уволят.

Боялась она и за самого Грэма. Иногда он пропадал на много дней — «уходил в буш» вместе со своими черными друзьями. Она никогда не расспрашивала его, но подозревала — как раньше подозревала своего мужа в употреблении героина, — что Грэм впутался в «аборигенские дела».

Наконец он сам не выдержал и раскололся. Принялся описывать песни и пляски, кровопускания и священные рисунки. Рассказал, как его разукрасили с ног до головы белыми и рыжими полосками.

Она твердила ему, что дружба аборигенов никогда не бывает чистой. Они ведь всегда смотрят на белых как на средство. А раз он стал теперь «одним из них», ему придется делиться с ними всем.

— Они отберут у тебя «фольксваген», — сказала ему она.

Он только усмехнулся насмешливо и презрительно:

— Думаешь, я расстроюсь?

Другие страхи она держала при себе. Она рас-

суждала так: раз ты влип, то это уже навсегда: не важно, вступил ли ты в тайное общество или в шпионскую организацию, — отныне за каждым твоим шагом будут следить. В Гроте-Эйландте — месте, где она работала до этого, — одного молодого антрополога посвятили в обрядовые тайны. А потом, когда он обнародовал эти тайны в диссертации, его одолели мигрени и депрессии, и, чтобы жить спокойно, ему пришлось покинуть Австралию.

Лидия всячески отгоняла от себя россказни про то, как кого-то обрекли смерти «указанием костью», про колдунов, песнями насылающих на человека погибель. И все же в голове у нее засела мысль, что аборигены, несмотря на их пугающую оцепенелость, держат Австралию за глотку. Угадывалась какая-то жуткая сила в этих с виду пассивных людях, которые просто сидят себе, наблюдают, ждут — и манипулируют чувством вины белого человека.

Однажды, после того как Грэм исчез на целую неделю, она спросила его напрямик:

— Ты хочешь учить детей — или не хочешь?

Он сложил руки.

— Да. Хочу, — ответил он с непостижимой дерзостью. — Но не в такой школе, где всем за-

правляют расисты.

Она раскрыла рот от изумления, а он неумолимо продолжал говорить. Образовательная программа, заявил он, систематически стремится уничтожить культуру аборигенов и силком затащить их в рыночную систему. Что нужно аборигенам — это земля, земля и снова земля, ступать на которую не имеет права ни один европеец.

Грэм разглагольствовал еще долго. Лидия почувствовала, что ответ уже вертится у нее на языке. Она понимала, что не следует произносить этих слов, но они сорвались непроизвольно:

— В Южной Африке этому уже придумали название — апартеид!

Грэм вышел из ее дома. С того дня разрыв был полным. Теперь непрерывный *бам-бам*, долетавший по вечерам оттуда, где репетировал оркестр, казался ей грозным и зловещим.

Она могла бы доложить о его поведении начальству. Могла бы сделать так, чтобы его уволили. Вместо этого Лидия взвалила на себя всю работу и сама повела оба класса. Иногда, приходя в класс, она видела на доске выведенные мелом слова: «Лидия + Грэм = любовь».

Однажды рано утром, глядя, как солнечный

свет растекается по кровати, она различила из прихожей голос Грэма. Он смеялся с Ники и Дэвидом. Лидия закрыла глаза, улыбнулась и снова задремала.

Потом она услышала, как он гремит посудой на кухне. Он вошел к ней с чашкой чая, уселся на краешек кровати и выложил новость.

— Успех! — сообщил он.

«Дедова Страна» заняла третье место в национальном хит-параде. Теперь их приглашают выступить в Сиднее, в «The Place». Их имена напечатают большими буквами на афишах, все перелеты и проживание в гостинице оплатят.

— О! — удивилась она и снова откинула голову на подушку. — Я за тебя рада. Ты это заслужил. Правда, заслужил. На все сто.

Грэм согласился выступить на первом концерте в Сиднее 15 февраля — и, торопясь подписать контракт, не подумал как следует.

Он забыл — или притворился, будто забыл, — что в феврале начинаются дожди и что февраль — месяц инициаций. Забыл о том, что его друг Мик должен пройти обряд посвящения в клан бандикутов. И у него совершенно вылетело из головы, что он, Грэм, сдуру расхрабрившись, согласился пройти обряд посвящения вместе

с Миком.

Во всем мире на инициациях разыгрывается символическая битва, в которой юноша — чтобы доказать свою мужественность и пригодность к браку — должен обнажить половые органы, подставив их челюстям кровожадного людоеда. Нож человека, совершающего обрезание, заменяет собой клык этого хищного чудовища. У аборигенов Австралии в ритуалы, связанные с достижением половой зрелости, входит и «укус в голову»: старейшины впиваются зубами в черепа юношей или колют их заостренными наконечниками. Иногда юноши сами выдирают себе ногти и потом собственной кровью приклеивают их обратно.

Обряд совершается втайне, в месте Сновидения, вдали от посторонних глаз. А потом, на сходке, которая из-за боли запоминается на всю жизнь, в голову посвящаемых вдалбливают строки священных песен; все это время новички сидят, скорчившись, над тлеющими углями сандалового дерева. Считается, что дым от сандалового дерева оказывает анестезирующее действие, раны быстрее заживают.

Если юноша откладывает обряд посвящения, он рискует оказаться в безжизненном, бесполом

лимбе: вовсе отказаться от инициации до недавних пор было делом неслыханным. Все действо может тянуться неделями, если не месяцами.

Что было дальше, Лидия не вполне понимала. Грэм, по всей видимости, сходил с ума от тревоги, боясь, что они пропустят первый концерт; Мик же закатил ему страшный скандал, обвиняя в предательстве.

Наконец был достигнут компромисс: Грэму сделают лишь символические надрезы, а Мику разрешат сократить период изоляции. Он будет приезжать в Попанджи, чтобы репетировать с оркестром, ежедневно заседая по нескольку часов со старейшинами на сходках. Кроме того, он обещал не уезжать раньше, чем за два дня до концерта.

Поначалу все шло как по маслу, и 7 февраля, как только Мик снова смог ходить, они с Грэмом возвратились в поселение. Было жарко и влажно, но Мик все-таки репетировал в облегающих синих джинсах. В ночь на 9 февраля он проснулся от кошмара и обнаружил, что рана чудовищно загноилась.

Вот тогда Грэм запаниковал. Он погрузил звуковую аппаратуру и музыкантов в свой «фольксваген» и до зари укатил в Алис.

Наутро Лидия, проснувшись, увидела, что ее дом осаждает разъяренная толпа. Аборигены обвиняли ее в том, что она укрывает беглецов или помогла им сбежать; некоторые потрясали копьями. Преследователи, бросившиеся в погоню за Миком, набились в две машины.

Я сообщил Лидии, что встретил Грэма, кажется не вполне вменяемого, рядом с мотелем.

— Ну что тут поделаешь? — сказала она. — Остается только видеть во всем этом смешную сторону.

28

В восемь мы уже снова были в пути, над нами низко нависала туча. Дорога неслась вперед двумя параллельными колеями, полными красноватой воды. Кое-где приходилось переезжать огромные лужи, из которых островками торчали низкие кустарники. Перед нами летел большой баклан, молотя по поверхности воды крыльями. Мы проехали место, поросшее дубами пустыни, которые являются разновидностью казуарины и больше похожи на кактусы, чем на дубы. Они тоже стояли в воде. Аркадий заметил, что ехать дальше — безумие, но мы все-таки ехали. Грязная вода хлюпала уже внутри машины. Я стискивал зубы всякий раз, как колеса начинали буксовать, а потом мы снова вырывались вперед.

— Однажды я чуть не утонул в ливневом паводке в Сахаре, — вспомнил я.

Около полудня мы заметили грузовик Коротышки Джонса. Он возвращался из Каллена, куда отвозил недельный запас продовольствия.

Коротышка затормозил и высунулся из кабины поздороваться:

— Привет, Арк! Хочешь глоток виски?

— Не откажусь.

Он передал бутылку. Мы сделали по паре глотков и вернули ему бутылку.

— Я слышал, ты едешь с Титусом встречаться?

— Да.

— Удачи тебе.

— Он на месте, я надеюсь?

— На месте, не волнуйся.

У Коротышки Джонса были седые волосы, зеленые глаза, огромные бицепсы и «легкая чернокожесть». Одет он был в рубашку из красной шотландки. Левая половина лица представляла собой сплошной желтый рубец. К его кузову был прицеплен трейлер, который отправляли для модернизации в Алис. Он вылез проверить прочность веревок. Ноги у него оказались чрезвычайно короткими — спускаясь из кабины, он повис на одной руке, а потом мягко спрыгнул на землю.

— Удачной дороги! — помахал он нам. — Худшее вы уже проехали.

Мы двинулись дальше по какому-то безбрежному озеру.

— Что у него с лицом? — спросил я.

— Его укусила королевская коричневая змея, —

ответил Аркадий. — Года четыре назад. Он спустился поменять колесо, а вокруг шпинделя свернулась эта гадина. Он выжил, но потом у него там стала расти раковая опухоль.

— О боже! — сказал я.

— Коротышка просто так не сдается!

Через пару часов мы увидели стадо верблюдов, мокнувших под ливнем, а потом сквозь туман стала проступать круглая выпуклость горы Каллен, возвышавшаяся над равниной. Мы подъехали ближе, и из серой гора сделалась багряной: такой оттенок принял промокший красный песчаник. Через несколько километров показался эскарп из вертикально торчащих многогранных утесов, которые с одного конца поднимались в виде пика, а к северу постепенно понижались.

— Это гора Либлер, — сообщил Аркадий.

В седловине между этими двумя горами и находилось поселение Каллен.

Мы проехали вдоль взлетной полосы, мимо трейлеров, которые занимали белые советники, и остановились у постройки из оцинкованного листа. Рядом стоял бензонасос. Солнце уже вышло из-за туч, сделалось жарко и липко. Свора псов грызлась из-за груды отбросов. Кругом не было ни души.

Среди буша стояло несколько лачуг, но большинство пинтупи предпочитали жить в ветроломах из колючек. Кое-где сушилось белье.

— И кто бы догадался, — сказал Аркадий, — что это процветающая община с населением в четыреста душ?

— Что-то не похоже, — сказал я.

Магазин был на замке.

— Лучше пойдем разыщем Рольфа.

— А кто этот Рольф?

— Рольф Нихарт, — сказал он. — Сам увидишь.

Он направил «лендкрузер» к трейлеру, стоявшему за деревьями. В сарае поблизости урчал генератор. Аркадий обошел лужи и постучал в дверь.

— Рольф! — позвал он.

— Кто там? — отозвался сонный голос.

— Арк!

— А! Великий Благодетель собственной персоной!

— Ну хватит.

— Твой покорный слуга.

— Открывай.

— Одеться или не надо?

— Одевайся! Маленькое чудовище.

Покопавшись несколько минут, Рольф показал-

ся на пороге трейлера: безукоризненно чистый и опрятный, будто только что с пляжа в Сен-Тропе, в обрезанных джинсах и полосатой блузе французского моряка. Он был совсем миниатюрен — ростом не выше метра сорока пяти. Нос — с заметной горбинкой, но поразительнее всего был цвет глаз — однородно-янтарный, золотисто-песочный янтарный; сами глаза — спокойные и насмешливые; прическа *en brosse*[45], кожа — загорелая, блестящая, без единой морщинки, прыщика или пятнышка. А когда он раскрыл рот, то показался ряд сверкающих острых зубов, как у молодой акулы.

Рольф служил заведующим магазином.

— Входите, — сказал он церемонно.

Внутри трейлера было негде повернуться из-за книг: в основном романы, они стояли на полках и лежали стопками на полу; в твердых и мягких переплетах; английские и американские; на французском и немецком; переводы с чешского, испанского, русского; нераспечатанные свертки из книжной лавки «Готем»; кипы номеров «Nouvelle Revue Française» и «New York Review»; литературные журналы; журналы, посвященные

---

[45] Примечания: 45
Ежиком *(фр.)*.

переводной литературе, досье, папки, картотеки…

— Садитесь! — сказал Рольф, как будто было куда садиться.

Когда мы наконец расчистили для себя место, Рольф налил нам по чашке кофе эспрессо из кофеварки, закурил «Голуаз» и начал отрывистыми, рублеными фразами ругать всю современную художественную литературу. Одно за другим крупные имена падали на плаху этого литературного палача, он немного забавлялся с ними, а потом казнил одним-единственным слогом: «Дрянь!»

Американцы — зануды. Австралийцы инфантильны. Латиноамериканцы выдохлись. Лондон — помойная яма, Париж ничуть не лучше. Единственное место, где пишутся мало-мальски приличные книги, — это Восточная Европа.

— При условии, — заметил он, — что они сидят там и никуда не уезжают!

Затем он начал изливать свой яд на издателей и литагентов. Наконец Аркадий не выдержал:

— Послушай, маленькое чудовище. Мы *очень* устали.

— Да, вид у вас усталый, — согласился Рольф. — И грязный.

— Где мы будем ночевать?

— В симпатичном трейлере с кондиционером.

— В чьем трейлере?

— Предоставленном в ваше распоряжение калленской общиной. С чистым постельным бельем, прохладительными напитками в холодильнике…

— Я спросил — чей это трейлер?

— Гленов, — ответил тот. — Глен туда еще не въехал.

Речь шла об одном из советников общины.

— А где сам Глен?

— В Канберре, — ответил Рольф. — На конференции. Тупица!

Он выскочил из трейлера, прыгнул в «ленд-крузер» и повез нас к новехонькому, весело раскрашенному трейлеру, стоявшему в сотне метров поодаль. Под веткой эвкалипта-призрака была устроена полотняная душевая кабина с насосом, под которой стояли две емкости с водой.

Рольф приподнял крышку и опустил туда палец.

— Еще теплая, — сказал он. — Мы ждали вас раньше.

Он вручил Аркадию ключ. Внутри трейлера было все необходимое: полотенца, мыло, постель-

ное белье.

— Ну, располагайтесь, — сказал Рольф. — Потом загляните ко мне в магазин. Мы закрываемся в пять.

— А как Уэнди? — спросил Аркадий.

— Без ума от меня, — ухмыльнулся Рольф.

— Обезьяна!

Аркадий занес кулак, словно собираясь двинуть ему, но Рольф уже соскочил вниз и мчался прочь, перепрыгивая кусты.

— Кто это? Объясни-ка мне, — попросил я Аркадия.

— Я всегда говорю людям: Австралия — страна чудес, — сказал тот.

— Во-первых, сколько ему лет?

— Может, девять, а может, девяносто.

Мы приняли душ, переоделись, улеглись отдыхать, и тогда Аркадий вкратце рассказал все, что знал о Рольфе.

Со стороны отца он вел свой род от немцев из долины Баросса — от восьми поколений пруссаков, солидных лютеран с солидными деньгами, принадлежавших к одной из самых укорененных белых общин в Австралии. Матерью его была француженка, которая оказалась в Аделаиде во время войны. Рольф был трилингвом

— с детства говорил по-английски, по-немецки и по-французски. Он выиграл грант и поехал учиться в Сорбонну. Написал диссертацию по структурной лингвистике, а позже работал корреспондентом в отделе культуры сиднейской газеты.

И опыт этой работы привил ему такую ненависть к прессе, ее хозяевам и средствам массовой информации в целом, что когда его подруга Уэнди предложила вместе затеряться в глуши, в Каллене, то он согласился — при одном условии: у него будет сколько угодно времени для чтения.

— А Уэнди? — спросил я.

— О, она серьезный лингвист. Собирает материал для словаря пинтупи.

К концу первого года жизни в Каллене, продолжал Аркадий, Рольф уже дочитался до одури, и тут подвернулась вакансия заведующего местным магазином.

Предыдущий заведующий, еще один псих по имени Брюс, сочтя себя аборигеннее самих аборигенов, совершил роковую ошибку — затеял ссору с раздражительным стариком по имени Уолли Тджангапати, и бумеранг Уолли раскроил ему череп.

К сожалению, одна щепка дерева мульги,

толщиной с иголку, ускользнула от глаз рентгенолога в Алис-Спрингс и проникла в мозг Брюса.

— Она затронула не только речевые функции, но и работу органов таза, — сказал Аркадий.

— Почему Рольф согласился на эту работу?

— Из упрямства, — ответил он.

— Чем он вообще занят? — спросил я. — Сам что-то пишет?

Аркадий нахмурился.

— Я бы на твоем месте его об этом не спрашивал, — сказал он. — Мне кажется, это болезненная тема. Подозреваю, что издатели отвергли его роман.

После часовой сиесты мы прогулялись до медпункта, где находился радиотелефон. Медсестра Эстрелья, испанка, делала перевязку женщине, которую покусала собака. Несколько оцинкованных листов наполовину оторвались от крыши и с грохотом болтались на ветру.

Аркадий спросил, не поступали ли какие-нибудь сообщения.

— Нет! — ответила Эстрелья, стараясь перекричать этот лязг. — Я ничего не слышу.

— Сообщения были? — повторил Аркадий, указывая на радио.

— Нет! Нет! Никаких сообщений!

— Завтра утром, — сказал я, когда мы отошли подальше, — первым делом починю крышу.

Мы пошли к магазину.

Человек пятьдесят сидели на корточках вокруг бензонасоса и поедали арбузы — Коротышка Джонс завез сюда целую партию бахчевых.

Собаки с отвращением воротили морды от арбузных корок.

Мы вошли в магазин.

Электричество здесь замкнуло, поэтому покупатели в полумраке шарили на полках. Кто-то рылся в морозильнике. Кто-то просыпал муку из мешка. Ревел ребенок, потерявший леденец, а молодая мамаша, прижимавшая к себе младенца под красным джемпером, прихлебывала из бутылки с томатным соусом.

«Безумный бумерангер» — сухопарый, безволосый мужчина с кольцами жира вокруг шеи — стоял перед кассой и сердито требовал наличных, предъявляя чек для выплаты пособий.

Кассовых аппаратов было два: один — с ручным управлением, второй — электрический и, следовательно, вышедший из строя. За первым сидела девушка-аборигенка, которая проворно и быстро выбивала чеки. За вторым, опустив голову, не замечая ни шума, ни вони, сидел Рольф.

Он читал.

Поднял голову и сказал:

— А, вот и вы!

Он читал Пруста.

— Я собираюсь закрываться, — сообщил он. — Вам ничего не нужно? У нас есть отличная партия кокосового шампуня.

— Нет, нам ничего не нужно, — сказал я.

Если быть точнее, он приближался к концу нескончаемого званого обеда у герцогини Германтской. Его голова покачивалась из стороны в сторону, а глаза бегали по странице. Потом, довольный тем, что наконец осилил прустовский абзац, он издал непроизвольное «А!», вложил закладку и захлопнул «плеядовское» издание[46].

Рольф вскочил на ноги.

— Вон! — крикнул он на покупателей. — Вон! Вон отсюда! Проваливайте!

Женщинам, которые уже стояли в очереди к кассе, он позволил сделать покупки. Всех остальных, даже «бумерангера», он начал теснить к выходу. Молодая мамаша с жалобным стоном пыталась оградить от него свою корзинку. Рольф был неумолим.

---

[46] Примечания: 46

«Библиотека Плеяды» — престижная книжная серия классической литературы издательства «Галлимар». — *Примеч. ред.*

— Вон! — повторил он. — В вашем распоряжении был целый день. Приходите завтра, в девять утра.

Он выхватил у нее корзинку и вернул на полки банки с консервированной ветчиной и ананасовым компотом. Наконец, вытолкав за дверь последнего посетителя, он показал на «эски», припрятанную за кассовым прилавком.

— Дефицитный товар, — сказал он. — Спасибо Коротышке Джонсу. Ну, давайте же, громилы. Помогите мне.

Он позволил нам с Аркадием донести контейнер к его трейлеру. Уэнди еще не пришла.

— Увидимся, — кивнул он. — Ровно в восемь.

Еще пару часов мы читали у себя, а ровно в восемь снова пришли и увидели, как Рольф с Уэнди жарят на углях курицу. В серебряной фольге пеклась сладкая картошка. Еще нас ждали зелень и салат. И — вопреки действующим в поселении правилам — четыре бутылки ледяного шабли из долины Баросса.

Как только я увидел Уэнди, я чуть не сказал: «Еще одна!» Еще одна из этих поразительных австралийских женщин! Высокая, спокойная, серьезная и вместе с тем веселая. Золотистые волосы заплетены в косички. Она казалась менее

импульсивной, чем Мэриан, но и менее взвинченной, более довольной своей работой, не такой выжатой.

— Я рада, что вы приехали, — сказала она. — Рольфу позарез нужны собеседники.

29

Титус Тджилкамата, человек, ради встречи с которым ехал сюда Аркадий, жил километрах в сорока к юго-западу от поселения Каллен, в лачуге рядом с водоемом.

Очевидно, он пребывал в таком мрачном настроении, что Аркадий, который давно готовился к тяжелому испытанию, предложил мне остаться в Каллене, пока он один «измерит температуру». Он заручился поддержкой ассистента Титуса, вкрадчивого хромого человека по прозвищу Хромоножка. В девять часов они сели в «лендкрузер» и отправились к Титусу.

День был очень жаркий и ветреный, по небу неслись каракули перистых облаков. Я пошел к медпункту. Грохот от листов кровли стоял оглушительный.

— Ее уже один раз приколачивали, — прокричала мне Эстрелья. — Это стоило две тысячи долларов! Представь себе!

Она была миниатюрной молодой женщиной с очень забавным лицом.

Я взобрался наверх и увидел следы халтурной

работы — брусья и балки, прибитые вкривь и вкось. В довольно скором будущем все здание было обречено рухнуть.

Эстрелья послала меня к Дону, заведующему хозяйством, за молотком и кровельными гвоздями.

— Это не твоего ума дело! — заявил он. — И не моего.

Кровлю приколачивал какой-то рукожоп из Алис.

— Жизни испанской монахини-камикадзе угрожает опасность, — шутливым тоном возразил я. — А ребенка такой кровельный лист просто разрежет пополам, если сорвется.

Дон неохотно выдал мне все имевшиеся у него гвозди. Я потратил пару часов на возню с крышей, а когда окончил работу, Эстрелья с одобрением улыбнулась.

— Теперь я хотя бы слышу, как у меня мозги работают, — сказала она.

Я вернул молоток Дону, а на обратном пути заглянул к Рольфу в магазин.

Неподалеку, укрывшись от ветра за кольцом из пустых бочек, компания мужчин и женщин играла в покер, делая очень высокие ставки. Один человек проиграл 1400 долларов и собирался проиграть еще больше. Обыгрывала его вели-

канша в желтом свитере, шлепавшая картами об подстилку, оттопыривая губы с алчным видом, какой бывает у женщин в казино.

Рольф все еще читал Пруста. Оставив позади званый обед у герцогини Германтской, он следовал за бароном де Шарлю, возвращавшимся пешком домой. Перед ним стоял термос с черным кофе, он поделился им со мной.

— Тут есть один человек — тебе нужно с ним познакомиться, — сказал он.

Рольф сунул какому-то мальчику ириску и велел сходить за Джошуа. Минут через десять в дверях показался среднего возраста мужчина с длиннющими ногами и коротковатым телом, с очень темной кожей, в черной ковбойской шляпе.

— А! — сказал Рольф. — Мистер Уэйн[47] пожаловал.

— Босс! — отозвался абориген со скрипучим американским акцентом.

— Послушай, старый хапуга. Это мой друг из Англии. Я хочу, чтобы ты рассказал ему про Сновидения.

— Босс! — повторил тот.

---

[47] Примечания: 47

Джон Уэйн (1907–1979) — американский актер, «король вестерна». — *Примеч. ред.*

Джошуа был знаменитым пинтупийским «исполнителем», он устраивал потрясающие представления и выступал с ними в Европе и в США. Подлетая впервые к Сиднею, он принял огни города за звезды и спросил, почему самолет летит вверх тормашками.

Я пошел за ним к нему домой по тропинке между колючками. Бедра у него отсутствовали, и штаны постоянно соскакивали, обнажая аккуратные мозолистые ягодицы.

Его «дом» находился на самой высокой точке седловины между горами Каллен и Либлер. Это был выпотрошенный автомобиль-универсал, который Джошуа перевернул крышей вниз, чтобы можно было валяться в тени под капотом. Корпус машины был обмотан черной полиэтиленовой пленкой. Из окна торчал целый пук охотничьих копий.

Мы уселись, скрестив ноги, на песке. Я спросил, не может ли он показать мне кое-какие местные Сновидения.

— Хо! Хо! — сипло закудахтал он. — Много Сновидений! *Много!*

— Ну а кто… — спросил я, махнув рукой в сторону горы Либлер, — вон там кто?

— Хо! Хо! — ответил он. — Большой такой. Бы-

стрый. Перенти.

Перенти, или пестрый варан, — самая крупная ящерица в Австралии. Порой достигает в длину двух с половиной метров, а в скорости может посоревноваться с лошадью.

Джошуа принялся высовывать и втягивать язык, как ящерица. Выгнув пальцы так, чтобы они напоминали когти, по-крабьи запустил их в песок: так он изображал, как передвигается перенти.

Я снова поглядел на хребет горы Либлер, и мне показалось, что я узнаю в формах скал плоскую треугольную голову ящерицы, плечо, переднюю и заднюю лапы и хвост, полого снижающийся к северу.

— Да, — сказал я. — Теперь я его вижу. Откуда пришел Человек-Перенти?

— Издалека, — ответил Джошуа. — Из далекой, далекой дали. Из Кимберли.

— А куда он идет?

Он воздел руку к югу:

— Туда, к тем людям.

Выяснив, что Песенная Тропа Перенти проходит вдоль оси север — юг, я развернулся и показал на гору Каллен.

— Хорошо, — сказал я. — А это кто?

— Женщины, — прошептал Джошуа. — Две Женщины.

Он рассказал про то, как Две Женщины долго гнались за Перенти, наконец настигли его здесь и начали бить по голове палками-копалками. Но Перенти зарылся в землю и удрал. Яма на вершине горы Либлер, вроде метеоритной воронки, — это рана на его голове.

К югу от Каллена земля зеленела свежей травкой, выросшей после гроз. Там и сям из равнины торчали островками одинокие скалы.

— Скажи мне, Джошуа, а что это за скалы вон там?

Джошуа назвал их: Огонь, Паук, Ветер, Трава, Дикобраз, Змея, Старик, Двое Мужчин и какой-то непонятный зверь — «вроде собаки, только белый». Его собственный Предок, Дикобраз (или Ехидна), пришел со стороны Арнемленда и прошел через Каллен дальше, к Калгурли.

Я снова взглянул на поселение, на металлические крыши и вертящиеся крылья ветряного насоса.

— Значит, Дикобраз проходит вон там? — спросил я.

— Там, там, босс. — Джошуа улыбнулся. — Да, ты верно смотришь.

Он начертил мне путь Дикобраза: через взлетную полосу, мимо школы и насоса, потом вдоль подножия Утеса-Перенти, а оттуда уже вниз, на равнину.

— Можешь спеть мне песню про него? — спросил я. — Про то, как он сюда пришел?

Он оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого нет, и пропел своим грудным голосом несколько куплетов песни о Дикобразе, отбивая ритм ногтем по куску картона.

— Спасибо, — поблагодарил его я.

— Босс!

— Расскажи мне еще что-нибудь, — попросил я.

— Тебе нравятся всякие истории, да?

— Нравятся.

— Ладно, босс! — Он покачал головой из стороны в сторону. — История про Большого Летуна.

— Стрекоза? — переспросил я.

— Больше.

— Птица?

— Больше.

Аборигены, когда рисуют на песке Песенную Тропу, обычно чертят ряд линий с кружочками посередине. Сама линия изображает отрезок пути Предка (как правило, сколько он прошел за

день). Каждый кружок — это остановка, родник или одна из стоянок Предка. Но эту историю, историю про Большого Летуна, я никак не мог постигнуть.

Начиналось все с нескольких прямых взмахов; затем возник лабиринт с прямыми углами, который завершался рядом волнистых линий. Заканчивая чертить очередной отрезок, Джошуа выкрикивал по-английски рефрен: «Хо! Хо! У них там деньги!»

Наверное, в то утро я был настоящим тугодумом: очень долго не мог взять в толк, что это Сновидение «Куантас». Однажды Джошуа летал в Лондон. Лабиринт изображал лондонский аэропорт (зал прибытия, медпункт, иммиграционный отдел, таможня), а потом поездку в город на метро. Волнистые линии передавали вилянье и повороты такси, которое везло его от станции метро до гостиницы.

В Лондоне Джошуа осмотрел все привычные достопримечательности — Тауэр, смену караула и так далее, — однако конечным пунктом его путешествия был Амстердам.

Идеограмма, изображавшая Амстердам, оказалась еще сложнее. Круг, вокруг него — четыре круга поменьше, а от каждого из этих кругов

отходили провода к прямоугольной коробке.

Наконец очень медленно до меня стало доходить, что это нечто вроде конференции, круглого стола, где Джошуа был одним из четырех участников. Остальными участниками были: «белый отец», «худой, красный» и «черный, толстый» (по часовой стрелке).

Я спросил, что это за провода — не микрофонные ли кабели? Джошуа энергично замотал головой. Про микрофоны он все знал. Микрофоны там тоже были — на столе.

— Нет! Нет! — прокричал он и показал пальцами на свои виски.

— Значит, электроды или что-то в этом роде?

— Ага! Дошло! — рассмеялся он.

Картина (уж не знаю, насколько верная), которую я составил себе из кусочков, воссоздавала научный эксперимент, во время которого абориген пел о своем Сновидении, католический монах пел григорианские хоралы, тибетский лама — свои мантры, а африканец — что-то свое. Все четверо пели до одурения, чтобы проверить, какое воздействие оказывают различные песенные стили на участки мозга, отвечающие за ритм.

Теперь, оглядываясь на этот эпизод своего прошлого, Джошуа так потешался над ним, что от

смеха держался за живот.

Я тоже смеялся.

Так мы хохотали до одури, а потом еще долго валялись на песке, приходя в себя.

Обессилев от смеха, я едва поднялся на ноги. Поблагодарил Джошуа и попрощался с ним.

Он усмехнулся.

— Не можешь купить мне выпивки? — пророкотал он с джон-уэйновским выговором.

— В Каллене не могу, — ответил я.

30

Аркадий вернулся под вечер, усталый и встревоженный. Принял душ, записал что-то в блокнот и растянулся на койке. Визит к Титусу прошел неудачно. Хотя нет. С самим Титусом они пообщались вполне по-дружески, но Титус рассказал ему удручающую историю.

Отец Титуса был пинтупи, мать — лоритья. Ему было сорок восемь или сорок семь лет. Родился неподалеку от своей теперешней лачуги, но году в 1942-м его родители, поддавшись на соблазны белого человека — джем, чай и муку — вышли из пустыни и нашли приют в лютеранской миссии на реке Хорн. Пасторы разглядели в Титусе ребенка с выдающимися умственными способностями и взялись за его обучение.

Вплоть до 1950-х годов лютеране заправляли своими школами в духе прусских учебных заведений — и Титус оказался идеальным учеником. От его школьных лет сохранились фотографии, на которых он сидит за партой: ровный пробор, серые фланелевые шорты, вычищенные слюной ботинки. Он бегло заговорил по-английски и

по-немецки. Выучился счету. Овладел всевозможными техническими навыками. Однажды, будучи молодым проповедником (без духовного сана), ошеломил своих учителей произнесенной по-немецки речью о теологических последствиях Вормсского эдикта[48].

Чтобы быть в курсе современной жизни, он дважды в год, в июне и в ноябре, надевал двубортный костюм, отправлялся на поезде в Аделаиду и проводил там несколько недель. В Публичной библиотеке он читал старые номера «Scientific American»[49]. Однажды он целый год изучал нефтехимическую технологию.

Был и другой Титус — ультраконсервативный песенник, живший полуголым со своими иждивенцами и собаками. Он охотился с копьем и никогда — с ружьем, говорил на шести или семи туземных языках и славился по всей Западной пустыне своими толкованиями племенных законов.

Выдержка, необходимая для успешного испол-

---

[48] Примечания: 48

Вормсский эдикт — указ, изданный императором Карлом V в 1521 году, объявивший Мартина Лютера еретиком и преступником. — *Примеч. ред.*

[49] Примечания: 49

Научно-популярный американский журнал. — *Примеч. ред.*

нения обеих ролей, служила доказательством — если кому-либо требовались доказательства — невероятной жизненной энергии Титуса.

Он приветствовал закон о земельном праве как дарованную его народу возможность вернуться к родной земле — и как единственную надежду на избавление от алкоголизма. Деятельность добывающих компаний Титус ненавидел.

В рамках закона правительство сохраняло за собой право на все минералы, сокрытые под землей, и выдавало лицензии на геологоразведочные работы. Однако компании, желавшие вести разработки на земле аборигенов, были обязаны, по меньшей мере, советоваться с «традиционными владельцами» и — если добыча ископаемых начиналась — выплачивать им гонорар за разработку недр.

Титус, взвесив все за и против, пришел к выводу, что деньги от добычи минералов — плохие деньги. Плохие для белых и для черных. Это они развратили Австралию, внушили ей ложные ценности и представления об уровне жизни. Когда какая-нибудь компания получала разрешение на проведение сейсмической разведки его территории, он выражал свое презрение пассивным отказом от сотрудничества.

Из-за такой позиции у него не прибавлялось друзей — ни среди белых бизнесменов, ни среди амбициозных чернокожих из Алис. В этой же позиции крылась причина теперешней коллизии.

Около 1910 года дед Титуса, поддерживавший сношения с кланом лоритья, который теперь проживает на территории миссии Амадеус и называет себя людьми Амадеуса, обменялся с его членами двумя наборами немеченых чуринг. Этот обмен давал каждому право на доступ к охотничьим угодьям другого. Поскольку чуринги никто с тех пор не возвращал, соглашение по сей день остается в силе.

И вот однажды, когда добывающая компания уже отчаялась договориться с Титусом, в Алис заявилась делегация из Амадеуса и объявила, что не Титус, а они — хозяева той земли и ее песен, и потому гонорар за разработку ископаемых причитается им. Оказалось, они просто подделали чуринги — вырезали на них собственные тотемные рисунки. Иными словами, присвоили себе право на землю, которое принадлежало Титусу с рождения.

Титус, который слышал об Аркадии, призвал его на помощь.

На инструктаже в Алис Аркадия заверяли, что

все это — просто мелкая ссора из-за денег. Но Титусу, как выяснилось, плевать было на деньги. Дело оказалось серьезнее: подделав чуринги, люди Амадеуса не погнушались сфальсифицировать историю Творения.

Титус рассказал Аркадию, что по ночам слышит голос Предков, требующих отмщения, и говорил, что его долг — повиноваться их зову.

Аркадий, со своей стороны, понял, что необходимо срочно заставить обидчиков отречься от своего святотатства, но пока мог только попытаться выиграть время. Он предложил Титусу отправиться в Алис и отдохнуть.

— Нет, — хмуро заявил Титус. — Я останусь здесь.

— Тогда обещай мне одну вещь, — попросил Аркадий. — Ничего не предпринимай до моего возвращения.

— Обещаю.

Аркадий верил, что тот сдержит обещание; но по-настоящему его потрясло то, что аборигены готовы извратить собственные законы, лишь бы набить карман.

— Если так пойдет и дальше, — сказал он, — я, пожалуй, брошу все это дело.

В тот вечер Эстрелья решила приготовить «эс-

тофадо для кровельщика», и, пока мы ждали в ее трейлере, по крыше вдруг забарабанили редкие капли дождя. Я высунулся поглядеть на небо и увидел над Либлером плотную завесу туч, по краям которых сверкали молнии.

Через несколько минут дождь перешел в мощный ливень.

— Черт! — сказал Аркадий. — Да мы здесь на недели застрянем!

— Я не против, — заметил я.

— Вот как? Зато я — против!

Во-первых, требовало внимания дело Титуса. Во-вторых, надо было выяснить, что с Хэнлоном. В-третьих, через четыре дня у Аркадия была назначена встреча в Дарвине с инженером-железнодорожником.

— Ты мне не говорил, — удивился я.

— А ты не спрашивал.

Затем в генераторе вышел из строя автоматический выключатель, и мы погрузились в полутьму. Дождь барабанил еще полчаса, а потом прекратился так же внезапно, как и начался.

Я вышел из трейлера.

— Арк! — позвал я. — Иди скорей.

Над долиной между двумя горами раскинулась двойная радуга. Утесы, прежде скучно-рыжие,

сделались багрово-черными и полосатыми, как шкура зебры: по ним вертикально струились белые потоки воды. Туча казалась плотнее земли, из-под ее нижнего края проглянул напоследок солнечный луч, озарив колючки полосками бледно-зеленого света.

— Да, — сказал Аркадий. — Такого нигде в мире не увидишь.

Ночью опять лило. Наутро, еще до рассвета, Аркадий растолкал меня.

— Пора ехать, — сказал он. — Живей.

Он послушал прогноз погоды. Обещали ухудшение.

— Обязательно нужно ехать? — спросил я спросонок.

— Мне да, — ответил он. — А ты, если хочешь, оставайся.

— Да нет, я тоже поеду.

Мы выпили чая и навели порядок в трейлере. Оттерли пол от пятен грязи и оставили записку для Уэнди и Рольфа.

Проехали по лужам вдоль взлетной полосы и выехали на дорогу, идущую от озера Маккай. Рассвет был унылый и бессолнечный. Мы преодолели гребень… а дальше дорога утонула в бескрайнем озере.

— Ну вот и все, — сказал Аркадий.

Когда мы добрались обратно в Каллен, снова лил дождь. Рольф стоял возле магазина в непромокаемой накидке.

— Ага! — ухмыльнулся он мне. — Думал улизнуть, не попрощавшись? Я с тобой еще не наговорился!

Все утро Аркадий провел у радиоточки. Прием был ужасный. Дороги к Алис размыло, и нас отрезало дней на десять, не меньше. На почтовом самолете оставалось два свободных места, но нужно было выяснить, согласится ли пилот сделать сюда крюк.

Около полудня пришло сообщение, что самолет попытается приземлиться.

— Полетишь? — спросил меня Аркадий.

— Нет, — ответил я. — Останусь здесь.

— Ладно, — сказал он. — Последи, чтобы детвора «лендкрузер» не ломала. — Он припарковал машину под деревьями, возле нашего трейлера, и вручил мне ключ.

В медпункт к Эстрелье пришла женщина, которую мучил нарыв. Ее нужно было срочно доставить в больницу в Алис, и в самолете ей отвели то место, на котором мог бы лететь я.

Из-за Либлера, похоже, надвигалась еще одна

грозовая туча, и вдруг толпа закричала, указывая на черное пятнышко, летевшее к нам с юга. «Сессна» скорее приводнилась, чем приземлилась на взлетную полосу, обрызгав себе фюзеляж грязью, и на малой скорости подкатила к магазину.

— Давайте скорее, черт возьми! — прокричал пилот из кабины.

Аркадий сжал мне руку.

— До встречи, дружище, — сказал он. — Увидимся дней через десять — если все удачно пройдет.

— До встречи, — ответил я.

— Пока, Маленькое Чудовище, — попрощался он с Рольфом и повел стонущую женщину к самолету.

Они поднялись в небо, успев вылететь из долины, пока сюда не пришла гроза.

— Ну что, — сказал Рольф, — рад застрять здесь в моем обществе?

— Ничего, выживу.

Пообедали мы пивом и сэндвичами с салями. От пива меня потянуло в сон, и я проспал до четырех часов. Проснувшись, начал обустраивать в трейлере рабочий кабинет.

Письменный стол соорудил из фанерной доски, положив ее поверх второй койки. Нашелся

даже стул на колесиках. Я поставил карандаши в стакан, рядом положил свой швейцарский армейский нож. Вытащил чистые блокноты и с той маниакальной аккуратностью, которая обычно сопутствует началу долгожданного дела, разложил в три аккуратные стопки свои парижские записные книжки.

Во Франции эти записные книжки называются *carnets moleskines*[50]: слово «молескин» в данном случае относится к черному клеенчатому переплету. Всякий раз, бывая в Париже, я заходил пополнить свой запас блокнотов в *papeterie*[51] на *Rue de l'Ancienne Comédie*[52]. Страницы были квадратными, а форзацы скреплялись эластичной лентой. Я пронумеровал их по порядку. На первой странице надписал свое имя и адрес — с обещанием вознаграждения нашедшему. Потерять паспорт — полбеды, потерять записную книжку — катастрофа.

За двадцать с лишним лет странствий я потерял только две записные книжки. Одна пропала в

---

[50] Примечания: 50
Молескиновые тетради *(фр.)*.

[51] Примечания: 51
Магазин канцтоваров *(фр.)*.

[52] Примечания: 52
Улица Старинной Комедии *(фр.)*.

афганском автобусе. Вторую украла бразильская тайная полиция, которая в порыве ясновидения усмотрела в некоторых моих строках — о ранах барочного Христа — зашифрованное сообщение о пытках, которым подвергают в Бразилии политических узников.

За несколько месяцев до моей поездки в Австралию хозяйка *papeterie* сообщила, что заполучить *vrai moleskine*[53] все труднее и труднее. Остался лишь один поставщик — маленькая семейная фабрика в Туре. Но там очень медленно отвечают на письма.

— Я бы заказал сразу сотню штук, — сказал я мадам. — Сотни мне хватит до конца жизни.

Она обещала позвонить в Тур после обеда.

В тот день меня ожидали сплошные разочарования. Метрдотель в «Брассери Липп» больше не узнавал меня: «Non, Monsieur, il n'y a pas de place»[54]. В пять часов, как мы уговорились, я снова зашел к мадам. Фабрикант давно умер. Его наследники продали фабрику. Мадам сняла очки и с почти траурным видом изрекла: «Le vrai

---

[53] Примечания: 53
Настоящий молескин *(фр.)*.

[54] Примечания: 54
«Нет, месье, мест нет» *(фр.)*.

moleskine n'est plus»[55].

У меня было предчувствие, что «дорожный» этап моей жизни подходит к концу. И я решил, что, прежде чем меня одолеет недуг оседлости, нужно заново пролистать свои старые записные книжки. Набросать на бумаге краткое изложение тех мыслей, цитат и встреч, которые развлекали и навязчиво преследовали меня на протяжении долгого времени. Я надеялся, что они прольют свет на то, что оставалось для меня вопросом из вопросов: на природу человеческой неугомонности.

Паскаль в одной из своих наиболее мрачных *pensées*[56] высказал мнение, что все наши невзгоды происходят по одной-единственной причине: из-за неспособности спокойно сидеть в комнате.

Отчего, спрашивал он, человеку, обеспеченному всем необходимым для безбедной жизни, неймется пускаться в какие-то долгие заморские странствия? Отчего он рвется в чужие города, на поиски перца или на войну — сокрушать черепа?

---

[55] Примечания: 55
«Настоящего молескина больше нет» *(фр.)*.

[56] Примечания: 56
Мыслей *(фр.)*.

Далее, поразмыслив о причинах наших бед, Паскаль вознамерился докопаться до самой сути и нашел прекрасное объяснение: виной всему — врожденное сознание нашей смертности. И несчастье это столь велико, что стоит нам всерьез о нем задуматься, как мы делаемся безутешными.

Единственное, что может облегчить наше отчаяние, — это развлечение *(divertissement)*; однако оно же является и худшей из преследующих нас напастей, ибо в стремлении развлечься мы перестаем задумываться о самих себе и постепенно навлекаем на себя гибель.

А может быть (продолжал я размышлять), наша потребность в развлечении, наша одержимость новизной — это, по сути, инстинктивный порыв к миграции, вроде того инстинкта, что по осени пробуждается у птиц?

Все великие учителя говорили, что человек от века был скитальцем «в нагой раскаленной пустыне» мира (это слова Великого инквизитора у Достоевского) и что, дабы вернуться к своей исконной человеческой природе, он должен стряхнуть оковы привязанностей и выйти на дорогу.

Две мои последние записные книжки были

густо заполнены заметками, которые я делал в Южной Африке, где пытался самолично раздобыть свидетельства о происхождении нашего вида. То, что я там выяснил, — как и то, что я узнал о Песенных Тропах, — подтверждало догадку, с которой я очень долго носился: если рассматривать человеческий организм целиком, от строения мозговых клеток до устройства больших пальцев ног, то можно прийти к выводу, что естественный отбор готовил нас к существованию в условиях *пеших* сезонных перемещений по раскаленной земле, поросшей колючими кустарниками, или по пустыне.

Если это действительно так, если пустыня — наш дом, если наши инстинкты формировались в пустыне, с тем чтобы мы оказались способны вынести ее суровые условия, тогда совсем нетрудно понять, отчего нам становится тоскливо при виде зеленых пастбищ, отчего нас утомляет обладание собственностью и отчего воображаемому человеку Паскаля казалось тюрьмой его уютное жилище.

Из записных книжек

Суть человеческой природы – в движении. Полный покой означает смерть.

Паскаль. Мысли

* * *

Упражнение в Великой Болезни; боязнь дома.

Бодлер. Дневники

* * *

Самые убедительные описания неугомонности часто создавали люди, которые сами вели неподвижный образ жизни: Паскаль — из-за желудочных болей и мигреней, Бодлер — из-за наркотиков, Сан-Хуан де ла Крус — из-за решеток на окнах кельи. Кое-кто из французских критиков утверждает, что Пруст — отшельник, сидевший взаперти в комнате, обитой пробкой, — был величайшим из литературных путешественников.

* * *

Основатели монашеских орденов вечно ломали голову, как отбить у послушников тягу к странствиям. Святой Антоний говорил: «Монах, оказавшийся вне стен кельи, — все равно что рыба, выброшенная из воды». И все же Христос с апостолами *странствовали* пешком по палестинским холмам.

* * *

Что за причудливое безумие, вопрошал Петрарка своего молодого секретаря, что за одержимость — каждую ночь засыпать в новой кровати?

* * *

Что я здесь делаю?

Рембо. Из письма домой из Эфиопии

* * *

Пикос, Пиауи, Бразилия

Бессонная ночь в отеле «Шарм». В этих краях, где самый высокий уровень младенческой

смертности в мире, водится клоп, переносящий возбудителей сонной болезни. Во время завтрака хозяин гостиницы, вместо того чтобы подать яичницу, хлопнул мухобойкой по моей тарелке и поднял за лапку пестрое коричневое насекомое.

– *Mata gente,* — сказал он мрачно. — Убивает людей.

Оштукатуренный фасад выкрашен в светлый мятно-зеленый цвет, а слова *CHARM HOTEL* выведены жирными черными буквами. Вода из протекающего водосточного желоба смыла первую букву, и теперь название читается…[57]

* * *

Джанг, Камерун

В Джанге две гостиницы: отель «Виндзор» и — на другой стороне улицы — отель «Анти-Виндзор».

* * *

Британское посольство в Кабуле, Афганистан

Третий секретарь одновременно занимает должность культурного атташе. Его кабинет за-

---

[57] Примечания: 57
Harm — «вред» *(англ.).*

бит экземплярами «Скотного двора» Оруэлла: так британское правительство решило внести вклад в преподавание английского языка в афганских школах, а заодно преподать устами свиньи азбучный урок о вреде марксизма.

— Но… свиньи? — спросил я. — В мусульманской стране? Вам не кажется, что подобная пропаганда может привести к совершенно противоположным результатам?

Культурный атташе пожал плечами. Послу показалось, что это неплохая идея. С этим ничего нельзя было поделать.

* * *

Кто не странствует, тот не знает цены людям.

Мусульманская пословица

* * *

Майами, Флорида

В автобусе, который ехал из центра города на пляж, сидела дама в розовом. На вид ей было лет восемьдесят, не меньше. У нее были ярко-розовые волосы с приколотыми розовыми цветами,

розовое платье, подобранное в тон, розовые губы, розовые ногти, розовая сумочка, розовые серьги, и вдобавок в корзинке для покупок у нее лежала пачка розовых салфеток.

Внутри ее прозрачных пластмассовых каблуков лениво плавала в формальдегиде парочка золотых рыбок.

Я был так увлечен разглядыванием этих золотых рыбок, что даже не заметил карлика в роговых очках, стоявшего на сиденье рядом со мной.

— Позвольте полюбопытствовать, сэр, — обратился он ко мне скрипучим голосом, — какое из человеческих качеств вы цените больше всего?

— Я как-то не задумывался, — ответил я.

— Раньше я выше всего ставил сочувствие, — поделился он. — Но с недавних пор предпочитаю сострадание.

— Приятно слышать.

— Позвольте задать вам еще один вопрос, сэр. Какого рода деятельностью вы занимаетесь в настоящее время?

— Учусь на археолога.

— Поразительно, сэр! Я ведь и сам подвизаюсь на том же поприще.

Он работал «коллекторной крысой». Друзья

спускали его с металлоискателем в главный коллектор, проходящий под отелями на Майами-Бич. Там он выискивал драгоценности, случайно упавшие в унитазы и смытые в канализационные трубы.

— Могу заверить вас, сэр, — сказал карлик, — это весьма прибыльное занятие.

* * *

В ночном экспрессе Москва — Киев читаю третью «Элегию» Донна:

Кто не видал чужих краев – бедняга,
Но жалок и отчаянный бродяга[58].

* * *

Эта жизнь – больница, где каждый больной одержим желанием поменять свое место. Один хотел бы страдать у печки, а другой думает, что выздоровел бы у окна.

---

[58] Примечания: 58
Перевод Г. Кружкова (элегия «Изменчивость»).

Я всегда считаю, что мне было бы хорошо там, где меня нет, и этот вопрос о переезде – один из тех, которые я беспрестанно обсуждаю с моей душой.

Бодлер. Куда угодно, прочь из этого мира[59]

* * *

Беком, Камерун

Названия такси: «машина доверия», «доверие ребенка»; «возвращение Шофера-Джентльмена»; *«Le Chauffeur Kamikadze»*[60].

* * *

В самолете Париж — Дакар

Вчера вечером — ужин на *Rue de l'Abbé de l'Épée*[61]. Присутствовал Мальро. Чревовещатель! Он безупречно изобразил звук, с которым

---

[59] Примечания: 59
Перевод Эллиса.

[60] Примечания: 60
«Шофер-камикадзе» *(фр.)*.

[61] Примечания: 61
Улица Аббата де л'Эпе *(фр.)*.

захлопнулась дверь сталинского кабинета перед лицом у Жида. Они с Жидом явились в Кремль выразить протест из-за преследования гомосексуалистов в России, и Сталин заранее узнал об их намерении.

* * *

Дакар

Гостиница *«Coq Hardi»*[62] одновременно является борделем. Хозяйка мадам Мартин владеет рыболовным судном, поэтому на ужин мы едим лангуста. Из двух проституток, живущих при отеле, одна — моя подруга мадам Йо-Йо — носит громадный красновато-розовый тюрбан; вместо ног у нее — поршневые стержни. У второй, мадам Жаклин, есть два постоянных клиента — гидролог герр Киш и посол Мали.

Вчера была очередь Киша. Мадам Жаклин показалась на балконе, сверкая браслетами: Мать Всей Африки в струящихся одеждах цвета индиго. Послала воздушный поцелуй, сбросила вниз веточку бугенвиллеи и проворковала: «Иду, герр Киш».

---

[62] Примечания: 62
«Смелый петух» *(фр.)*.

Сегодня, когда к гостинице подъехал «мерседес» посла, она вылетела в соблазнительном костюме цвета кофе со сливками, в блондинистом парике, белых туфлях на высоких каблуках и зычно прокричала: *«Monsieur l'Ambassadeur, je viens!»*[63]

* * *

Горэ, Сенегал

На террасе ресторана французы-толстяки, муж с женой, поедают *fruits de mer*[64]. Их такса, привязанная к ножке стула толстухи, все время прыгает в надежде на подачку.

Толстуха таксе: *«Taisez-vous, Roméo! C'est l'entracte»*[65].

* * *

[63] Примечания: 63
«Иду, господин посол!» *(фр.)*

[64] Примечания: 64
Морепродукты *(фр.)*.

[65] Примечания: 65
«Замолчите, Ромео! Антракт» *(фр.)*.

Внутренний жар… лихорадка странствий…

Калевала

* * *

В «Происхождении человека» Дарвин отмечает, что у некоторых птиц миграционный инстинкт оказывается сильнее материнского. Мать скорее бросит птенцов в гнезде, чем откажется от дальнего перелета на юг.

* * *

Сиднейский порт

На пароме, возвращающемся из Мэнли, щуплая старушка случайно услышала, как я разговариваю с собеседником.

— Вы же англичанин, верно? — спросила она с северным английским акцентом. — Могу поспорить, что вы англичанин.

— Да, верно.

— Я тоже англичанка!

На ней были очки с толстыми стеклами в стальной оправе и милая фетровая шляпка с синей

ленточкой над полями.

— Вы путешествуете или у кого-то гостите в Сиднее? — спросил я.

— Нет, голубчик, что вы! — сказала она. — Я живу здесь с сорок шестого года! Приехала к сыну, чтобы поселиться вместе с ним, но случилась престранная вещь. Пока корабль плыл сюда, сын умер. Представьте себе! Я уже продала свой дом в Донкастере. И тогда я подумала — что ж, останусь здесь. Попросила своего второго сына приехать сюда, ко мне. Он приехал… а потом эмигрировал и… Знаете, что произошло?

— Нет.

— Он тоже умер. У него отказало сердце — и все.

— Какой ужас, — сказал я.

— У меня был третий сын, — продолжала старушка. — Мой любимчик, но он погиб на войне. В Дюнкерке! Такой смелый. Я получила письмо от его командира. Очень, очень смелый! Он стоял на палубе… весь в горящем масле… и бросился в море. О-о! Настоящий живой факел!

— Но ведь это ужасно!

— А сегодня такой чудесный день, — улыбнулась старушка. — Разве может быть чудеснее?

Светило солнце, высоко по небу плыли белые

облачка, с океана дул бриз. Несколько яхт двигались против ветра в сторону Голов[66], другие шли под парусами-спинакерами. Старый паром мчался перед барашками волн в сторону Оперы и Моста.

— А как хорошо в Мэнли! — сказала старушка. — Я любила там бывать с сыном… до того, как он умер! Но я не была там уже двадцать лет!

— Это же совсем близко, — удивился я.

— Я шестнадцать лет не выходила из дому. Я была *слепая*, голубчик! У меня на глазах были катаракты, я ничего не видела. Глазной хирург говорил, надежды никакой нет, и я сидела дома. Подумать только! Шестнадцать лет в темноте! И тут на прошлой неделе приходит одна милая социальная работница и говорит: «Нужно все-таки, чтобы кто-то как следует изучил ваши катаракты». И поглядите на меня сейчас!

Я взглянул сквозь очки на ее мерцающие — другого слова не найти, — мерцающие голубые глаза.

— Меня отвезли в больницу, — продолжала она. — И сняли катаракты! Ну не чудо ли? Теперь я вижу!

---

[66] Примечания: 66

Головы (The Heads) — обиходное название возвышенных мысов с обеих сторон входа в Порт-Джексон (Сиднейскую гавань).

— Да, — сказал я. — Удивительно!

— Сегодня я впервые выбралась на дальнюю прогулку, — доверительно сообщила она. — Никому ни слова не сказала. За завтраком решила: «Сегодня чудесный денек. Доеду автобусом до Круглого Причала, потом сяду на паром до Мэнли… совсем как в старые времена». На обед я ела рыбу. О, как же все чудесно!

Она с озорным видом сгорбила плечи и захихикала.

— А сколько лет вы мне дадите? — спросила она.

— Не знаю, — сказал я. — Погодите, мне нужно приглядеться. Ну, я бы дал вам лет восемьдесят.

— А вот и нет, — рассмеялась она. — Мне девяносто три… и я снова *вижу*!

* * *

Дарвин приводит в пример гуся Одюбона[67], который, если подрезать ему крылья, пускается в путь пешком. Затем он описывает мучения птицы, которую запирают в загоне в сезон пере-

[67] Примечания: 67

Джон Джеймс Одюбон (1785–1851) — американский натуралист, орнитолог и художник-анималист, автор труда «Птицы Америки» (1827–1838).

лета: она бьет крыльями и, грудью бросаясь на решетку клетки, раздирает себя в кровь.

* * *

Роберт Бёртон — оксфордский преподаватель, домосед и книгочей — употребил изрядное количество времени и ученого рвения на то, чтобы доказать: странствия — не проклятие, а средство исцеления от меланхолии — иначе говоря, от уныния, которым чревата оседлая жизнь:

> «Сами небеса пребывают в непрерывном движении, солнце восходит и заходит, луна прибывает, звезды и планеты никогда не прекращают обращения, воздух вечно швыряем ветрами, воды приливают и отливают, несомненно, ради своего же блага и дабы внушить нам, чтобы и мы не забывали перемещаться».

Или:

«Нет ничего лучшего при этом недуге [меланхолии], нежели перемена воздуха, длительное странствие, какие совершают татары, что живут ордами и обращают себе на пользу все времена года и различные местности».

Анатомия Меланхолии

* * *

Угроза повисла над моим здоровьем. Ужас мной овладел. Я погружался в сон, который длился по нескольку дней, и когда я просыпался, то снова видел печальные сны. Я созрел для кончины; по опасной дороге меня вела моя слабость к пределам мира и Киммерии, родине мрака и вихрей.

Я должен был путешествовать, чтобы развеять чары, нависшие над моими мозгами.

Рембо. Одно лето в аду[68]

---

[68] Примечания: 68
Перевод М. Кудинова.

* * *

Он был отличным ходоком. О! Потрясающий ходок! Он шел в пальто нараспашку, с маленькой феской на голове – несмотря на солнце.

Ригас. О Рембо в Эфиопии

* * *

…По ужасным дорогам, вроде тех, что, как предполагают, существуют на Луне.

Рембо. Из письма домой

* * *

«L'Homme aux semelles de vent»: «Человек с подошвами из ветра».

Верлен о Рембо

* * *

Омдурман, Судан

Шейх С. живет в домике, из которого видна

могила его деда, махди[69]. На листах бумаги, склеенных между собой скотчем — так, чтобы можно было скатывать их в свиток, — он написал поэму в пятьсот строф тем же стилем и размером, что и «Элегия» Грея[70], озаглавленную «Плач о гибели Суданской республики». Я беру у него уроки арабского. Он говорит, что видит «свет веры» у меня на лбу и надеется обратить меня в ислам.

Я отвечаю, что приму ислам, только если он вызовет джинна.

— Джиннов вызывать не так-то просто, — говорит он. — Но попробовать можно.

Протолкавшись целый день на омдурманском базаре в поисках нужных сортов мирры, ладана и духов, мы приготовились вызывать джинна. Правоверные прочли молитвы. Солнце зашло, мы сидели перед угольной жаровней в саду, под папайей, настроившись на благочестивое ожидание.

Вначале шейх бросил на угли немного мирры. Поднялась тонкая струйка дыма. Джинн не

---

[69] Примечания: 69

В конце XIX века в Восточном Судане поднялось махдистское («мессианское») движение, и предводитель восстания Мухаммед бен Ахмед провозгласил себя махди (освободителем, мессией).

[70] Примечания: 70

Томас Грей (1716–1771) — английский поэт, автор знаменитой «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1750).

появился.

Тогда он попробовал ладан.

Джинн не появился.

Он по очереди бросал на угли все, что мы купили на базаре.

Все равно джинна не было видно.

Тогда он сказал:

— Давайте попробуем «Элизабет Арден»[71].

* * *

Нуакшотт, Мавритания

Бывший солдат французского Иностранного легиона, ветеран Дьенбьенфу[72], с седыми, стриженными ежиком волосами и сердитой улыбкой, возмущен тем, что правительство США не признает своей вины за резню в Май-Лэй[73].

— Нет такой вещи, как военное преступление! — говорит он. — Сама война — уже преступление.

---

[71] Примечания: 71

«Элизабет Арден» — известная марка парфюмерии. — *Примеч. ред.*

[72] Примечания: 72

Весной 1954 года в бою в долине Дьенбьенфу вьетнамская народная армия одержала победу над французскими войсками.

[73] Примечания: 73

Май-Лэй — вьетнамская деревня, где в 1968 году американские солдаты расстреляли в упор более пятисот мирных жителей.

Еще больше его возмущает формулировка суда, который приговорил лейтенанта Келли за убийство «людей-азиатов»: как будто слово «азиат» еще нуждается в уточнении!

Солдату он дал такое определение: «Это профессиональный наемник, который на протяжении тридцати лет убивает других людей. А потом подрезает у себя в саду розы».

* * *

Главное, не теряй желание гулять: каждый день я выгуливаю себя до тех пор, пока мне не становится совсем хорошо, и тем самым убегаю от всех болезней; прогулки наводят на все мои лучшие идеи, и я не знаю ни одной тягостной мысли, от которой нельзя было бы уйти пешком… Но, оставаясь на месте, чем больше сидишь неподвижно, тем хуже себя чувствуешь… Потому, если не прекращать прогулки, все будет хорошо.

Сёрен Кьеркегор, из письма к Йетте (1847)

* * *

Solvitur ambulando — «Решается с помощью ходьбы».

* * *

Атар, Мавритания

— Вы бывали в Индии? — спросил меня сын адрарского эмира.

— Бывал.

— И что, это и правда деревня?

— Нет, — ответил я. — Это одна из самых огромных стран в мире.

– *Tiens!*[74] А я-то всегда думал, что это деревня.

* * *

Нуакшотт, Мавритания

Кучу бетонных домишек, построенных на песке, теперь со всех сторон окружает бидонвиль[75] кочевников, которые, подобно Иакову

---

[74] Примечания: 74
Надо же! *(фр.)*

[75] Примечания: 75
Бидонвиль — поселок с домами из фанеры, жести и т. д. — *Примеч. ред.*

и его сыновьям, вынуждены были прибиться к оседлым жителям, когда «голод усилился по всей земле»[76].

До прошлогодней засухи около 80 % населения этой страны жили в шатрах.

* * *

Мавританцы обожают синий цвет. Они носят синие одежды, синие тюрбаны. Палатки их бидонвиля заплатаны кусками синего хлопка, а на лачугах, сколоченных из упаковочных ящиков, обязательно должно быть хотя бы малое пятно синей краски.

Сегодня утром я наблюдал за сморщенной старушенцией, которая рылась на мусорной куче в поисках синей тряпки. Она выудила один лоскут. Потом другой. Сравнила. Выбросила первый. Наконец нашла кусок ткани в точности того оттенка, который искала, и ушла, напевая.

* * *

На окраине городка трое маленьких мальчиков гоняли футбольный мяч. Завидев меня, они

---

[76] Примечания: 76
Быт. 41: 57.

бросили мяч и подошли. Но вместо того чтобы клянчить деньги или выпрашивать адрес, самый крошечный из них повел со мной очень серьезную беседу. Какого я мнения по поводу войны в Биафре?[77] Каковы причины арабо-израильского конфликта? Что я думаю о преследовании евреев Гитлером? А о постройках фараонов в Египте? О древней империи Альморавидов?

— Кто ты такой? — поразился я.

Он чинно отдал честь.

— Салль Закария салль Мухаммед, — вывел он высоким сопрано. — Сын министра внутренних дел!

— И сколько тебе лет?

— Восемь.

Наутро за мной заехал джип, и меня доставили к министру.

– *Cher monsieur,* — сказал он, — насколько я понял, вы познакомились с моим сыном. Он сказал, что у вас состоялась очень содержательная беседа. Прошу отобедать с нами и сообщить, не могу ли я вам чем-нибудь помочь.

---

[77] Примечания: 77

Биафра — самопровозглашенная республика на юго-востоке Нигерии, просуществовавшая с 1967 по 1970 год. Во время гражданской войны, вспыхнувшей из-за отделения Биафры, около одного миллиона человек погибло от голода.

* * *

С давних пор я хвалился тем, что владею всеми пейзажами, которые только можно представить…

Рембо. Одно лето в аду[78]

* * *

Мавритания, по дороге в Атар

В кузов грузовика набилось человек пятьдесят, они теснились среди мешков с зерном. Когда мы одолели половину расстояния до Атара, поднялось песчаная буря. Рядом со мной сидел сенегалец, от которого исходил сильный запах. Он сказал, что ему двадцать пять лет. Он был коренаст, с чрезмерно развитыми мускулами и с зубами, порыжелыми от постоянного жевания орехов колы.

— Вы едете в Атар? — спросил он у меня.

— Вы тоже?

— Нет. Я еду во Францию.

— Зачем?

---

[78] Примечания: 78
Перевод М. Кудинова.

— Работать по специальности.

— Какая же у вас специальность?

– *Installation sanitaire*[79].

— У вас есть паспорт?

— Нет, — улыбнулся он. — У меня есть документ.

Он развернул промокший листок бумаги, и я прочел, что Дон Эрнандо такой-то, владелец траулера такого-то, нанял на работу Амаду… фамилия не проставлена… и т. д. и т. д.

— Я доберусь до Вилья-Сиснерос, — сказал он. — Сяду на корабль до Тенерифе или до Лас-Пальмаса на Гран-Канарии. Там буду работать по специальности.

— Станете моряком?

— Нет, месье. Путешественником. Хочу повидать все народы и все страны на свете.

* * *

На обратном пути из Атара

В кузов пикапа с холстинным навесом набилось пятнадцать пассажиров. Все мавританцы, кроме меня и еще одного человека, закутанного

---

[79] Примечания: 79
Сантехническое оборудование *(фр.)*.

в мешок. Мешок зашевелился, оттуда выглянула красивая голова молодого волофа. Кожа и волосы у него были покрыты белой пылью, вроде налета на синем винограде. Вид у него был напуганный и очень расстроенный.

— Что случилось? — спросил я.

— Все кончено. Пограничники меня завернули.

— А куда вы хотели поехать?

— Во Францию.

— Зачем?

— Работать по специальности.

— Какая же у вас за специальность?

— Вы ее не знаете.

— Почему? — возразил я. — Мне известны большинство *métiers*[80] во Франции.

— Нет, — покачал он головой. — Вряд ли она вам знакома.

— Ну тогда расскажите.

Наконец с полувздохом-полустоном он сказал:

— Я — эбенист. Мастерю комоды в стиле Людовика Пятнадцатого и Людовика Шестнадцатого.

Вот оно что. В Абиджане он научился инкрустации шпоном на мебельной фабрике,

---

[80] Примечания: 80
Профессий *(фр.)*.

выпускавшей изделия во вкусе новой буржуазии — чернокожих франкофилов.

Паспорта у него не было, зато в мешке лежала книга о французской мебели XVIII века. Его героями были Крессан и Ризенер[81]. Он надеялся побывать в Лувре, Версале и в *Musée des Arts Decoratifs*[82]. Надеялся, если повезет, поступить в подмастерья к парижскому мастеру, решив, что такой человек должен существовать.

* * *

Лондон

Вместе с Берти у торговца французской мебелью. Торговец предложил ризенеровский комод Полу Гетти[83], а тот в качестве эксперта пригласил Берти.

Комод был отреставрирован так, что выглядел как новенький.

---

[81] Примечания: 81

Шарль Крессан (1686–1768) и *Жан-Анри Ризенер* (1724–1806) — французские мебельщики, создатели комодов и бюро в стиле регентства и рококо.

[82] Примечания: 82

Музей декоративного искусства *(фр.)*.

[83] Примечания: 83

Жан Пол Гетти (1892–1976) — американский нефтяной магнат и промышленник, коллекционер и основатель Музея Гетти в Калифорнии. — *Примеч. ред.*

Берти взглянул на него и воскликнул:

— О-о!

— Ну? — спросил торговец после долгой паузы.

— Ну, лично *я* бы не поставил его даже в спальню служанки. Но для *него* — сойдет.

* * *

Коллекционировать вещи хорошо, но еще лучше – путешествовать.

Анатоль Франс

* * *

Мое имущество уносится от меня. Словно саранча, оно поднимается в воздух и улетает прочь…

«Плач о гибели Ура»

* * *

Тимбукту

Официант принес мне меню:

Capitaine bamakoise (жареная каракатица)

Pintade grillée[84]
Dessert

— Хорошо, — сказал я. — Когда можно поесть?

— Мы едим в восемь, — ответил он.

— Ладно. Значит, в восемь.

— Нет, месье. Это *мы* едим в восемь. Значит, *вы* должны поесть или до семи… Или после десяти.

— А кто это — мы?

— Мы, — повторил он. — Работники.

Тут он понизил голос и прошептал:

— Советую вам поесть в семь, месье. Мы съедаем *всю* еду.

* * *

Христианство здесь начали насаждать лет сто назад — стараниями, хотя и не личными, кардинала Вижери, архиепископа Карфагенского и примаса всей Африки. Сам он был знатоком бургундских вин, а облачения заказывал у Ворта[85].

В числе его представителей в Африке были три белых отца — Польмье, Бёрлин и Миноре.

---

[84] Примечания: 84

Жареная цесарка *(фр.)*.

[85] Примечания: 85

Имеется в виду «House of Worth» — французский дом моды. — *Примеч. ред.*

Вскоре после того, как они отслужили обедню в запретном городе, туареги отрубили им голову.

Когда кардиналу доложили об этом, он сидел в своем ландо на берегу моря, в Биаррице.

– *Te Deum laudamus!*[86] — воскликнул он. — Не могу поверить.

— Нет, — сказал его информатор, — это правда.

— Они действительно скончались?

— Да.

— Какая радость для нас! И для них тоже!

Кардинал прервал свою утреннюю поездку, чтобы написать три одинаковых письма матерям погибших: «Господь призвал вас, дабы произвести их на свет, и Господь призвал меня, дабы отправить их мучениками в рай. Будьте счастливы, думая об этом».

* * *

На форзаце дешевого издания «Тристрама Шенди», которое я купил у букиниста в Алис, кто-то написал от руки:

Одно из редких мгновений счастья, какие известны человеку в Австралии, — это миг, когда

---

[86] Примечания: 86

Здесь: Хвала тебе, Господи! *(лат.)* — первые слова старинного церковного гимна. — *Примеч. ред.*

поверх двух пивных кружек он встречается взглядом с другим человеком.

* * *

Юньнань, Китай

Сельский школьный учитель был чрезвычайно любезным и энергичным человеком с копной иссиня-черных волос. Он жил вместе с женой, похожей на девочку, в деревянном доме возле Нефритовой реки.

Музыковед по образованию, он облазил когда-то все дальние горные деревни, записывая песенный фольклор племени наси. Подобно Вико[87], он считал, что первым в мире языком была песня. Древний человек, говорил он, выучился говорить, подражая звериным кличам и птичьим трелям, и жил в музыкальной гармонии с остальным Творением.

Его комнату заполняли безделушки, чудом уцелевшие в годы культурной революции. Усевшись на красные лаковые стулья, мы щелкали семечки дыни и пили из белых фарфоровых наперстков горный чай сорта «Пригоршня снега».

---

[87] Примечания: 87
Джамбаттиста Вико (1668–1744) — итальянский мыслитель.

Он поставил запись одного песнопения наси. Мужские и женские голоса пели антифоном у гроба с покойником: *Уууу… Зиии! Уууу… Зиии!* Эту песню исполняли, чтобы прогнать Пожирателя Мертвецов — злобного клыкастого духа, питавшегося человеческими душами.

Учитель удивил нас тем, что с легкостью напевал мазурки Шопена, а также обширным бетховенским репертуаром. В 1940-е годы его отец, купец из торгового каравана в Лхасе, отправил сына в Куньминскую академию изучать западную музыку.

На стене, над репродукцией клод-лорреновского[88] «Отплытия на Цитеру», висели в рамках фотографии, изображавшие учителя. На одной он был в белом галстуке и во фраке за концертным роялем; на второй дирижировал оркестром на улице, запруженной толпами с флажками, — стремительная, энергичная фигурка на цыпочках: руки воздеты, дирижерская палочка указует вниз.

— Сорок девятый год, — сказал он. — В Куньмине встречали Красную армию.

— Что вы тогда исполняли?

---

[88] Примечания: 88

Клод Лоррен (1600–1682) — французский художник-пейзажист.

— «Военный марш» Шуберта.

За это — точнее, за приверженность западной культуре — он получил двадцать один год тюремного заключения.

Учитель поднял руки и поглядел на них с грустью, будто на несчастных сирот. Пальцы были скрючены, запястья исполосованы шрамами. Эти шрамы напоминали о том дне, когда гвардейцы подвесили его к потолочным балкам в позе Христа на кресте… или человека, дирижирующего оркестром.

* * *

Одно из распространенных заблуждений гласит: мужчины — странники, женщины — хранительницы дома и очага. Может, оно и так. Но женщины — прежде всего хранительницы преемственности: если очаг переезжает, они переезжают вместе с ним.

У цыган именно женщины побуждают мужчин выходить на дорогу. Так и на архипелаге у мыса Горн, среди бурных вод, именно женщины индейцев-яганов не давали потухнуть угольками, тлевшим в их лодках-каноэ. Миссионер отец

Мартин Гузинде[89] сравнивал их с «весталками античности» или с «неугомонными перелетными птицами, которые делаются счастливыми и обретают душевный покой, лишь находясь в пути».

* * *

В Центральной Австралии движущей силой, которая ратует за возвращение прежнего образа жизни, являются женщины. Как сказала одна дама моему приятелю: «Женщины — вот кто стоит за землю».

* * *

Мавритания

В двух днях пути от Шингетти нам нужно было пересечь унылое серое ущелье, где не росло ничего живого. На дне долины лежало несколько дохлых верблюдов, их высохшие шкуры колотились о ребра скелетов: *тра-та-та…*

Когда мы взобрались на противоположный утес, уже почти стемнело. Назревала песчаная буря. Верблюды забеспокоились. Тогда один из

---

[89] Примечания: 89
Мартин Гузинде (1886–1969) — немецкий антрополог и этнограф.

проводников показал в сторону шатров, раскинутых в километре от нас среди песчаных дюн: три шатра из козьих шкур и один из белого хлопка.

Мы начали медленно приближаться к ним. Проводники щурились, пытаясь понять, чьи это шатры — дружественного племени или нет. Наконец один из них улыбнулся, воскликнул: «Лалахлаль!» — и пустил своего верблюда рысью.

Рослый молодой человек откинул полу палатки и знаком пригласил нас внутрь. На нем были синие одежды и желтые тапочки. Мы спешились.

Старуха принесла нам фиников и козьего молока, а шейх уже отдавал распоряжение заколоть козленка.

— Со времен Авраама и Сарры ничего не изменилось, — сказал я себе.

Шейх Сиди Ахмед эль Бешир Хаммади безукоризненно говорил по-французски. После ужина, когда он угощал нас мятным чаем, я простодушно спросил его, отчего жизнь в шатрах, при всех ее тяготах, так притягательна.

— Вот еще! — Он пожал плечами. — Лично я бы предпочел жить в городском доме. Здесь, в пустыне, даже не вымыться по-человечески. Негде принять душ! Это женщины заставляют нас

жить в пустыне. Они говорят, пустыня дарит им здоровье и счастье — им и детям.

* * *

Тимбукту

Дома построены из серой глины. Многие стены покрыты граффити. Мелом, аккуратнейшим ученическим почерком, выведены слова:

Les noms de ceux qui voyagent dans la nuit sont Sidi et Yéyé.
Hélas! Les Anges de l'Enfer.
Beauté… Beau…

La poussière en Decembre…[90]

* * *

Бесполезно обращаться к скитальцу
За советом, как строить дом.
Работа никогда не закончится.

---

[90] Примечания: 90
Имена тех, кто странствует в ночи, — Сиди и Йейе.
Увы! Ангелы Преисподней.
Красота… Красиво…
Пыль в декабре… *(фр.)*

Прочтя эти строки из китайской «Книги Песен», я осознал нелепость любых попыток написать книгу о кочевниках.

* * *

Психиатры, политики, тираны не устают твердить нам, что бродячая жизнь — это разновидность извращенного поведения, невроз, вытеснение неудовлетворенного сексуального желания, болезнь, которую в интересах цивилизации надлежит всячески подавлять.

Нацистские пропагандисты утверждали, что цыганам и евреям — народам, у которых гены скитальчества в крови, — не место в незыблемом рейхе.

Между тем на Востоке по сей день живо другое, некогда общее для всех мнение: странствия помогают заново обрести первоначальную гармонию, которая существовала между человеком и Вселенной.

* * *

Неведомо счастье человеку, который не странствует. Живя в обществе людей, даже лучший человек становится грешником. Ибо Индра – друг путника. Итак, странствуй!

«Айтарея упанишада»

* * *

Невозможно пуститься в странствие, пока сам не сделаешься Путем.

Гаутама Будда

* * *

Ступайте дальше!

Его последнее напутствие ученикам

* * *

В исламе, особенно в суфийских орденах, *сийахат* («странствование») — само движение или его ритм — применялось как особая техника, помогавшая расторгнуть узы, привязывающие

человека к миру, и приблизить его к Богу.

Цель дервиша заключалась в том, чтобы стать «ходячим мертвецом» — человеком, чье тело остается живым на земле, но чья душа уже переносится в рай. В суфийском трактате «Кашф аль-махджуб» говорится, что к концу странствия дервиш из путника превращается в путь, то есть из человека, следующего собственной воле, в то место, по которому проходит нечто.

Аркадий, когда я упомянул об этом в разговоре, заметил, что это очень похоже на представления аборигенов: «Многие люди становятся в конце концов землей, Предками места».

Человек, который всю жизнь расхаживал с песнями туда-сюда вдоль Песенной Тропы Предка, сам превращался в эту дорогу, в Предка и в песню.

* * *

Беспутный Путь, где Сыны Божьи теряются и в то же время находят сами себя.

Майстер Экхарт

* * *

И покой
Его так совершенен, что юнец,
Завидуя, глядит ему вослед.

Вордсворт. Странствующий старик[91]

* * *

Очень краткое жизнеописание Диогена.

Жил он в бочке. Питался сырыми осьминогами и люпинами. Про себя говорил: «Kosmopolites eimi» («Я — гражданин мира») — и сравнивал свои скитания по Греции с перелетами аистов: летом — на север, зимой — на юг, прочь от холодов.

* * *

Мы, лопари, схожи с северными оленями: весной нас тянет в горы, а зимой влечет в лес.

Тури. Книга о Лапландии

---

[91] Примечания: 91
Перевод И. Меламеда.

* * *

В Древней Индии в сезон муссонов путешествовать было невозможно. А так как Будда не хотел, чтобы его последователи брели по шею в воде, он позволил им удаляться в *вассы* — «приюты от дождя». И в эту пору года бездомные путники забирались в высокогорные места и жили в мазанках.

Именно в таких местах возникли впоследствии великие буддийские монастыри.

* * *

Ранняя христианская Церковь знала два вида паломничества. Первый — «скитания ради Бога» *(ambulare pro Deo)* в подражание Христу или праотцу Аврааму, покинувшему Ур ради жизни в шатрах. Второй разновидностью было «покаянное паломничество»: преступники, повинные в страшных грехах *(peccata enormia)*, должны были, в соответствии с четко установленными расценками, сделаться на время бродягами-попрошайками — со шляпой, мошной, посохом и опознавательным значком — и отрабатывать свое искупление на дороге.

Само представление о том, что странствие способно искупить тяжкое преступление, восходит к библейским словам о Каине, вынужденном скитаться, чтобы снять с себя грех братоубийства.

* * *

Уалата, Мавритания

На шее у погонщиков верблюдов вместо четок болтались шкуросъемные ножи; когда-то погонщики служили во вспомогательных войсках при Иностранном легионе. На закате они отвели меня к дому на окраине города — послушать бхаги.

Этот бхаги был святым странником, который бродил от оазиса к оазису со своим беззубым стариком-отцом. Вместо глаз у бхаги были две затуманенные голубые миндалины. Он был слеп от рождения, его повсюду водил отец.

Слепец знал наизусть весь Коран. Когда мы пришли, он сидел на земле, прислонившись к стене из сырцового кирпича, и с блаженной улыбкой распевал суры, а отец листал перед ним страницы книги. Слова сыпались все быстрее и быстрее, пока наконец не превратились в непрерывно льющуюся дробь, наподобие барабанного соло. Его отец все перелистывал страницы, а

собравшаяся толпа раскачивалась с отрешенным видом, словно на грани транса.

Неожиданно бхаги умолк. Наступил миг абсолютной тишины. Следующий стих он начал произносить очень-очень медленно, тщательно выговаривая гортанные звуки, бросая слова одно за другим, а слушатели жадно ловили их, будто послания «извне».

Отец склонил голову на плечо сына и глубоко вздохнул.

* * *

Жизнь – это мост. Перейди ее, но не строй на ней дом.

Индийская пословица

* * *

Во время весеннего переселения, провинция Фарс

Между Фирузабадом и Ширазом полным ходом идет переселение кашкайцев: на многие километры растянулись стада овец и коз, издалека, с холмов, напоминающих муравьев. Кругом ни травинки: лишь горы слегка зеленеют, а вдоль

дороги — цветущий белый ракитник и артемисия с серыми листьями. Скотина тощая и хилая, кожа да кости. То и дело какое-нибудь животное вываливается из ряда, как спотыкается и падает солдат, потерявший сознание на параде, и тут уже соревнуются в скорости стервятники и собаки.

Слюноточивые мастифы! Красноголовые стервятники! Отчего у них красные головы — от природы или от крови? И от того, и от другого! Они и красные, и окровавленные. А когда глядишь туда, откуда они слетелись, то замечаешь, как в вышине спиралями кружат стаи других стервятников.

Мужчины у кашкайцев были худые, обветренные, с поджатыми губами; головы их покрывали цилиндрические шапочки из белого сукна. Женщины нарядились в лучшие одежды — яркие платья из ситца, купленные специально для весеннего переезда. Некоторые сидели верхом на лошадях и ослах; другие — на верблюдах, вместе с поклажей: шатрами и шестами для шатров. Они мерно колыхались и покачивались в седлах. Глаза устремлены на дорогу, расстилавшуюся впереди.

Женщина в шафранно-зеленом платье ехала на черном коне. Позади нее, в куче тряпья, сло-

женного в седло, ребенок играл с осиротевшим ягненком; позвякивали медные кувшины, рядом сидел привязанный петух.

Эта женщина кормила грудью младенца. Ее шею украшали ожерелья из золотых монеток и амулетов. Как и большинство женщин кочевых народов, она носила свое богатство на себе.

Какие самые ранние впечатления у младенца-кочевника? Покачивающийся сосок и золотой ливень.

* * *

Гуннов сжигает ненасытная жажда золота.

Аммиан Марцеллин

* * *

Ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были Измаильтяне.

Книга Судей, 8: 24

* * *

Добрый конь – что родня.

Кашкайская поговорка

* * *

Дашт-Арджан, близ Шираза

Старик склонился над своей издыхающей гнедой кобылой: в долгих переходах лошади падают первыми. Он нашел ей пучок свежей травы. Упрашивал поесть, пытался просунуть ей в зубы траву. Но было слишком поздно. Кобыла лежала на боку, высунув язык, и ее потускневшие глаза уже видели, как подходит смерть.

Старик закусил губу и пролил скупые слезы — по одной-две на каждую щеку. Потом взвалил седло на плечо и, больше не оборачиваясь, вместе со мной пошел на дорогу.

Когда мы шли вот так по дороге, нас подобрал один из ханов, ехавший на «лендровере».

Это был пожилой мужчина с прямой спиной, с моноклем, имевший некоторое представление о Европе. Он владел домом и плодовыми садами

в Ширазе, но каждую весну объезжал родичей и помогал им.

Хан отвез меня в шатер, где его собратья обсуждали дальнейшие действия. Один из ханов оказался модным щеголем в стеганой желтой горнолыжной куртке. Его кожу золотил загар — явно горнолыжный. Я заподозрил, что он заявился сюда прямо из Санкт-Морица; он с самого начала недоверчиво косился в мою сторону.

Ханом, к чьему голосу все прислушивались, был жилистый горбоносый мужчина с порослью седой щетины на подбородке. Он сидел на килиме и выслушивал доводы остальных, не шевеля и бровью. Потом взял листок бумаги и шариковой ручкой начал рисовать какие-то волнистые линии.

Они обозначали порядок, в котором родственные кланы должны перемещаться по следующему отрезку территории.

* * *

Та же сцена описана в Книге Бытия (13: 9): бедуинский шейх Авраам опасается, что его пастухи вот-вот затеют ссоры с пастухами Лота: «Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня. Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то

я налево».

* * *

Любое переселение кочевников должно быть организовано четко и гибко, как военный поход. Позади — иссохшая трава. Впереди — дороги, и они могут быть засыпаны снегом.

Большинство кочевников называют себя хозяевами пути (по-арабски «иль-рах» — «путь»), но на деле они лишь заявляют о своих сезонных правах на выпас скота. Так время и пространство растворяются друг в друге: месяц и часть дороги делаются синонимами.

Но для кочевника (в отличие от охотника) миграция — не его личное дело. Это организованное сопровождение скотины — животных, в которых инстинктивная способность переходить туда, где есть корм, давно притуплена одомашниванием. Перегон скота требует навыков и сопряжен с риском. Подобно Иову, кочевник может разориться всего за один сезон: эта участь постигла и номадов в Сахеле, и животноводческие компании в Вайоминге в «великую белую зиму» 1886/87 года.

В неблагоприятную пору искушение кочевника

отбиться от выбранного пути неодолимо; но там его поджидает армия с автоматами.

— Теперь на смену львам и волкам пришла армия, — говорил старый хан, мой друг.

Nomos по-гречески означает «пастбище», и «номадом» звался вождь или глава рода, отвечавший за распределение пастбищ. Поэтому слово *nomos* также стало означать «закон», «справедливое распределение», «то, что установлено обычаем» — иными словами, основу всего западного законодательства.

Глагол *nemein* («пастись», «выпасать», «бродить», «распространяться») уже у Гомера употребляется во втором значении: «раздавать», «делить» или «распределять», особенно когда речь идет о земле, почестях, мясе или вине. *Nemesis* — это «раздача справедливости», в том числе и «божественной справедливости». *Nomisma* — «мелкая монетка», отсюда произошло слово «нумизматика».

Кочевниками, известными Гомеру, были гиппомолги («доящие кобылиц»)[92] — скифы, скитавшиеся на повозках по степям нынешней Южной России. Этот народ погребал своих вождей

---

[92] Примечания: 92
См.: «Илиада», XIII, 6–7.

вместе с лошадьми и золотыми сокровищами, а над могилами сооружал земляные курганы.

Однако определить, где же именно истоки кочевой жизни, очень трудно.

* * *

Бандиагара, Мали

Мадам Дитерлен, старая африканистка, угощала меня кофе в своем трейлере у края скалы догонов. Я спросил, какие следы жизни бороро или пёль — сахельских скотоводов — увидел бы археолог после того, как они сняли лагерь.

Она на минуту задумалась, а потом ответила:

— Они разбрасывают пепел от своих костров. Впрочем, нет — ваш археолог их не нашел бы. А вот женщины плетут из стеблей травы маленькие веночки и подвешивают к веткам дерева, под которым отдыхают.

* * *

Макс Вебер, прослеживая происхождение современного капитализма, возводит его к тем кальвинистам, которые, вопреки притче о верблюде и игольном ушке, провозглашали

доктрину справедливого вознаграждения за труд. Однако само представление о перемещении и о возрастании «живого богатства» имеет историю столь же давнюю, что и само скотоводство. Одомашненные животные, как и деньги, имели свободное обращение, и английское слово *currency* («валюта») буквально означает «то, что бежит», от французского *courir* — «бежать». По сути, все наши слова, имеющие отношение к деньгам, — *capital, stock, pecuniary, chattel, cattle*[93] — а возможно, и само понятие роста — восходят еще к древнему пастушьему быту.

* * *

Не правда ль,
Всего на свете слаще быть царем
И с торжеством въезжать в свой град Персеполь?

---

[93] Примечания: 93

Соответственно: *capital* («состояние») восходит к латинскому capes, *capitis* — «голова»; английское *stock*, среди прочего, означает не только «акционерный, финансовый капитал», но также «поголовье скота»; *pecuniary* («денежный») восходит к латинскому *pecus* — «деньги», «скот»; английские *chattel* («движимое имущество») и *cattle* («скот») равно восходят через старофранцузский *chatel* к латинскому *capitalis*.

Марло. Тамерлан Великий, часть I[94]

* * *

Персеполь, Фарс

Мы подходили к Персеполю в дождь. Кашкайцы промокли насквозь и казались счастливыми, животные тоже вымокли; когда дождь прекратился, кочевники стряхнули воду с накидок и танцующей походкой зашагали дальше. Мы прошли мимо плодового сада, обнесенного глиняной стеной. После дождя в воздухе сильно пахло флердоранжем.

Рядом со мной шагал юноша. Он обменялся быстрым взглядом с девушкой, ехавшей позади матери на верблюде, но верблюд шел быстрее нас.

Не доходя пяти километров до Персеполя, мы поравнялись с какими-то огромными куполообразными шатрами, которые возводили рабочие: сюда Шах-ин-Шах позвал всякий монарший сброд на свою июньскую коронацию. Шатры были разработаны фирмой французских декораторов «Янсен».

---

[94] Примечания: 94
Акт II, сцена 5. Перевод Э. Линецкой.

Долетали крики на французском.

Я пытался разговорить юношу-кашкайца, чтобы он сказал хоть что-нибудь про эти шатры или хотя бы поглядел на них. Но он лишь пожал плечами и отвернулся; мы продолжали идти к Персеполю.

Проходя по этому городу, я смотрел на желобчатые колонны, на портики, на львов, быков и грифонов; на гладкую, почти металлическую отделку камня, на бесконечные строки надписей, из которых так и перла мания величия: «Я… я… я… царь… царь… сжег… убил… пленил…»

Мои симпатии были на стороне Александра, который сжег этот город.

И снова мне хотелось, чтобы юноша-кашкаец взглянул на руины. Но он снова лишь пожал плечами. Ему было все равно — что Персеполь, что рухнувший спичечный домик, — и мы продолжали идти дальше, в горы.

* * *

Пирамиды, арки, обелиски были всего-навсего похвальбой, уродливыми проявлениями древнего чванства.

Сэр Томас Браун. Гидриотафия

* * *

Лондон

Франко С., вернувшись из Ирана после свержения шаха, сообщил, перечисляя побочные последствия переворота Хомейни, что кашкайцы снова обрели силу и подвижность.

* * *

Традиция бивачных костров противостоит традиции пирамид.

Мартин Бубер. Моисей

* * *

Прежде чем выступать перед толпами на нюрнбергских сборищах, фюрер вначале собеседовал сам с собою в подземном бункере, устроенном по образцу Большой Пирамиды.

* * *

– Гляди! Я нарисовал череп на вершине пирамиды.

– А почему ты это нарисовал, Седиг?

– Мне нравится рисовать страшилки.

– А что этот череп делает на пирамиде?

– Там похоронен великан, это его череп торчит.

– Тебе нравится этот великан?

– Нет.

– Почему?

– Потому что он ест людей.

Из разговора с восьмилетним Седигом эль Фадилем эль Махди

* * *

Ужас Яхве перед тесаными сооружениями: «Если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных. Ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их».

Исход, 20: 25

* * *

...И никто не знает места погребения его[95] даже до сего дня.

Второзаконие, 34: 6

* * *

Перед заходом луны в последний раз воет собака, потом настает тишина. Пламя костра трепещет, стражник зевает. Очень дряхлый человек тихо проходит мимо шатров, ощупывая землю перед собой посохом, чтобы нечаянно не споткнуться об веревки от шатров. Он уходит вдаль. Его народ совершает переход к землям с более сочной травой. А у Моисея назначено свидание с шакалами и грифами.

* * *

Помпей в Иерусалиме, войдя в Храм, повелел, чтобы ему показали Святая Святых, и был очень удивлен, когда его привели в пустую комнату.

---

[95] Примечания: 95
Моисея.

* * *

Геродот рассказывает, что греки, приплывшие в Египет и увидевшие рукотворные горы из известняка, назвали их пирамидами из-за сходства с пшеничными пирожками похожей формы, какие продавались на уличных лотках. Еще он замечает, что среди местных жителей сохранилась память о времени их сооружения как о чем-то ужасном, и потому они даже не в силах заставить себя выговорить имена царей-строителей, Хеопса и Хефрена, и называют их «пирамидами пастуха Филитиса, который в те времена пас свои стада в этих местах»[96].

* * *

Каменная кладка: да человеческих ли то рук дело?.. При мысли о египетских фараонах меня охватывает дрожь.

Герман Мелвилл.
Дневник путешествия в Европу и Левант

---

[96] Примечания: 96
Геродот, II, 128. Перевод Г. Стратановского.

* * *

Мечеть Джингеребер, Тимбукту

Ряды унылых глиняных арок. Помет летучих мышей. На стропилах — осиные гнезда. Лучи солнечного света падают на тростниковые подстилки, как лучи от увеличительного стекла.

Марабут оторвался от своих молитв, чтобы задать мне пару вопросов.

— Правда, что есть такой народ — мериканцы? — спросил он.

— Правда.

— Говорят, они побывали на Луне.

— Это так.

— Они — богохульники.

* * *

Очень краткая история небоскреба.

Все знают, что Вавилонская башня задумывалась как бунт против небес. Чиновников, отвечавших за строительство, было мало, зато рабочих – несметное множество. И потому, чтобы команды не толковались вкривь и вкось, всех стро-

ителей заставляли говорить на одном языке.

Мало-помалу, по мере того как ряды кладки ложились одна на другую, высшие власти начали тревожиться: а не бессмысленна ли сама мысль о войне против небес? Вдруг и вовсе нет на небесах никакого Бога? На внеочередном заседании центрального комитета постановили запустить в небо исследовательскую ракету. Были запущены сразу несколько снарядов. На землю они вернулись, обагренные кровью. Так были получены доказательства того, что Бог все-таки существует и что Он смертен. Тогда власти постановили продолжать строительство Башни.

Бог же, со своей стороны, разгневался на то, что Его укололи в зад. Однажды утром Он с недовольным фырканьем толкнул под руку одного из каменщиков, стоявшего на верхнем уступе, и тот уронил кирпич на голову каменщику, стоявшему ниже. Это была случайная оплошность. Все понимали, что это случайная оплошность, но тот каменщик, на которого упал кирпич, принялся выкрикивать угрозы и оскорбления. Напрасно товарищи унимали его. Потом все строители разделились, становясь на сторону одного из тех двоих, хотя даже не знали, из-за чего вспыхнула ссора. И каждый в своем праведном гневе отказывался слушать соседа и переходил на свой язык, так что вскоре уже никто никого не понимал. Центральный комитет оказался бессилен, и артели строителей, говорившие отныне каждая на своем языке, разбрелись в разные концы земли.

По мотивам «Иудейских древностей» Иосифа Флавия, I, IV

* * *

Без Принуждения не возникло бы ни одно поселение. Над рабочими не стоял бы надсмотрщик. Не было бы разлива рек.

Шумерский текст

* * *

У вавилонян *баб-иль* означало «врата Бога». У евреев то же самое слово означало «беспорядок», «столпотворение», возможно, «бессмысленную какофонию». Зиккураты Месопотамии были «вратами Бога», выкрашенными в семь цветов радуги и посвященными Ану и Энлилю — божествам, олицетворявшим Порядок и Принуждение.

На древних евреев, оказавшихся зажатыми между двумя задиристыми империями, снизошло удивительное прозрение: они представляли себе государство в образе Бегемота, или Левиафана, — чудовища, угрожающего человеческой жизни.

Пожалуй, они первыми из народов осознали, что Башня — это хаос, что порядок — тоже хаос, а язык — тот дар, что Яхве вдохнул в уста Ада-

ма, — мятежная, непокорная и могучая сила, по сравнению с которой устои самих пирамид — ничтожный прах.

* * *

В поезде Франкфурт — Вена

Он ехал повидаться со стариком-отцом, венским рабби. Толстый коротышка с бледной кожей и светло-рыжими пейсами, одетый в длинный саржевый лапсердак и шляпу с меховой оторочкой. Он был очень застенчив. Настолько застенчив, что не мог раздеваться при посторонних. Проводник уверял его, что в купе он будет один.

Я сказал, что выйду в коридор. Поезд проезжал сквозь лес. Я открыл окно и вдохнул сосновый воздух. Через десять минут, когда я вернулся в купе, мой сосед уже лежал на верхней полке. Он перестал нервничать и решил рассказать о себе.

Шестнадцать лет он проучился в талмудической академии в Бруклине и за эти годы ни разу не виделся с отцом. Завтра утром они наконец-то встретятся.

До войны его семья жила в Румынии, в Сибиу. Когда началась война, родные понадеялись, что

беда обойдет их стороной. Но потом, в 1942 году, нацисты нарисовали звезду на их доме.

Рабби сбрил бороду и обрезал пейсы. Служанка-гойка раздобыла ему крестьянскую одежду — войлочную шляпу, блузу с поясом, овчинный тулуп и сапоги. Он простился с женой, двумя дочерями, обнял сына-младенца (всем четверым было суждено погибнуть в Освенциме). Взял на руки сына-первенца и подался в леса.

Рабби вместе с сыном перешли через Карпаты, поросшие буковыми лесами. Пастухи давали им приют и угощали мясом (резали овец, не нарушая правил кашрута). Наконец, они пересекли турецкую границу и перебрались в Америку.

В Америке рабби никогда не чувствовал себя в своей тарелке. Он поддерживал сионизм, но не желал присоединяться к этому движению: ведь Израиль — не страна, а идея. Где Тора, там и Царство. Отчаявшись, он уехал в Европу.

И вот теперь отец и сын возвращались в Румынию, потому что несколько недель назад рабби получил знамение. Однажды поздним вечером в его венскую квартиру позвонили, и он неохотно открыл дверь. На лестничной площадке стояла старуха с корзинкой в руках. У нее были сизые губы и жидкие седые волосы. Он с трудом узнал

свою бывшую служанку-гойку.

— Наконец я разыскала вас, — сказала она. — Ваш дом цел. Ваши книги в целости и сохранности, даже ваша одежда цела. Годами я убеждала соседей, что это гойский дом. А теперь я умираю. Вот ключ.

* * *

Шахрак, Афганистан

Таджики утверждают, что раньше всех поселились на этой земле. Они выращивают пшеницу, лен и арбузы. У них продолговатые смиренные лица, они в поте лица роют оросительные каналы. Держат бойцовых куропаток и не умеют ухаживать за лошадьми.

В долине над таджикской деревней мы подошли к лагерю аймаков-фирузкухов. Крыши их юрт представляли собой белые конусы, а сами юрты снаружи украшали ромбы, завитки и шахматные узоры всех мыслимых цветов, будто геральдическое поле. На васильковом лугу паслись лошади, вдоль ручья росли ивы с белесыми листьями. Мы увидели курдючную овцу с таким здоровенным хвостом, что его пришлось привязать к телеге. Рядом с юртами женщины в

фиолетовых одеждах чесали шерсть.

Наступила та пора года, когда земледельцы и кочевники, пережив период распрей и конфликтов, неожиданно делаются лучшими друзьями. Поспел урожай. Кочевники закупают на зиму зерно. А деревенские жители покупают сыр, шкуры и мясо, зазывают овец на поля — разрыхлить стерню и унавозить землю перед осенним севом.

* * *

Кочевник и сеятель — вот два рычага так называемой неолитической революции, которая (в ее классической форме) произошла приблизительно в середине девятого тысячелетия до нашей эры на склонах хорошо орошаемой «земли холмов и долин» — плодородного полумесяца, пролегающего дугой от Палестины до юго-восточных областей Ирана. Здесь, на высоте около 900 метров над уровнем моря, дикие предки наших коз и овец щипали дикую пшеницу и дикий ячмень.

Постепенно, по мере одомашнивания и окультуривания всех четырех видов, крестьяне расселялись внизу, в поймах рек, приносивших плодородный ил. Из этих-то поселений и возникли позже первые города. Скотоводы же уходили на высокогорные летние пастбища, где

постепенно возникал другой, конкурирующий с крестьянским уклад жизни.

* * *

Амориты, что не знают зерна… Народ, чьи набеги подобны урагану… Народ, что никогда не жил в городах…

Шумерский текст

* * *

Уисса, плато Аир, Нигер

Сад был круглым. Почва — черной. По периметру его окружала изгородь из колючих кустарников, чтобы не забредали верблюды и козы. Посреди сада, по обеим сторонам от колодца и водоема, возвышались две древние финиковые пальмы.

Сад делился на четверти оросительными канавами. Каждая из этих четвертей распадалась на лабиринт грядок-островков, засеянных горохом, бобами, луком, морковью, салатом, кабачками и помидорами.

Садовником был негр-невольник. Целиком поглощенный своей работой, он расхаживал

голым, если не считать набедренной повязки. Вытаскивал из шахты колодца кожаное ведро с водой, а потом наблюдал, как вода разбегается по лабиринту канавок. Когда очередной овощ получал положенный ему объем воды, негр запруживал канаву мотыгой и перенаправлял поток к соседним грядкам.

В долине неподалеку виднелись другие круговые частоколы из колючек: туда туареги загоняли на ночь своих коз.

Тот негр, заботившийся о саженцах, поступал в точности как первые диктаторы на земле. В шумерских и египетских архивах можно найти записи о том, что древнейшие цари называли себя «владыками орошающих вод»: они дарили жизнь своим чахнущим подданным или перекрывали краны.

* * *

Авель, в чьей гибели Отцы Церкви усматривали указание на грядущее мученичество Христа, был овцеводом. Каин — оседлым земледельцем. Авель был любимцем Бога, потому что сам Яхве был Богом пути, чья неугомонность препятствовала поклонению другим богам. Однако Каину — будущему строителю первого города на земле

— было обещано владычество над братом.

В одном стихе из мидраша, где толкуется эта ссора, говорится, что сыновья Адама поровну унаследовали мир: Каину во владение досталась вся земля, а Авелю — все живущее на ней. Потом Каин обвинил Авеля в нарушении границ.

Сами имена двух братьев — уже пара противоположностей. Имя «Авель» происходит от древнееврейского *гевель*, что означает «дыхание» или «пар» — все, что живет, движется и является преходящим, как и его собственная жизнь. А корень имени «Каин», видимо, тот же, что и в глаголе *кана* — «покупать», «приобретать», «владеть собственностью», и следовательно, «править» или «подчинять».

«Каин» значит также «ковач». А поскольку в некоторых языках — даже в китайском — слова, обозначающие «насилие» и «подчинение», тесно связаны с открытием металлов, то, возможно, Каину и его потомкам было суждено заниматься черными кузнечными ремеслами.

Гипотетическое изложение истории первого убийства.

Каин — трудолюбивый малый, он изо всех сил вскапывает землю. День жаркий и безоблачный.

В голубой выси кружат орлы. Последние снега еще сползают с гор в долину, но земля уже бурая и сухая. В глаза лезут мухи. Каин отирает пот со лба и снова берется за работу. Мотыгой ему служит каменное лезвие, к которому прибита деревянная рукоятка.

А где-то там, наверху, на склоне горы, Авель отдыхает в тени скалы. Он играет на дудочке — выводит, трель за трелью, один и тот же назойливый мотив. Каин прислушивается. Распрямляет затекшую спину. Потом, прикрыв глаза ладонью от слепящего солнца, всматривается в поля у реки. Их истоптали овцы — и все его утренние труды пошли прахом. Не дав себе времени на раздумья, он пускается бежать…

Согласно другому, менее простительному объяснению, Каин устроил Авелю засаду и сбросил камень на голову. В таком случае и братоубийство стало плодом долго вынашиваемой злобы и зависти — зависти узника к свободе бескрайних просторов.

Яхве позволяет Каину совершить отмщение, но требует и расплаты за грех. Он навсегда лишает его «плодов земли» и прогоняет «изгнанником и скитальцем» в землю Нод: «Нод» означает «пустошь» или «пустыню», где некогда до него

скитался Авель.

* * *

Travel («путешествие») — по происхождению то же, что *travail* — «тяжкий телесный или умственный труд», «работа, особенно мучительная или принудительная», «напряжение», «лишения», «страдания»[97]. «Странствие».

* * *

Град Каина построен не на крови быков или коз, а на человечьей крови.

Уильям Блейк. Призрак Авеля

* * *

«Одинокие среди народов», искусные в набегах, жаждавшие умножения богатств, но питавшие отвращение к имуществу, одержимые мечтой всех странников — обрести надежный дом, — пожалуй, ни один другой народ не чувствовал острее евреев нравственную двусмысленность оседлой жизни. Даже их Бог — проекция вечных

---

[97] Примечания: 97
Ср.: *фр*. travail — «работа, труд».

сомнений. Их книгу — Ветхий Завет, да и Новый тоже, — вполне можно истолковать (по крайней мере на одном уровне) как монументальный диалог между Ним и Его народом о плюсах и минусах жизни на земле.

Быть ли ей землей для полей и домов? Или землей хлеба и вина? Или землей с городами, которых они не строили, и виноградниками, которых не насаждали? Или ей суждено остаться страной черных шатров и козьих троп? Страной кочевников, текущей молоком и диким медом? Или царством, где народ «будет он спокойно жить на месте своем» (2 Цар. 7: 10)? Или же то было, как подозревал Гейне, «переносное царство», которое может существовать лишь в людских сердцах?

Яхве по своему происхождению — Бог пути. Его святилище — передвижной ковчег, Его жилище — скиния, Его жертвенник — нагромождение грубых камней. И хотя Он *обещает* своим детям хорошо орошаемую землю (любимые цвета бедуинов — зеленый и голубой), втайне Он желает, чтобы они жили в пустыне.

Он выводит их из Египта, подальше от сытных котлов и от бича надсмотрщика, откуда три дня пути до сурового чистого воздуха Синая. Там дает им праздник опресноков — Песах: трапеза состо-

ит из испеченного на огне ягненка, горьких трав и пресного хлеба, приготовленного не в печи, а на раскаленном камне. Еще Он дает им заповедь есть «с поспешностью», с обувью на ногах и посохом в руках: это должно служить вечным напоминанием о том, что спасение народа — в движении.

Он дает им «круговой танец», *хаг*[98], который мимически изображает прыжки козлов во время весенних миграций, дающий «веселие сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню»[99]. Он является им в Неопалимой Купине и в Столпе Огненном. Он — полная противоположность всего египетского. Однако Он позволяет себе и сомнительную почесть иметь Храм — и еще пожалеет об этом: «Поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое, чтоб осквернить его» (Иер. 7: 30).

Гетто Восточной Европы стали теми клочками пустыни, «где не росло никакой зелени». Христиане, помыкавшие евреями, запрещали им владеть землей или домами, выращивать овощи

---

[98] Примечания: 98
На иврите слово «хаг» означает также «праздник».

[99] Примечания: 99
Ис. 30: 29.

или заниматься каким-нибудь ремеслом, кроме ростовщичества. И хотя им позволялось собирать хворост, пилить доски они уже не могли — чтобы это не привело к строительству.

Гои, которые устанавливали все эти запреты, думали, что тем самым наказывают евреев за преступление — убийство Христа, как некогда Яхве покарал Каина. А правоверные евреи думали, что, мирясь с этими запретами, они заново проживают переход через Синай, где избранный народ некогда обрел благоволение Господа.

Пророки Исаия, Иеремия, Амос и Осия ратовали за возрождение кочевнического уклада и поносили разврат и порчу, порожденные городской цивилизацией. Пустив корни в землю, «заложив дом к дому и поле к полю», превратив Храм в скульптурную галерею, народ отвернулся от своего Бога.

Надолго ли, Господи?.. «Доколе не опустеют города…»[100] Пророки ждали «дня восстановления», когда евреи наконец вернутся к скудному аскетизму кочевой жизни. В видении Исаии обещается приход Спасителя, которого будут звать Эммануил и который будет пастухом.

---

[100] Примечания: 100
Ис. 6: 11.

Когда Навуходоносор, царь Вавилона, загнал евреев за стены Иерусалима, Иеремия напомнил им о Рехавитах — единственном колене, которое еще продолжало противиться обольщениям оседлой жизни:

«Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: „не пейте вина ни вы, ни дети ваши во веки; и домов не стройте и семян не сейте, и виноградников не разводите и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками“» (Иер. 35: 6–7).

Одним лишь Рехавитам, сохранявшим тактическую мобильность, остались неведомы ужасы военной осады.

* * *

В своем сочинении «Мукаддима» («Введение») Ибн Хальдун[101] — философ, размышлявший о человеческом положении с точки зрения кочевников, — писал:

«Народ пустыни ближе к доброму началу, чем

---

[101] Примечания: 101

Ибн Хальдун (1332–1406) — арабский мыслитель, которого считают основателем социологии.

оседлые народы, ибо он стоит ближе к Первичному Состоянию, и более удален от всех злых привычек, которыми заражены сердца оседлых жителей».

Под «народом пустыни» Ибн Хальдун разумел бедуинов вроде тех, кого он некогда, во дни своей воинственной юности, набирал себе в наемники из глубины Сахары.

В свои зрелые годы, уже заглянув в раскосые глаза Тамерлана и увидев горы черепов и пепел сожженных городов, он, вслед за ветхозаветными пророками, осознал пагубные опасности цивилизации и затосковал по жизни в шатрах.

Ибн Хальдун основывал свои рассуждения на догадке о том, что люди, поселяясь в городах, мало-помалу разлагаются морально и физически.

Городской изнеженности, рассуждал он, предшествовали тяготы жизни в пустыне. Таким образом, пустыня явилась источником цивилизации, а народы пустыни сохранили превосходство над оседлыми, потому что остались более воздержанными, свободными, здоровыми, менее надменными и трусливыми, менее склонными повиноваться порочным законам и в целом более склонными к исцелению.

* * *

Монастырь Симонаспетрас, гора Афон

Молодой венгр, устав от восхождения на Святую гору, уселся на балконе и принялся смотреть на бушевавшее внизу море. Он учился на эпидемиолога, но потом бросил эту работу и занялся восхождениями. Он поднимался на все священные горы мира. Надеялся взойти на гору Арарат и пройти по хребту Кайлас в Тибете.

— Человеку не стоило переходить на оседлый образ жизни, — сказал он вдруг безо всякого предисловия.

К такому выводу он пришел, изучая механизм эпидемий. История заразных болезней — это история людей, живущих в собственной грязи. Еще он заметил, что ящик Пандоры, таивший в себе все беды и болезни, был не чем иным, как неолитической погребальной урной.

— Поверьте моему слову, — сказал он. — По сравнению с эпидемиями ядерное оружие еще покажется безобидной игрушкой.

* * *

Это была никудышная летняя поездка *(progresse)*. Было так холодно, как редко бывает в эту пору года; стояла худшая погода, в какую только можно предпринять путешествие, особенно длительное.

Ланселот Эндрюс, 1622

* * *

В среднеанглийском языке слово *progress* означало «странствие», в частности «сезонное путешествие», «объезд».

Словом *progress* называли путешествие, в ходе которого король объезжал замки своих баронов, епископ — епархии, кочевник — пастбища, паломник — святые места. «Моральные» или «материальные» формы прогресса были неизвестны вплоть до XVII столетия.

* * *

В тибетском языке «человек» определяется выражением *a gro-ba* — «тот, кто ходит», «тот, кто переселяется». Точно так же слово «араб»

(или «бедуин»), «житель шатров», противопоставляется «хазару» — «живущему в доме». И все же временами даже бедуин вынужден вести оседлую жизнь. В жаркий засушливый август — месяц, давший название Рамадану (от «рамс» — «жечь»), — он оказывается привязан к колодцу посреди пустыни.

* * *

> При всех прочих различиях в мире есть только два типа людей: те, кому сидится дома, и те, кому не сидится.
>
> ***Киплинг***

* * *

Однако и здесь дело может быть в сезонных изменениях…

Редко какой климат лишен «тощего сезона» — поры мучений и вынужденной бездеятельности, когда люди слабее, а хищники — голоднее обычного («Рамадан» еще и «пора зверей»). В своем очерке о сезонной неустойчивости эскимосских сообществ Марсель Мосс противопоставляет изобильную, «безбожную» летнюю жизнь в шат-

рах той голодной, «духовной» и эмоционально богатой деятельности, которая разворачивается в зимних поселениях в иглу. С другой стороны, Колин Тёрнбулл рассказывает, что пигмеи мбути из Экваториальной Гвинеи проводят большую часть года, скитаясь по дождевым лесам в условиях гарантированного благополучия. Однако и они короткое время живут оседло, возводя в ритуал стадию скудости (и оседлости) там, где подлинной нужды не существует.

Иногда мне казалось, что можно выдвинуть гипотезу о том, что оседлость — а следовательно, и цивилизация — это «тощий сезон, использованный с наибольшей выгодой».

* * *

Гонконг

Падди Буз рассказывает о том, как повстречал на улицах провинциального китайского городка великого учителя-даоса. На нем были синие одеяния и высокая шапка. Вместе со своим молодым учеником он исходил вдоль и поперек весь Китай.

— Но что же вы делали в годы культурной революции? — спросил его Падди.

— Гулял по горам Кунь-Лунь.

* * *

Как-то раз, пока мы с Аркадием ехали куда-то в машине, я вспомнил то место из «Древней Руси» Георгия Вернадского, где описывается, как во время набегов кочевников славяне, жители деревень, залезали в болото и дышали через тростинки, дожидаясь, когда затихнет топот копыт.

— Приезжай познакомиться с моим отцом, — сказал мне Аркадий. — Они с товарищами делали то же самое, когда по их деревне проезжали немецкие танки.

* * *

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum[102]. Хрестоматийная строка Вергилия, описывающая топот коней, скачущих по равнине, имеет и персидский аналог – сообщение человека, пережившего нашествие монголов на Бухару: *«Amdand u khandand u sokhtand u kushtand u burdand u raftand»* («Пришли, подкопали,

[102] Примечания: 102

Глухо копыта коней колотят по рыхлому полю (Энеида, VIII, 596. Перевод С. Ошерова).

сожгли, схватили добычу и удалились»).

В «Истории завоевателя мира» Джувейни говорит, что все написанное им и весь ужас того времени заключены в этой единственной строке.

Из «Книги Марко Поло» Генри Юла, I, 233

* * *

Пеший человек – и не человек вовсе.

Техасский ковбой

* * *

О жестокости кочевников:

Нет у меня мельницы с ивами,
Есть у меня конь да кнут,
Я убью тебя и ускачу.

Туркмен Йомут

* * *

В Новгородской летописи за 1233 год есть запись о том, как из Татарии явилась ворожея и с

нею двое мужчин, которые потребовали десятину со всего: «людей, князей, коней, сокровищ, всего десятину».

Русские князья отказались платить — и началось монгольское нашествие.

* * *

Ленинград

Пикник в кабинете профессора археологии: икра, черный хлеб, ломти копченой осетрины, лук, редиска и бутылка «Столичной» — на двоих.

Почти все утро я обсуждал с ним его взгляды на механизм кочевнических нашествий. Тойнби придерживался теории, что период засухи, наступавший в степях Центральной Азии, заставлял племя сняться с привычных пастбищ и тем самым вызывал эффект домино, так что волны переселений докатывались до Европы и до Китая.

Однако меня поражало, что кочевники, по всей видимости, совершали набеги не в пору нужды, а в пору *изобилия* — максимального роста, когда трава всего зеленее и скотоводы позволяли своим стадам умножаться сверх необходимого.

Что касается профессора, то *его* кочевники, по-

хоже, перемещались аккуратными, стройными, послушными кругами, не беспокоя соседей и не нарушая нынешних границ социалистических республик.

Потом, после еще нескольких стопок водки, он заключил меня в братские панъевропейские объятия и, растянув глаза в узкие щелки, спросил:

— Мы же терпеть их не можем, верно?

— Говорите за себя, — ответил я.

* * *

Le Desert est monotheiste[103]. Этот афоризм Рена-на подразумевает, что безжизненный горизонт и слепящее небо должны очищать разум от всего постороннего, позволяя ему сосредоточиться на Высшем Божестве. Но ведь жизнь в пустыне — совсем другая!

Чтобы выжить, обитатель пустыни — будь он туарег или австралийский абориген — должен уметь безошибочно ориентироваться. Должен непрерывно расшифровывать, определять, сопоставлять тысячу различных знаков — от следов жука-навозника до узора песчинок на поверхности дюны, чтобы понимать, где находится он

---

[103] Примечания: 103

Пустыня монотеистична *(фр.)*.

сам, где находятся другие, где выпадал дождь, где удастся поесть в следующий раз, будут ли ягоды на растении Y, если растение X сейчас цветет, и так далее.

Парадокс монотеистических религий состоит в том, что, хотя они и зародились в пустыне, сами народы пустыни выказывают высокомерное безразличие к Всевышнему. «Мы отправимся к Богу и поклонимся Ему, — заявил Пэлгрейву[104] один бедуин в 1860-х годах, — и если Он окажется гостеприимен, то останемся с Ним; если же нет, сядем на коней и умчимся прочь».

Мухаммед говорил: «Не может стать пророком человек, который прежде не был пастухом». Впрочем, он был вынужден признать, что арабы, живущие в пустыне, «самый закоснелый в вероломстве и лицемерии народ».

До недавних пор бедуину, кочевавшему вблизи Мекки, и в голову не приходило, что стоит хотя бы раз в жизни обойти мусульманские святыни. Однако хадж, «священное путешествие», сам по себе становился ритуальным перемещением: его смысл заключался в том, чтобы оторвать людей

---

[104] Примечания: 104
Уильям Пэлгрейв (1821–1888) — английский востоковед.

от их грешных жилищ и восстановить, пусть на время, равенство всех перед лицом Бога.

Паломник во время хаджа заново обретал первичное состояние человека, а если он умирал, совершая хадж, то как мученик отправлялся прямиком в рай. Точно так же выражение *иль-рах,* «путь», вначале служило техническим термином и применялось к «дороге», или «пути переселения», и лишь потом было подхвачено мистиками и стало обозначать «путь к Богу».

Это понятие имеет соответствие в центральноавстралийских языках, в которых выражение *чурна джугурба* означает «отпечатки следов Предка» и «Путь Закона».

Похоже, где-то в самых глубинах человеческого сознания всегда существовала связь между «нахождением пути» и «законом».

* * *

Для араба-бедуина ад — солнечное небо. Солнце — крепкая, костлявая старуха, скаредная и ревнующая к жизни. Она иссушает пастбища и опаляет кожу людей.

Луна же, напротив, гибкий и полный сил юноша, который охраняет сон кочевника, со-

провождает его в ночных переходах, приносит дождь и увлажняет растения росой. К несчастью, он женат на старухе-солнце. Проведя с ней одну-единственную ночь, он начинает чахнуть и таять. Ему требуется целый месяц, чтобы восстановить силы.

* * *

Норвежский антрополог Фредрик Барт пишет о том, как в 1930-е годы Реза-шах запретил одному из иранских кочевых племен, бассери, переселяться с зимних пастбищ.

В 1941 году шах был низложен, и бассери вновь были вольны совершать путешествие длиной в 450 километров к горам Загрос. Однако скота у них уже не осталось: тонкорунные овцы издохли, оставаясь на южных равнинах. Но все-таки бассери пустились в путь.

Они вновь сделались кочевниками, а значит, снова стали людьми. «Для них наивысший смысл заключался в свободе переселения, а не в обстоятельствах, которые делают это переселение экономически целесообразным», — писал Барт.

Не обнаружив у бассери ритуалов — хоть сколько-нибудь укорененных верований, — Барт

заключил, что само Странствие и было для них ритуалом, что восхождение к летним высокогорным пастбищам и было Путем, а установка и разборка шатров — молитвами куда более осмысленными, чем те, что звучат в мечетях.

* * *

Набеги – наше земледелие.

Бедуинская поговорка

* * *

Я против брата,

Мы с братом против двоюродного брата,

Я, брат и двоюродный брат против соседей,

Все мы против чужестранца.

Бедуинская поговорка

* * *

В 1928 году арабист Алоис Музиль (брат Роберта) подсчитал, что у бедуинов племени руала четверо из пяти мужчин погибают в войнах, в

междоусобных распрях или от полученных ран.

С другой стороны, охотники, которые совершенствуются в искусстве довольствоваться малым, намеренно ограничивают свою численность, и потому их жизнь и земля находятся в куда большей безопасности. Спенсер и Гиллен писали о туземце Центральной Австралии, что, хоть он изредка и может участвовать в ссорах и стычках, сама идея присвоить кусок чужой территории даже не приходит ему в голову: такое отношение можно объяснить «верой в то, что его предки, жившие во Времена Сновидений *(Алчеринга)*, занимали в точности тот же участок земли, что занимает теперь он сам».

* * *

Пастушья этика в Австралии.

Кто-то в Министерстве по делам аборигенов, кажется сам министр, заметил, что на Северной Территории «скот, принадлежащий иностранцам», имеет больше прав, чем австралийские граждане.

Пастушья этика в Древней Ирландии.

С тех пор как я взял у руки копье, не было и дня, чтобы я не убивал по человеку из Коннаута.

Коналл Кернах, ольстерский скотовод

* * *

Любое кочевое племя — это военная машина в зародыше, оно всегда готово если не напасть на других кочевников, то устроить набег на город или припугнуть его жителей.

И потому оседлые жители исстари набирали из кочевников воинов-наемников: для отражения угроз со стороны кочевников (так казаки бились за царя против татар) или — если кочевников поблизости не было — для войны против других государств.

В Древней Месопотамии из таких наемников сложилась каста военной аристократии, а затем из нее вышли правители государства. Еще можно выдвинуть такую гипотезу: государство как таковое возникло в результате «химического» слияния скотовода с земледельцем, которое произошло, как только выяснилось, что приемы принуждения скота к повиновению можно при-

менять и к инертным крестьянским массам.

Первые в мире диктаторы, помимо того что были «владыками орошающих вод», называли себя «пастырями народов». В самом деле, во всем мире есть слова, одинаково применимые к рабам и одомашненной скотине. Массы можно пригонять, доить, ограждать (чтобы защитить их от враждебных людей-волков) и, когда настает необходимость, вести на бойню.

Таким образом, Город — это овчарня, сооруженная в Саду и вытеснившая его.

Возможно еще одно объяснение (которое вполне применимо к игровой теории войн), а именно, что армия, любая профессиональная армия или военное ведомство являются, сами того не ведая, племенем суррогатных кочевников, выросшим уже внутри государства. Оно кормится подачками государства, и без него государство бы рухнуло. Однако неугомонность этих кочевников в конечном счете для государства пагубна, потому что они постоянно, как оводы, подстрекают его к действиям.

* * *

В «Трудах и днях» Гесиода представлена метафорическая модель постепенного вырождения человечества, соотнесенного с этапами технического прогресса. Человеческие поколения от золотого века переходят к серебряному, бронзовому и железному. Бронзовый и железный века были реальностью, подкрепленной археологией. Гесиод знал о них не понаслышке; они завершились небывалым всплеском войн и насилия.

Он явно не мог ничего знать о палеолите и неолите, так что его золотое и серебряное поколения — понятия символические. Выстроенные в порядке, обратном качествам металлов, эти поколения, сменяющие друг друга, представляют процесс вырождения: от непортящегося — к запятнанному, разъеденному и ржавому.

Люди золотого поколения, рассказывает Гесиод, жили в ту пору, когда небесами правил Хронос, или Природное Время[105]. Земля сама дарила изобилие. Они жили счастливо и беззаботно,

[105] Примечания: 105

На самом деле у Гесиода речь идет не о Хроносе, а о Кроне: «Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба» (строка 111, перевод В. Вересаева).

беспечно скитаясь по своим землям, не имея ни добра, ни домов и не ведя войн. Ели они сообща, и сотрапезниками их становились бессмертные боги. Умирали же, не чувствуя дряхлости в руках и ногах; их словно окутывал сон.

В христианскую эпоху Ориген («Против Цельса», IV, 79), опираясь на текст Гесиода, утверждал, что на заре человеческой истории люди пребывали под защитой сверхъестественных сил, а потому еще не было разделения между божественным и человеческим естеством; или, если несколько переиначить это высказывание, не было противоречия между инстинктами человека и его разумом.

* * *

> [В Ливии], в стране диких зверей, живут гараманты, которые сторонятся людей и избегают всякого общения. У них нет никакого оружия ни для нападения, ни для защиты.

Геродот, IV, 174[106]

---

[106] Примечания: 106
Перевод Г. Стратановского.

* * *

Ранние христиане полагали, что, вернувшись в пустыню, они смогут взять на себя муки Христа времен скитания.

> «Они бродят по пустыне, будто дикие звери. Подобно птицам, они носятся по холмам. Они добывают себе корм, как животные. Их путь каждый день неизменен и предсказуем, ибо они питаются кореньями, естественными порождениями земли».
>
> ***Из «Луга духовного» Св. Иоанна Мосха, описание отшельников, прозванных восками*[107]**

* * *

В мифах любого народа сохранена память о невинности первых людей: Адама в райском саду, миролюбивых гиперборейцев, обитателей Уттаракуру, «людей безупречной добродетели» — даосов. Пессимисты часто усматривают в расска-

---

[107] Примечания: 107
Воски (от *греч.* βόσκειν — «пастись») — «пасущиеся в лугах и рощах».

зах о золотом веке привычку отворачиваться от сегодняшних бед и вздыхать о счастливых днях юности. Однако в описаниях Гесиода нет ничего такого, что нарушало бы правдоподобие.

У реальных или полувымышленных племен, помещаемых на окраины известных земель на древних географических картах, — у всех этих атавантов, фенни, парросситов или пляшущих сперматофагов — сегодня имеются «двойники»: бушмены, шошоны, эскимосы и аборигены.

Характерная примета людей золотого века: в сказаниях всегда говорится, что эти люди кочевали.

На побережье Мавритании, недалеко от того места, где потерпела крушение «Медуза» (с картины Жерико «Плот Медузы»), я увидел хлипкие пристанища имрагенов, рыбаков из особой касты, которые ловят неводами кефаль и пользуются — с весельем и изяществом — тем же статусом парий, что и немади.

Похожие рыбацкие хижины стояли, должно быть, на берегах Галилейского моря: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков»[108].

---

[108] Примечания: 108
Мф. 4: 19.

Другой взгляд на золотой век — это взгляд «антипримитивистов»: они считают, что человек, сделавшись охотником, начал охотиться на себе подобных и истреблять их.

Это очень удобная теория, если: а) ты сам хочешь убивать других; б) ты хочешь принять драконовские меры, чтобы помешать тяге к убийствам выйти из-под контроля.

В обоих случаях дикарь представляется существом низким и злобным.

Ортега-и-Гассет в «Размышлениях об охоте» замечает, что охота (в отличие от насилия) никогда не бывает обоюдной: охотник охотится, а дичь пытается убежать. Леопард, терзая антилопу, свирепствует и злится на нее ничуть не больше, чем антилопа — на траву, которую жует. Во многих рассказах об охотниках специально подчеркивается, что само умерщвление — это миг сострадания и благоговения: благодарности животному, которое согласилось умереть.

Один буши в пабе в Глен-Армонде обернулся ко мне и спросил:

— Знаешь, как мы, черные, охотимся?

— Нет.

— Чутьем.

31

В одной из ранних записных книжек я сделал аккуратные выписки из «Дневника» сэра Джорджа Грея, который тот вел в 1830-е годы. Грей был, пожалуй, первым белым исследователем, который понял, что, несмотря на временные неудобства, аборигенам «живется хорошо».

Лучшее место в его «Дневнике» — это описание чернокожего, который напрягает все телесные и умственные силы, чтобы выследить и убить кенгуру.

Последний абзац закручивается в коду:

> «…Его грациозные движения, осмотрительное приближение, покой и отдохновение, которыми пронизан весь его облик, когда добыча встревожена, – от всего этого невольно трепещет воображение, и так и хочется прошептать себе самому: „Как красиво! Как же это красиво!“»

Я насильно убедил себя в том, что эта «красота» должна была дожить до наших дней — хотя бы

частично. И попросил Рольфа отыскать человека, который взял бы меня на охоту.

Вот уже пару недель я сидел без дела, и меня стало одолевать то отвращение к словам, которое обычно возникает из-за недостатка физической активности.

— Лучше всего тебе пойти с Алексом Тджангапати, — сказал мне Рольф. — Он немного говорит по-английски.

Алекс оказался стариком с зачесанными кверху и стянутыми охряным жгутом волосами. На нем было бархатное темно-фиолетовое женское пальто с плечиками. Вряд ли под этим пальто было надето еще что-нибудь. Каждый день Алекс уходил бродить по бушу, а по вечерам шатался по магазину, не расставаясь со своими охотничьими копьями, и глазел на остальных обитателей Каллена как на жалкий сброд.

Когда Рольф попросил Алекса взять с собой на охоту меня, тот состроил обиженно-недовольную мину и пошел прочь.

— Ну вот и договорились, — сказал я.

— Ничего! — утешил меня Рольф. — Найдем кого-нибудь еще.

На следующий день около полудня в Каллен приехал на грузовике Коротышка Джонс. Он

первым сумел проехать через разлив. Правда, по пути, уже на нашей стороне от Попанджи, он увяз на целые сутки, пока его не вытащили ребята из «Магеллан Майнинг».

С ним приехала девушка — подруга Дона, завхоза.

— Хорошая девчонка, — сказал Коротышка, подмигнув.

У нее были стриженые волосы и грязное белое платье. Дон, похоже, очень обрадовался, увидев ее, но она обдала его холодным оценивающим взглядом, а потом продолжала улыбаться Коротышке.

— Я совсем не жалею, что мы завязли, — сказала она.

Мы с Доном помогли выгрузить коробки из грузовика и почти закончили работу, когда вышел Рольф.

— Тебе все еще хочется на охоту? — спросил он меня.

— Да.

— Заплатишь за полный бак бензина?

— Если надо.

— Я уже договорился.

— С кем?

— С Донки-Донком, — сказал он. — Хороший

мужик!

— А когда?

— Сейчас, — сказал он. — Так что ступай обуваться. И шляпу не забудь!

Я только шел к трейлеру, когда сзади, скрипя и дребезжа, подъехал старенький раздолбанный «форд»-седан. За рулем сидел бородатый абориген с толстым брюхом.

— Это ты на охоту собрался? — ухмыльнулся он.

— С тобой?

— Ну! — ответил Донки-Донк.

Мы заехали купить бензина, но, заплатив за бак, я сразу же понял, что играю в этой экспедиции роль не «клиента», а «раба».

Донки-Донк заставил меня купить еще масла, пуль, шоколадок, сигарет. Он хотел, чтобы я купил ему новую покрышку. Велел мне подержать для него сигарету, пока сам возился с мотором.

Мы уже собирались трогаться, когда к нам подошел молодой человек по имени Уокер. Уокер был бывалым путешественником. Изъездил вдоль и поперек всю Австралию, очень привередливо подыскивая себе жену. Еще он провел некоторое

время в Амстердаме, при YMCA[109]. Он был настоящий красавчик — с божественным профилем и очень темной кожей. Волосы и борода напоминали золотую канитель.

— Поедешь с нами на охоту? — крикнул ему Донки-Донк.

— Конечно, — сказал Уокер и уселся сзади.

Мы поехали на поиски человека, у которого было ружье. Им оказался очередной невероятно привлекательный молодой человек с беззаботной улыбкой и волосами до плеч. Он сидел возле шалаша из валежника. На его джинсах красной ручкой было множество раз написано имя: «Нерон».

Женой Нерона, как выяснилось, была та самая великанша, которую я уже видел за покером. Она была на добрую голову выше мужа и раза в четыре шире. Она сидела у очага за своим шалашом и грызла обугленный кенгуровый окорок. Когда Нерон сел в машину, за ним побежал их маленький сынишка и забрался в салон через открытое окно. Мать погналась за ним, размахивая дубинкой из кенгуровой кости. Выволокла мальчишку за волосы и плюнула ему в лицо.

---

[109] Примечания: 109

Young Men's Christian Association — Ассоциация молодых христиан *(англ.)*.

Через две минуты после того, как мы тронулись, Нерон спросил:

— Спички взяли?

Донки-Донк и Уокер покачали головой. Мы вернулись за спичками.

— Костер разводить, — ухмыльнулся Нерон. — Если застрянем.

Мы поехали на юг между горами Каллен и Либлер и спустились к шоссе Ган-Бэррел. После дождя на кустарниках распускались желтые цветочки. Дорога возникала и пропадала в мираже, а над равниной будто плыла цепь каменистых холмов.

Я показал на красноватый выход породы слева.

— Что там? — спросил я.

— Старик, — радостно отозвался Уокер.

— А откуда этот Старик идет?

— Издалека. Может, из Аранды. Может, из Сиднея.

— А куда?

— В Порт-Хедленд, — ответил он уверенно.

Порт-Хедленд был железорудным портом на западном побережье Австралии, примерно в тысяче двухстах километрах к западу от Каллена, за пустыней Гибсона.

— А что будет с этим Стариком, — спросил я, — когда он доберется до моря?

— Все, — ответил Уокер. — Там ему конец.

Потом я указал на низкий плосковерхий холм — Рольф уверял меня, что это куча дерьма, которую наложил Человек-Перенти во Времена Сновидений.

— А это что, вон там?

Уокер нервно затеребил бороду.

— Я еще слишком молод, — сказал он застенчиво.

Это означало, что он еще не проходил посвящения в ту песню, где говорилось об этом холме.

— Спроси у Нерона, — сказал он. — Нерон знает.

Нерон хихикнул и помотал головой.

— Это Туалет, — сказал он. — Дерьмо.

Донки-Донк рассмеялся так, что даже машину раскачало.

Я повернулся к тем двоим на заднем сиденье.

— Дерьмо Перенти? — спросил я.

— Нет-нет, — глупо хихикнул Нерон. — Тут Двое.

— А откуда пришли эти Двое?

— Ниоткуда не пришли. — Он хлопнул в ладоши. — Занимаются там этим делом.

Нерон сделал жест большим и указательным пальцами, чтобы стало понятно, чем именно заняты Двое.

— Свояки, — добавил он.

Уокер нахмурился, сложил губы трубочкой и плотно сдвинул колени.

— Я тебе не верю, — заявил я Нерону. — Ты меня дурачишь.

Тот снова залился неудержимым смехом.

Они с Донки-Донком еще фыркали от смеха, когда примерно через километр мы остановились у невысоких скал. Все трое выпрыгнули из машины.

— Пошли! — позвал меня Нерон. — Тут вода.

Между скалами оказалось три озерца со стоячей водой. В них извивались личинки комаров.

— Солитеры, — сказал Нерон.

— Это не солитеры, — сказал я. — Это личинки комаров.

— Динго, — сказал Донки-Донк.

Он указывал на самую крупную скалу, которая действительно походила на лежащую собаку. А скалы поменьше, сказал он, это ее щенки.

Несколько минут они плескались в воде. Потом мы съехали с дороги и поехали на запад по равнине.

Надо заметить, Донки-Донк отлично вел машину. Он заставлял ее чуть ли не плясать вокруг колючек. Всякий раз безошибочно угадывал, где нужно объехать куст, а где можно проехаться прямо по нему. Семенные коробочки так и сыпались на ветровое стекло.

Нерон выставил дуло винтовки в окно.

— Следы индейки, — прошептал он.

Донки-Донк притормозил, индейка (так здесь называют местную дрофу) высунула из-за стеблей травы свою пеструю шею и бросилась наутек. Нерон выстрелил, и птица свалилась, мелькнув взметнувшимися перьями.

— Меткий выстрел! — заметил я.

— Еще одна! — закричал Уокер, и в чащу кустов пробежала вторая дрофа.

Нерон снова выстрелил и промазал. Когда он подбежал к месту, где была застрелена первая дрофа, та тоже успела улизнуть.

— Паршивые индюшки, — сплюнул Нерон.

Мы поехали дальше на запад, и вскоре впереди показалась самка кенгуру с детенышем. Донки-Донк нажал ногой на педаль газа, и машина с глухим стуком запрыгала по кочкам. Кенгуру скакали впереди быстрее нас. Потом кочки и кусты закончились, мы очутились на ровной, выжжен-

ной местности — и тут уже преимущество было за нами. Мы нагнали кенгуру, врезались самке в бедро (детеныш ускакал куда-то в сторону), и она, сделав кувырок назад, перелетела через крышу автомобиля и шлепнулась на землю (о, только бы убитой!) в облаке пыли и пепла.

Мы выскочили из машины. Нерон выстрелил в облако пыли, но кенгуру уже вскочила и снова побежала, пошатываясь и хромая, однако по-прежнему развивая бешеную скорость. Донки-Донк, оставшийся за рулем, снова пытался догнать ее.

Машина врезалась в кенгуру второй раз, та плюхнулась на капот, спрыгнула и помчалась в одну с нами сторону. Нерон пару раз выстрелил, но промазал — пули просвистели куда-то в кусты, сбоку от меня, а кенгуру зигзагом понеслась обратно. Тогда Донки-Донк снова сорвался с места и врезался в нее в третий раз с чудовищным звуком. Теперь она не шевелилась.

Он распахнул дверцу автомобиля и гаечным ключом нанес ей удар в основание черепа — но тут кенгуру снова вскочила на ноги, так что ему пришлось хватать ее за хвост. Когда мы втроем подбежали, кенгуру уже улепетывала, и Донки-Донк висел на ней, будто спортсмен, тянущий

канат. Наконец Нерон прострелил ей голову, и все было кончено.

На лице Уокера читалось недовольство и разочарование.

— Плохая охота, — сказал он.

— Мне тоже не понравилось, — согласился я.

Нерон разглядывал убитую кенгуру. Из ноздрей на рыжую землю стекал ручеек крови.

— Старая, — поморщился он. — Несъедобная.

— Что ты с ней будешь делать?

— Здесь оставлю, — сказал он. — Может, хвост отрежу. У тебя нож есть?

— Нет, — сказал я.

Нерон пошарил в машине и отыскал крышку от старой жестяной банки. Орудуя ею как лезвием, он попытался отпилить хвост, но позвонки не поддавались.

Задняя левая шина спустила. Донки-Донк велел мне достать домкрат и поменять колесо. Домкрат был сильно погнут, и, стоило мне несколько раз надавить, что-то щелкнуло, и шпиндель полетел на землю.

— Ну вот, ты его сломал, — ухмыльнулся Донки-Донк.

— Что будем делать? — спросил я.

— Пешком топать, — сказал Нерон, хихикнув.

— Сколько?

— Дня два, наверно.

— Может, костер развести? — предложил я.

— Не-ет! — проворчал Донки-Донк. — Поднимай ее! Поднимай, мужик!

Мы с Уокером взялись за бампер, изо всех сил уперлись в него спиной и попытались приподнять, а Донки-Донк стоял с бревном наготове, чтобы подсунуть его под передачу.

Ничего не вышло.

— Давай ты тоже! — крикнул я Нерону. — Помоги нам!

Тот сложил пальцы и прошелся ими по одному из своих изящных бицепсов, хлопая ресницами и хихикая.

— Нету сил! — сказал он почти беззвучно.

Донки-Донк вручил мне палку-копалку и велел выкопать яму под шиной. Через полчаса яма была уже достаточно глубокой, можно было менять колесо. Пока я работал, все трое только глядели. Я выдохся и взмок. Потом мы принялись раскачивать машину и наконец сдвинули ее с места.

Оставив кенгуру на съеденье воронью, мы поехали обратно в Каллен.

— Завтра хочешь опять на охоту? — спросил меня Донки-Донк.

— Нет, — сказал я.

* * *

Лондон, 1970

Я слушал публичную лекцию Артура Кёстлера, рассуждавшего на тему безумия человека как биологического вида. Он утверждал, что в результате неадекватного взаимодействия между двумя зонами мозга — разумным неокортексом и инстинктивным гипоталамусом — человек каким-то образом развил в себе «уникальную бредовую наклонность к убийству», которая неизбежно побуждает его истреблять и истязать себе подобных и вести бесконечные войны.

Наши доисторические предки, говорил он, не страдали от последствий перенаселения. Они не испытывали недостатка в территории. Не жили в больших городах… И все-таки убивали друг друга.

Потом он заговорил о том, что после Хиросимы «само человеческое сознание» полностью перестроилось: впервые за всю историю своего существования человек столкнулся с мыслью о том, что он может быть уничтожен как вид.

Эта эсхатологическая болтовня изрядно меня

разозлила. Когда пришло время для вопросов из зала, я поднял руку.

Перед наступлением тысячного года нашей эры, сказал я, всю Европу охватил страх близкого и неминуемого конца света. Так в чем же разница между сознанием средневековых людей и нашим?

Кёстлер смерил меня презрительным взглядом и, к одобрению слушателей, изрек:

— В том, что светопреставление — это выдумка, а водородная бомба — реальность.

* * *

Душеполезное чтение для конца второго тысячелетия — книга «L'an mil»[110] Анри Фосийона.

В главе «Проблема страхов» Фосийон рассказывает, что ровно тысячу лет назад западный человек был парализован похожими пугающими идеями, распространением которых занимались тогдашние фанатики, считавшиеся государственными мужами. Латинская поговорка *Mundus senescit* («Мир стареет») свидетельствовала об атмосфере тягчайшего интеллектуального пессимизма, а также отражала религиозную

---

[110] Примечания: 110
«1000-й год» *(фр.)*.

уверенность в том, что мир — живой организм и, достигнув вершины зрелости, неизбежно обречен погибнуть.

Страх перед концом света принимал три формы.

1. Бог уничтожит свое творение, окутав его огнем и серой.
2. С Востока примчатся легионы сатаны.
3. Род человеческий выкосят повальные болезни.

И все же эти страхи удалось превозмочь. 1000-й год как пришел, так и миновал, и укоренилось новое общество Средневековья. Как замечательно написал епископ Глабер: «Через три года после 1000-го земля покрылась белоснежным убором из церквей».

* * *

За ужином в гостях, Лондон, 1971

В гости пришел очень высокий американец. Он был в Лондоне проездом, направляясь в Вашингтон после командировки во Вьетнам, где собирал информацию. За последнюю неделю он побывал на Гавайях, в Гуаме, Токио и Сайгоне.

Пролетал над Ханоем — в бомбардировщике, осуществлявшем налет. Совещался с натовским штабным начальством. А сегодня у него выдался свободный вечер.

Он был человеком невинным. За салатом рассуждал о дефолиантах. Я никогда не забуду, как у него по губам растекался малиновый сок, а изо рта вылетала чеканная дробь слов: «Северные вьетнамцы уже потеряли от трети до половины поколения молодых боеспособных мужчин. Такие жертвы ни одна нация не может приносить бесконечно, а потому мы предвидим нашу военную победу во Вьетнаме уже в семьдесят втором году...»

* * *

Из книги Сунь-цзы «Искусство войны»:

«На загнанного в угол не дави».

Принц Фу Чай говорил: «Дикие звери, будучи загнанными в угол, дерутся отчаянно». Сколь же это верно и о людях! Когда им известно, что выхода нет, они бьются насмерть.

* * *

Штирия, Австрия, 1974

Перед визитом к Лоренцу я путешествовал по горам Роттенманнер-Тауэрн с рюкзаком, набитым его книгами. Дни стояли безоблачные. Ночевал я в альпийских хижинах, ужинал сосисками с пивом. Горные склоны сплошь покрывали цветы: горечавки и эдельвейсы, водосборы и лилии. Солнечный свет заливал иссиня-изумрудные сосновые леса, на осыпях кое-где еще виднелись пласты снега. На лугах всюду паслись кроткие бурые коровы, звяканье их бубенцов эхом разносилось над равнинами — или то были отголоски дальнего звона церковных колоколов…

Ожившая строка Гёльдерлина: «Виден мне город вдали, он мерцает, как панцирь железный…»[111]

Путешественники: мужчины и женщины в красно-белых рубашках и кожаных штанах. Все, проходя мимо, кричали: «Grüss Gott!»[112] Один заскорузлый коротышка принял меня за немца и

---

[111] Примечания: 111
Из стихотворения «Досуг». Перевод Е. Садовского.

[112] Примечания: 112
«Здравствуйте!» *(юж. — нем.)*

с плотоядной гримасой торговца порнографией откинул лацкан пиджака, чтобы показать мне приколотые изнутри свастики.

* * *

Перечитывая Лоренца, я понял, почему благоразумные люди в ужасе вскидывают руки, дружно отрицают, что существует такая вещь, как человеческая природа, и утверждают, будто всему необходимо учиться заново.

Они чувствуют, что «генетический детерминизм» представляет угрозу для всех либеральных, гуманных и демократических ценностей, за которые все еще крепко держится западный мир. Понимают они и то, что инстинкты нельзя *выбирать*: нужно принимать их все сразу. Нельзя пустить в пантеон Венеру и захлопнуть дверь перед носом у Марса. А приняв «борьбу», «территориальное поведение» и «порядок старшинства», вы вновь увязнете в реакционном болоте XIX века.

Что особенно привлекло в труде «Об агрессии» идеологов холодной войны — так это выдвинутое Лоренцем понятие ритуального сражения.

Сверхдержавы по определению *должны* сражаться, потому что это стремление заложено в

их природе; однако можно выбрать местом для своих стычек какую-нибудь бедную, маленькую, желательно беззащитную страну — точно так же, как двое оленей-самцов выберут для драки клочок ничейной территории.

Я слышал, что министр обороны США всегда держит у изголовья эту книгу, испещренную пометками.

Люди суть порождения своих обстоятельств, и все, что они говорят, думают или делают, обусловлено обучением. Детям наносят глубокие травмы происшествия, случившиеся в раннем детстве, народам — переломные моменты в их истории. Но может ли означать такое «обусловливание», что не существует абсолютных мерок, которые выходили бы за рамки исторического прошлого? Что не существует добра и зла, независимых от национальной принадлежности и вероисповедания?

Неужели «дар языков» незаметно истребил в человеке инстинкт? Иными словами, неужели человек — и впрямь вошедшая в поговорку «чистая доска» бихевиористов, бесконечно податливая и готовая приспособиться к чему угодно?

Если это так, тогда все великие учителя впустую мололи языками.

Самое «неудобное» место в книге «Об агрессии», из-за которого Лоренца освистывали и обзывали нацистом, — это та часть книги, где он описывает «фиксированные формы» поведения, которые можно наблюдать у молодых солдат, когда в них пробуждается боевая ярость: голова высоко поднята, подбородок выставлен вперед, руки колесом, по давно несуществующей шерсти вдоль позвоночника пробегает дрожь… «Они высоко воспаряют над заботами повседневной жизни… Люди наслаждаются чувством своей непогрешимой правоты, даже когда совершают жестокие зверства…»

И все-таки… Мать, в неистовстве бросающаяся на защиту своего ребенка, прислушивается — будем надеяться! — к голосу своего инстинкта, а не к советам какой-нибудь брошюры, адресованной молодым матерям. А если мы допускаем существование боевого поведения у молодых женщин, то почему оно должно отсутствовать у молодых мужчин?

Инстинкты — это Паскалевы «доводы сердца, о которых не ведает разум». А верить в доводы сердца для реакционера — совсем неутешительно, даже огорчительно!

Без религии, по знаменитому определению

Достоевского, «все дозволено». Но, не будь инстинкта, эта вседозволенность царила бы *точно так же.*

Лишившись инстинкта, мир превратился бы в куда более беспощадное и опасное место, чем все, что описывают авторы, оперирующие понятием «агрессия». Это было бы лимбоподобное царство безразличия, где все перекрывалось бы чем-нибудь еще: добро могло бы становиться злом; смысл — бессмыслицей; правда — ложью; вязание спицами было бы занятием ничуть не более нравственным, чем детоубийство; и в таком мире человек, которому промывают мозги, легко верил бы, говорил бы и делал все то, что в данный момент оказывалось бы угодно властям.

Мучитель может отрезать человеку нос; но если у калеки родится ребенок, то родится он с носом. То же самое происходит и с инстинктом. Тот факт, что суть инстинкта неподвластна изменениям и передается по наследству, означает, что промывщики мозгов должны начинать свою обработку сначала, заново оболванивая каждое новое поколение, каждую новую личность, — а это, в конечном счете, занятие весьма тоскливое.

Древние греки считали, что человеческому

поведению положены некие пределы — не для того, как указывал Камю, чтобы их невозможно было преступить; просто чтобы они существовали, пусть даже выбранные произвольно, и чтобы того, кто проявит спесь, нарушив их, ждал сокрушительный удар Рока!

* * *

Лоренц отстаивает мнение, что в жизни любого животного наступают поворотные моменты — «рубиконы» инстинкта, — когда оно будто слышит зов, повелевающий ему вести себя так, а не иначе. Оно может не прислушаться к этому призыву: например, если «естественная» мишень его побуждений отсутствует, то животное просто «перенаправит» их на подменный объект и разовьет в себе отклонение от нормы.

* * *

В любой мифологии есть свой Герой и его Дорога Испытаний: это юноша, который слышит зов. Он отправляется в далекую страну, жителей которой грозится сожрать великан или чудовище. Вступает в сверхчеловеческую битву, доказывая свое мужество, побеждает Силы Тьмы и получает

награду: жену, сокровища, землю, славу.

Всем этим он наслаждается до самой старости, а потом тучи снова сгущаются. Он вновь ощущает беспокойство. Опять ему не сидится на месте: как Беовульфу, который уходит, чтобы погибнуть в сражении, как Одиссею, которому, по предсказанию слепого Тиресия, предстоит отправиться в загадочную даль и бесследно сгинуть.

* * *

Катарсис: по-гречески это слово значит «очищение». По другой же, сомнительной, этимологической гипотезе, оно восходит к *katheiro* — «избавлять землю от чудовищ».

* * *

Миф предполагает, поступок располагает. Героический цикл являет собой неизменный образец идеального поведения для героя-мужчины. (Конечно, можно было бы выработать такое же образцовое поведение и для героини.) Каждый «раздел» мифа, как звено в поведенческой цепочке, соответствует одному из классических веков человечества. Каждый век начинается с нового препятствия, нового испытания. Статус героя

повышается в зависимости от того, насколько успешно он проходит цикл этих испытаний, — во всяком случае, в рамках мифа.

Большинство из нас, отнюдь не будучи героями, попусту растрачивают время отмеренной жизни, подают реплики невпопад и в конце концов запутываются в собственных чувствах. С героем ничего подобного происходить не может. Мы зовем его героем, потому что в положенный час он достойно проходит очередное испытание и «набирает очки».

Однажды я устроил эксперимент, попытавшись наложить жизненный путь Че Гевары, современного героя, на канву эпоса о Беовульфе. В результате после нескольких небольших подгонок сложилась связная картина. Оба героя совершают примерно одинаковый ряд подвигов в одинаковой последовательности: покидают дом, переплывают море, поражают Чудовище (Гренделя — Батиста)[113]; поражают мать чудовища (Владычица Вод — бухта Кочинос). Оба получают награду — жену, славу, сокровища (в случае Че Гевары это жена-кубинка и управление Нацио-

[113] Примечания: 113

Рубен Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар (1901–1973) — кубинский правитель, военный диктатор. — *Примеч. ред.*

нальным банком Кубы), и так далее. И оба в конце концов сложили голову на чужбине: Беовульфа убил Змей, Че Гевару — диктатор Боливии.

Как человек Че Гевара, при всем его внешнем обаянии, был поразительно беспощадной и неприятной личностью. А как герой он ни разу не сделал неверного шага — потому мир и увидел в нем героя.

В трудные мгновения герои слышат «ангельские голоса», подсказывающие, что делать дальше. Пожалуй, вся «Одиссея» — удивительная борьба по перетягиванию каната между Афиной и Посейдоном: Афина нашептывает Одиссею на ухо: «Ты сможешь», а Посейдон ревет: «Не позволю!» Если заменить «ангельский голос» на «инстинкт», можно приблизиться к взглядам мифографов с психологическим уклоном, а именно, что мифы суть дошедшие до нас осколки внутренней жизни древнего человека.

Героический цикл, где бы ни разворачивалось его действие, всегда являет собой историю «приспособленности» в дарвиновском смысле слова: набросок грядущего генетического успеха. Беовульф уходит… Иван уходит… Молодой абориген уходит в Обход… Даже старомодный Дон Кихот

— уходит. Эти *wanderjahre*[114] и схватки с Чудищем суть сказочные варианты табу на инцест: мужчина должен вначале доказать свою «приспособленность», а потом «жениться вдалеке».

На самом деле не так уж важно, являются ли мифы зашифрованными посланиями инстинкта, встроенного в центральную нервную систему, или назидательными рассказами, дошедшими с незапамятных времен. Ясно одно: хладнокровное убийство человека человеком миф одобряет редко (если вообще когда-либо одобряет).

* * *

В древнегерманских воинских братствах, когда юношу учили преодолевать запрет на убийство, он должен был раздеться донага, влезть в горячую, только что содранную медвежью шкуру и довести себя до «зверской» ярости, иными словами, превратиться совершенно буквально в берсерка.

Bearskin («медвежья шкура») и *berserk* — изначально одно и то же слово. Шлемы королевских гвардейцев, стоящих на посту перед Букингем-

---

[114] Примечания: 114
Годы странствий *(нем.)*.

ским дворцом, — реликты того примитивного военного облачения.

* * *

Гомер различает два вида боевого поведения. Одно — *menos* («гнев»), то хладнокровное состояние, в котором Одиссей истребляет женихов. Другое — *lyssa* («бешенство», или «волчья ярость»); это состояние охватывает Гектора на поле боя (Илиада, IX, 237–239). Человек, которым овладела *lyssa*, уже не считается «настоящим», то есть подвластным законам земли и неба.

«Воинствующее боевое поведение» Лоренца, по сути, служит описанием этой *lyssa.*

* * *

Индейцы-сиу – сброд самых жалких, грязных, вшивых, дремучих, вороватых, лживых, подлых, преступных, аморальных, безликих, поедающих потроха СКУНСОВ, каким только дозволял Господь населять землю; об их немедленном и окончательном истреблении должны молиться все ЛЮДИ, за исключением индейских посредников и торговцев.

Из газеты «Topeka Weekly Daily», 1869

* * *

Чужеземец, если он не купец, – враг.

Из древнеанглийского текста

* * *

Средневековое латинское слово *wargus* («изгнанник», или «чужак») также означало волка; таким образом, два эти понятия – о диком звере, которого нужно загонять, и о человеке, с которым нужно обходиться как с диким зверем, – переплетаются очень тесно.

П. Дж. Гамильтон Грирсон. Молчаливое ремесло

* * *

Нуристан, Афганистан, 1970

Деревни Нуристана лепятся под таким головокружительным углом к горным склонам, что улицами служат лестницы из древесины гималайского кедра. У людей там светлые волосы и голубые глаза; они носят с собой боевые топоры из латуни. Ходят в блиновидных шапках, в поперечных подвязках на ногах, с капелькой краски, нанесенной на веки. Александр Македонский принимал их за давно потерянное греческое племя, а немцы века спустя — за племя арийцев.

Наши носильщики — угодливые люди — вечно

жаловались, что бедные ноги не несут их дальше, и бросали завистливые взгляды на наши башмаки.

В четыре часа они захотели, чтобы мы сделали привал возле каких-то хмурых разрушенных домишек, но мы настояли на том, чтобы идти дальше вверх по равнине. Спустя час мы подошли к деревне, окруженной ореховыми деревьями. Крыши домов рыжели абрикосами, выложенными сушиться на солнце, в цветочных лугах играли девочки в крапчатых розовых платьях.

Деревенский голова встретил нас открытой и приветливой улыбкой. Потом к нам присоединился бородатый молодой сатир в венке из виноградных листьев и таволги. Он угостил нас капелькой терпкого белого вина из своей фляги.

— Вот здесь, — сказал я главному носильщику, — мы остановимся.

— Мы здесь не остановимся, — ответил он.

Он выучил английский на пешаварском базаре.

— Остановимся здесь, — настаивал я.

— Эти люди — волки, — сказал носильщик.

— Волки?

— Они — волки.

— А жители вон той деревни? — спросил я,

указав на вторую, унылого вида деревеньку, которая стояла вверх по течению, примерно в миле от этой.

— Они люди, — сказал он.

— А жители следующей деревни, за той? Надо полагать, волки?

— Волки, — кивнул он.

— Что за чушь ты мелешь!

— Это не чушь, сагиб, — возразил носильщик. — Просто одни люди — это люди, а другие — волки.

* * *

Не требуется большого воображения, чтобы предположить, что человек как вид в своем эволюционном прошлом пережил какое-то ужасное испытание; и тот факт, что он столь блестяще из него вышел, уже говорит о масштабе угрозы.

Совсем иное дело — доказать истинность такого предположения. Однако уже двадцать лет назад я подозревал, что слишком много внимания уделяется нашим якобы «братоубийственным» наклонностям и слишком мало — роли хищника в формировании нашего характера и участи.

* * *

Если бы требовалось дать исчерпывающий ответ на вопрос: «Что едят хищники?» – то он был бы очень простым: «То, что могут добыть».

Грифф Юэр. Хищники

* * *

О кадарах — охотничьем племени, обитающем в Южной Индии, — сообщалось, что им совершенно чуждо стремление к насилию или к демонстрации мужества, потому что все свои враждебные чувства они выплескивают *вовне* — на тигра.

* * *

Предположим, в порядке теоретического спора, что мы отбросили все эти общие рассуждения об «агрессии» и сосредоточились на проблеме «обороны». А что, если нашим противником на равнинах Африки был вовсе не другой человек, не люди из другого племени? Что, если выбросы адреналина, предшествующие впадению

в «боевую ярость», имели своей целью защитить нас от крупных кошек? Что, если наше оружие изначально предназначалось не для охоты на животных, а для спасения собственной жизни? Что, если мы были не столько хищным видом, сколько видом, вечно остерегавшимся хищников? Или, быть может, в какой-то переломный момент Зверь уже грозил одолеть человека?

* * *

Здесь — и в этом не может быть ошибки — проходит великая разделительная линия.

Если первые люди были жестокими убийцами-каннибалами, чья ненасытность заставляла их завоевывать и истреблять себе подобных, тогда любое государство, предоставляя мощную защиту, спасало людей от них самих; и тогда оно неизбежно должно рассматриваться как благо. Такое государство, сколь бы пугающим ни казалось оно отдельному человеку, следует считать благодатью. И любое действие со стороны отдельного человека, направленное на подрыв, ослабление или угрозу государству, является шагом в сторону первобытного хаоса.

Если же, с другой стороны, первых людей самих постоянно осаждали, теснили и преследовали, а

их общины были немногочисленными и разрозненными; если они постоянно всматривались в горизонт, откуда могла прийти помощь, цеплялись за жизнь и друг за друга, чтобы пережить очередную полную ужаса ночь, — тогда, быть может, все атрибуты, которые мы считаем человеческими, — язык, песни, распределение пищи, обмен дарами, межплеменные браки, иначе говоря, все те добровольные блага, которые сообщают обществу устойчивость, ограничивают применение силы среди его членов и могут функционировать гладко, лишь когда равновесие возводится в правило, — быть может, все эти атрибуты возникли как уловки и хитрости, имевшие целью выживание, и были выработаны, несмотря на гигантский перевес, чтобы отражать угрозу истребления? Но делаются ли они от этого менее инстинктивными или бесцельными? Разве некая общая теория защиты не объясняет нам, отчего наступательные войны по сути всегда обречены на поражение? Отчего агрессоры никогда не выходят победителями?

* * *

Альтенберг, Австрия, 1974

В кабинете Лоренца было слишком жарко, и мы перешли в садовый летний домик. Над городом высился средневековый замок Грайфенштайн — бастион христианской Европы, оборонявшейся от шаткого мира всадников-азиатов. Видя Лоренца в его родном окружении, я понял, что его взгляды на боевые инстинкты, возможно, частично испытали влияние колоссальной геополитической драмы, в которой он рос.

Отчего, спросил я у него, многие люди до сих пор встречают в штыки теорию инстинкта применительно к человеку?

— Есть некоторые вещи, — сказал он, — с которыми абсолютно бессмысленно бороться, в том числе — обычная глупость.

— Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь, — сказал я, — но когда вы выделяете в поведении любого животного «блок», то первый вопрос, которым вы задаетесь, — «для чего?». Иными словами, каким образом та или иная черта должна была способствовать сохранению вида в его исконной среде обитания?

— Верно, — кивнул Лоренц.

— Малиновка, — сказал я, ссылаясь на один из его экспериментов, — увидев другую малиновку или даже просто клочок красного пушистого

пуха, сразу идет в наступление, потому что красный цвет означает для нее «соперника в борьбе за территорию».

— Это так.

— Значит, механизмом, который запускает в малиновке боевой инстинкт, становится зримое присутствие представителя его собственного вида?

— Разумеется.

— Почему же в таком случае, когда дело доходит до битвы между людьми, один из участников сражения должен считаться как бы не вполне человеком? Вам не кажется, что «воинствующий энтузиазм», как вы его называете, мог развиваться как защитная реакция против диких зверей?

— Возможно, — ответил он задумчиво. — Вполне возможно. Прежде чем пойти на льва, масаи в Кении искусственно вызывают у себя боевое воодушевление, вроде того, как нацисты подстегивали себя задорными маршами… Да. Может быть, изначально человек готовился воевать против диких зверей. Шимпанзе при виде леопарда бесподобно проделывают трюк с демонстрацией коллективной агрессии.

— Но разве, — настаивал я, — мы не смешиваем здесь два понятия: «агрессию» и «защиту»? Разве

мы не имеем дело с двумя совершенно самостоятельными механизмами? С одной стороны, есть «агрессивные» ритуалы, которыми служат обмен дарами, заключение мирных договоров и родственные соглашения. С другой стороны, есть «защита», направленная, несомненно, против Зверя?

Всякая военная пропаганда, продолжал я, исходит из того, что вам необходимо низвести врага до уровня какого-то зверья, отвратительных и вероломных существ, иначе говоря, разжаловать в нелюди. Либо ваши бойцы сами должны превратиться в суррогатных зверей — враги тогда сделаются их законной добычей.

Лоренц подергал себя за бороду, оглядел меня испытующим взглядом и сказал — я так и не понял, в шутку или всерьез:

— Вы только что высказали совершенно свежую идею.

32

Однажды утром, когда я завтракал с Рольфом и Уэнди, мы увидели фигуру высокого человека без рубашки, который направлялся к нам танцующей походкой.

— Какая честь для нас, — сказал Рольф. — Кларенс Большая Ступня. Председатель Калленского совета.

Человек этот оказался очень темнокожим и каким-то грушеобразным, и ступни у него были действительно чудовищного размера. Я уступил ему свой стул. Состроив гримасу, он сел.

— Ну, как дела? — спросил Рольф.

— Отлично, — ответил Кларенс.

— Это хорошо.

— В Канберре подтвердили бюджет, — сообщил Кларенс невыразительным, равнодушным тоном.

— Да?

— Ага. Теперь у нас есть самолет.

Вот уже два года Калленский совет выбивал себе самолет.

— Ага, — повторил Кларенс. — Теперь у нас есть

самолет. Я подумал — надо тебе сказать.

— Спасибо, Кларенс.

— Я подумал — поеду-ка в Канберру в четверг. Я подумал — вернусь сюда на самолете.

— Давай, — сказал Рольф.

Кларенс поднялся и уже собрался уходить, как вдруг Рольф окликнул его:

— Кларенс!

— А?

— Кларенс, а что ты сделал с грейдером?

— С каким еще грейдером?

— С грейдером из Попанджи.

— Не знаю я ни про какой грейдер из Попанджи.

— Знаешь, знаешь, — сказал Рольф. — Тот грейдер, который тебе Ред Лосон одолжил.

— Когда?

— В прошлом году, — сказал Рольф. — Ты еще поехал с товарищами на охоту на этом грейдере. Помнишь?

— Нет.

— Ладно. Ред скоро наведается сюда за этим грейдером. Советую тебе найти его, Кларенс. Иначе его стоимость вычтут из стоимости самолета.

— Знать не знаю ни про какой грейдер, — сердито хмыкнул Кларенс и затопал прочь.

Я поглядел на Уэнди. Она изо всех сил сдерживала смех.

— Этот самолет, — повернулся ко мне Рольф, — еще доставит нам хлопот.

Одно дело подарить самолет, и совсем другое — оплачивать его содержание. Калленской общине казалось совершенно бессмысленным делом иметь самолет, если только он не будет находиться *прямо здесь*. А это значило, что пилот, получающий зарплату, должен жить в Каллене. Еще это значило, что нужно строить ангар, в который не сможет залезть детвора.

В поселении Амадеус, продолжал Рольф, пилот был милым пареньком, которому нравилось катать ребятишек, и он брал их на короткие прогулки. И эти ребятишки, лет восьми-десяти, очень быстро освоились с блоком управления самолета. Они подглядели, куда он прячет ключи — в ящик у себя в трейлере, — и умудрились стащить их, пока пилот дремал.

— Проснувшись, — сказал Рольф, — он увидел, как самолет мчится по взлетной полосе.

— Они взлетели?

— Не совсем, — сказал он. — Чуть приподнялись над полосой и приземлились в кусты. Самолет почти развалился на куски.

Стояло раннее утро, было еще прохладно и ясно.

— Я решил сегодня отправиться на прогулку, — сказал я.

Мы со дня на день ожидали возвращения Аркадия, и каждое утро, работая у себя в трейлере, я обещал себе взобраться на гору Либлер.

— Бери с собой воду, — сказал Рольф. — В три раза больше, чем тебе покажется нужным.

Я показал ему, какой примерно наметил маршрут.

— Не беспокойся, — сказал Рольф. — У нас тут есть люди, которые за пару часов тебя отыщут, если что. Но воду возьми обязательно.

Я наполнил флягу для воды, еще две бутылки засунул в рюкзак и пустился в путь. Минуя окраину поселения, заметил женскую сумочку, свисавшую с ветки дерева.

Я прошел по плато из песчаных холмов и осыпающихся красных скал, рассеченных узкими глубокими ущельями, перебираться через которые было очень трудно. Кустарники здесь были выжжены (чтобы легче было гнаться за дичью), и из-под обгорелых пеньков уже пробивались свежие зеленые ростки.

Я карабкался все выше и выше, а потом оглянул-

ся посмотреть на равнину и вдруг понял, почему аборигены так любят изображать свою землю пуантилистскими точками. Эта земля и вправду состоит из точек. Белыми точками служат пятнышки спинифекса; синеватые — эвкалипты, лимонно-зеленые — разновидность растущей пучками травы. Еще я понял, что имел в виду Лоренс, когда говорил об «особенной, затерянной и утомленной отрешенности Австралии».

Откуда-то вылез и поскакал вниз с горы валлаби. На другой стороне ущелья в тени дерева я заметил что-то крупное. Вначале я принял это существо за большого красного кенгуру, но это оказался человек.

Я перебрался на ту сторону и увидел старика Алекса, совершенно голого. Его копья лежали на земле, рядом со скатанным в комок бархатным пальто. Я кивнул, и он мне кивнул.

— Добрый день, — поздоровался я. — Что вас сюда привело?

Тот улыбнулся, стесняясь своей наготы, и, едва разлепив губы, проговорил:

— Все время хожу пешком по миру.

Я оставил старика в его мечтательном состоянии и пошел дальше. Заросли колючек делались все гуще. Временами я отчаивался найти выход

из этого колючего лабиринта, но тропа неизменно находилась, будто меня вела нить Ариадны.

Потом я поддался искушению, какое бывает, когда хочется погладить ежа, и положил руку на заросли. Не успел я ахнуть, как в ладонь вонзились колючки на целый дюйм или даже глубже. Вытаскивая занозы, я вспомнил слова Аркадия: «В Австралии все колючее. Даже у варана полный рот колючек».

Я взобрался по осыпи эскарпа вверх и оказался на остром, как нож, гребне горы. Он и в самом деле выглядел как хвост ящерицы-перенти. Дальше простиралось плоскогорье с редкими деревцами, которые росли вдоль сухого русла реки. Деревья эти стояли голыми. У них была мятая серая кора и крошечные красные цветки, падавшие на землю, будто капли крови.

Я сел, совершенно изможденный, в полутени одного из этих деревьев. Жара была адская.

Неподалеку два самца серого сорокопута, черно-белые, как сороки, антифоном перекликались через овраг. Одна птица вертикально поднимала клюв и испускала три долгих ухающих звука, за ними следовали три восходящих коротких. Затем этот рефрен подхватывал соперник и повторял с начала.

— Как просто! — сказал я себе. — Сидят у границы и обмениваются призывами.

Я лежал, распластавшись вдоль ствола дерева, свесив ногу над краем насыпи, и жадно пил из фляги. Теперь я понял, что имел в виду Рольф, говоря об обезвоживании. Лезть на эту гору было безумием. Мне придется возвращаться тем же путем.

Серые сорокопуты смолкли. Пот стекал со лба мне на веки, поэтому все, что я видел, казалось смазанным и бесформенным. А потом я услышал громыханье камней со стороны русла и увидел, что ко мне приближается чудовище.

Это был гигантский пестрый варан, властелин гор, перенти собственной персоной. В длину метра два, не меньше. Шкура — бледно-желтая, с коричневыми крапинками. Он выбрасывал в воздух лиловый язык. Я застыл. Растопыривая когти, варан продвигался вперед: непонятно было, заметил он меня или нет. Его когти прошли в пяти сантиметрах от моего башмака. Потом он развернулся и с неожиданной быстротой убежал туда, откуда и появился.

У перенти пугающие ряды зубов, но для человека он безвреден, если только не загонять его в угол; по правде говоря, если не считать скорпио-

нов, змей и пауков, Австралия в этом отношении — исключительно благодатная страна.

И все равно аборигены унаследовали целый бестиарий всяких монстров и бук, которыми можно пугать детей или истязать юношей в пору инициации. Мне вспомнился описанный сэром Джорджем Греем болийяс: вислоухое злобное привидение, намного коварнее прочих тварей, пожирающее мясо, но оставляющее кости. Еще вспомнился Радужный Змей. И как Аркадий рассказывал про ману-ману — клыкастое йети-подобное существо, которое передвигается под землей, по ночам пробирается в лагеря и убивает неосмотрительных чужестранцев.

Первые австралийцы, размышлял я, наверняка имели дело с настоящими чудовищами вроде *thylacoleo,* или сумчатого льва. Существовала и ящерица-перенти девяти метров в длину. И все же в австралийской мегафауне не было ничего такого, что потягалось бы с ужасами африканского буша.

Затем я задумался: а может быть, мрачные стороны жизни аборигенов — кровная месть и кровавые инициации — обязаны своим существованием тому факту, что у них просто не было настоящих зверей-соперников?

Я поднялся на ноги, взобрался на гребень и поглядел вниз на поселение Каллен.

Я надеялся увидеть где-нибудь спуск полегче — такой, чтобы мне не пришлось снова пересекать те ущелья. Найденный «легкий спуск» оказался каменистой осыпью, однако я добрался вниз невредимым и отправился вдоль русла домой.

По руслу струился тонкий ручеек, на берегах росли кустарники. Я плеснул немного воды себе в лицо, пошел дальше. Я уже заносил правую ногу, чтобы шагнуть вперед, и тут услышал собственный голос:

— Сейчас я наступлю на нечто, похожее на зеленую сосновую шишку.

Предмет оказался головой королевской коричневой змеи, уже приготовившейся ринуться в бой из-за кустов. Я убрал ногу и начал отступать, очень медленно: раз… два… раз… два. Змея тоже отступила и ускользнула в нору. Я похвалил себя: «Ты очень хладнокровен», но тут же почувствовал волну тошноты.

Я вернулся в Каллен в половине второго.

Рольф оглядел меня и сказал:

— Да ты совсем измотался, дружище.

* * *

Баю-баю, детки
На еловой ветке.
Тронет ветер вашу ель —
Закачает колыбель,
А подует во весь дух —
Колыбель на землю бух[115].

* * *

Человек — мигрирующий вид, это, по-моему, было доказано в ходе эксперимента, проводившегося в Тэвистокской клинике в Лондоне и описанного доктором Джоном Боулби в книге «Привязанность и утрата».

Всякий нормальный младенец, если оставить его в одиночестве, будет кричать, и лучший способ унять эти крики — взять его на руки и укачивать, шагая туда-сюда. Боулби соорудил механизм, который в точности имитирует ритм и темп материнской поступи, и обнаружил, что ребенок, — разумеется, при условии, что он

---

[115] Примечания: 115

Английская народная колыбельная цитируется в переводе С. Маршака.

здоров, сыт и не мерзнет, — моментально прекращает плач. «Идеальным является вертикальное движение, — писал он, — с отклонением на три дюйма». Укачивать в медленном темпе, например с тридцатью циклами в минуту, не помогало, но если темп ускорялся до пятидесяти и выше, то все дети прекращали плакать и почти всегда успокаивались.

* * *

Изо дня в день младенец все никак не может нагуляться. А раз он инстинктивно требует выгула, то, значит, некогда и мать в африканской саванне должна была постоянно перемещаться: от стоянки к стоянке, делая ежедневные обходы в поисках прокорма, за водой к роднику или к соседям в гости.

* * *

У обезьян ступни плоские, у нас своды стоп изогнуты. Согласно профессору Напье, человеческая походка — это вытянутая пружинящая поступь: 1… 2… 1… 2… — с четырехкратным ритмом, лежащим в основе движения стоп, когда они касаются земли, — 1, 2, 3, 4… 1, 2, 3, 4… Пятка ударяется о

землю — вес ложится на внешнюю часть ступни — вес переносится на подушечки пальцев — толчок большим пальцем.

* * *

Мне часто приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери во время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии.

«Inferno» и в особенности *«Purgatorio»* прославляют человеческую походку, размер и ритм шагов, ступню и ее форму. Шаг, сопряженный с дыханием и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии.

Осип Мандельштам. Разговор о Данте

* * *

Melos по-гречески «конечность»; от этого слова происходит «мелодия».

* * *

Подумай о медлительной душе…

Джон Донн. Вторая годовщина

* * *

Один белый исследователь в Африке, которому не терпелось ускорить путешествие, заплатил носильщикам за несколько марш-бросков. Но, почти уже дойдя до места назначения, они вдруг сбросили на землю тюки и отказались двигаться дальше. Никакие посулы дополнительного вознаграждения не помогали. Они говорили, что им нужно подождать, пока их не нагонят их души.

Бушмены, преодолевающие пешком огромные расстояния по Калахари, понятия не имеют о посмертном существовании душ. «Когда мы умираем — мы умираем, — говорят они. — Ветер уносит наши следы, и нам конец».

Ленивые и оседлые народы, например древние египтяне, с их представлениями о посмертном странствии по камышовым полям, оставляли для загробного мира путешествия, которых им не

довелось совершить в мире земном.

* * *

Лондон, 1965

Человек, который пришел на ужин к мистеру Расиху, оказался прилизанным лысеющим англичанином лет шестидесяти пяти, розовым, как здоровый младенец. У него были соломенно-седые бакенбарды и ясные голубые глаза. Его звали Алан Брейди. При первом же взгляде на него становилось ясно: человек он очень счастливый.

Мистер Расих был официальным закупщиком для суданского правительства в Лондоне. Он жил в квартире на верхнем этаже высотного дома в районе Виктории. Красил бороду хной, носил белую галабею[116] и мягкий белый тюрбан. Почти все время он сидел у телефона, собирая у понтеров сведения о скакунах, и, похоже, совсем не выходил из дому. Изредка из соседней комнаты доносились голоса его женщин.

Его друг Брейди был коммивояжером и работал на фирму, производившую пишущие машинки и конторское оборудование. Его покупатели жили в

[116] Примечания: 116

Галабея — длинная мужская рубаха с широкими рукавами. — *Примеч. ред.*

тридцати африканских странах, и каждые четыре месяца он посещал по очереди каждую из них.

Он сказал, что предпочитает белым людям общество африканцев. Вести с ними дела — одно удовольствие. Часто говорят, что с африканцами работать невозможно, что они вечно хотят получить что-то в обмен на ничего.

— Однако могу вас заверить, — сказал мне Брейди, — общаться с ними куда легче, чем с моими коллегами по конторе.

За двадцать лет торговли он дважды влезал в крупные долги. Никогда не брал отпусков. Не боялся революций и африканских авиалиний.

В Лондон он приезжал трижды в год, всегда не больше чем на неделю, и останавливался в комнате, которую его фирма держала для своих коммивояжеров. Поскольку зимней одежды у Брейди не было, он старался появляться в Англии, когда можно было избежать непогоды: в ноябре, в марте и в июле.

Помимо той одежды, которая была на нем, он не имел из имущества ничего, кроме запасного тропического костюма, галстука, пуловера, трех рубашек, нижнего белья, носков, тапочек, зонтика и несессера. Все это помещалось в небольшом чемоданчике, который он брал с собой в самолет

как ручную кладь.

— Не люблю терять время в аэропортах, — сказал он.

Всякий раз, прилетая в Лондон, он отправлялся в галан терейный магазин на Пикадилли, торговавший одеждой для тропиков, и производил полное переобмундирование: покупал новый чемодан, зонтик, одежду и все прочее по списку. Старые вещи он отдавал швейцару своей компании, который зарабатывал на них несколько фунтов.

— Алан Брейди, — говорил тот горделиво, — никогда не занашивает вещей.

У него не было ни друзей-англичан, ни семьи. Квартира мистера Расиха была единственным в Лондоне местом, где он чувствовал себя в своей тарелке.

Его отца отравили газом на Сомме, мать погибла в ходе Дюнкеркской операции. Иногда летом он навещал ее могилу на деревенском кладбище под Ноттингемом. Еще у него была когда-то тетя в Уигане, но она тоже умерла.

Он уже перешагнул черту пенсионного возраста. Среди сотрудников фирмы поговаривали о том, что ему пора уходить; но заказы у него не переводились, и начальство даже не думало его

увольнять.

— А есть ли у вас какая-нибудь опора? — спросил я его. — Такое место, которое вы могли бы назвать своим домом?

От зарделся от смущения.

— Есть, — неуверенно ответил он. — Вы коснулись очень личной темы.

— Извините, — сказал я. — Не стоит об этом говорить.

— Да нет, я этого не стыжусь, — продолжал он. — Просто некоторым это покажется глупостью.

— Только не мне, — сказал я.

Он рассказал, что в сейфе на работе хранит старый черный оловянный судейский сундук для документов, вроде тех, на которых белыми буквами значится: «Собственность сэра такого-то».

Всякий раз, бывая в Лондоне, он запирался у себя в комнате для ночлега и раскладывал на матрасе содержимое этого сундука.

На дне сундука он держал всякие безделушки, сохранившиеся со времен его раннего детства: свадебную фотографию родителей, отцовские медали, письмо от короля, игрушечного мишку, дрезденского зимородка, любимца матери, ее гранатовую брошь, награду за соревнования

по плаванию (в 1928 году у него уже не было приступов бронхиальной астмы), серебряную пепельницу — памятный подарок от фирмы за «двадцатипятилетнюю верную службу».

В верхней половине сундука, поверх салфетки-разделителя, хранились его африканские вещицы — бесценные предметы, каждый из которых напоминал о какой-нибудь яркой встрече: зулусское изваяние, купленное у печального старика в Дракенсберге, железный змей из Дагомеи, гравюра с изображением коня пророка, письмо от мальчика из Бурунди, благодарившего за подаренный футбольный мяч. Всякий раз, привозя с собой новый сувенир, Брейди выбрасывал какую-нибудь старую вещь, уже утратившую ценность.

Боялся Алан Брейди только одного: что скоро его все-таки заставят уйти на пенсию.

* * *

Если у каждого новорожденного ребенка имеется тяга к движению *вперед*, впору задаться вопросом, отчего ему не лежится спокойно.

Пытаясь разобраться в причинах беспокойства и злости у самых маленьких детей, доктор Боулби пришел к выводу, что сложные инстинктивные узы, существующие между матерью и ребен-

ком, — детские крики тревоги (непохожие на хныканье из-за холода, голода или боли), сверхъестественная способность матери слышать эти крики, страх ребенка перед темнотой и чужими людьми, его ужас при виде быстро приближающихся предметов, придуманные им кошмарные чудовища *там, где ничего нет*, короче говоря, все те «загадочные фобии», которые тщился растолковать Фрейд, — можно было бы объяснить постоянным присутствием хищников в мире первобытного человека.

Боулби приводит фразу из «Основ психологии» Уильяма Джеймса: «Величайшим источником страхов в детстве является одиночество». А значит, оставленный в одиночестве младенец, орущий и молотящий ножками в своей кроватке, не обязательно выказывает первые признаки «инстинкта смерти», или «воли к власти», или какого-нибудь «агрессивного стремления» выбить зубы братику. Все это может развиться (а может и не развиться) позже. Нет, младенец — давайте мысленно перенесем его кроватку в африканскую саванну — кричит потому, что если через пару минут мама не вернется, то его сожрет гиена.

По-видимому, у каждого ребенка имеется

врожденное представление о чем-то, что может напасть на него, причем представление настолько четкое, что всякое грозящее нечто, пусть даже ненастоящее, вызывает предсказуемую цепочку защитного поведения. Крики и молотьба ножками — первые защитные действия. Мать должна быть *готова* драться за своего ребенка, а отец — драться за них обоих. Опасность возрастает ночью, потому что человек лишен ночного зрения, а крупные кошачьи как раз охотятся по ночам. Может быть, и вправду все человеческие тревоги восходят к этой манихейской драме, в которой есть свет, тьма и Зверь?

Посетители приютов для малюток в больницах часто поражаются тому, какая там стоит тишина. Но ведь если мать *уже* покинула ребенка, его единственный шанс выжить — это как раз закрыть рот.

33

Ред Лосон, как и обещал, приехал в Каллен разыскивать пропавший грейдер. Он явился на полицейской машине, а чтобы произвести на калленский народ должное впечатление и показать серьезность своих намерений, с головы до ног вырядился в хаки, нацепил все знаки отличия и шляпу, решительно закрепленную ремешком под подбородком. Носки, натянутые на икры, чуть не лопались.

В середине дня Ред объехал все лачуги, но остался ни с чем. Никто не слышал про грейдер. Никто вообще не знал, что такое грейдер, кроме председателя Кларенса; тот пришел в ярость и заявил Реду, что он перепутал Каллен с каким-то другим местом. Даже Джошуа притворился немым.

— Ну и что мне делать? — спросил Ред у Рольфа.

Он сидел на упаковочном ящике внутри магазина и вытирал пот со лба.

— Давай подождем старика Алекса, — сказал Рольф. — Он наверняка знает. Скорее всего, ненавидит этот грейдер и хочет, чтобы его убрали.

Алекс, как обычно, бродил по бушу, но на закате должен был вернуться — и вернулся.

— Я сам с ним потолкую, — сказал Рольф и направился к Алексу.

Тот выслушал Рольфа. Потом, едва заметно усмехнувшись, указал костлявым пальцем на северо-восток.

Страсть Реда к Спинозе сделалась более понятной, когда за ужином он рассказал нам, что его мать была амстердамской еврейкой. Она одна из всей семьи пережила нацистскую оккупацию, найдя приют на чердаке у соседей-гоев. Когда изверги убрались и она снова смогла свободно ходить по улицам, у нее появилось чувство, что она должна или умереть, или уехать из родного города очень далеко. Она познакомилась с солдатом-австралийцем. Он был ласков и сделал ей предложение.

Ред жаждал поговорить с кем-нибудь о Спинозе, но, к моему стыду, я плохо был знаком с «Этикой», и потому наша беседа представляла собой рваную цепочку бессвязных высказываний. Собеседник из меня оказался никудышный, до Аркадия мне было далеко.

На следующее утро мы с Редом и еще одним человеком, которого он привез из Попанджи,

выехали на поиски грейдера. Мы ползли по равнине в ту сторону, куда указал Алекс. Всякий раз, как мы поднимались на возвышенное место, Ред останавливался и доставал бинокль.

— Никаких признаков этой фиговины! — говорил он.

Потом мы проехали через овраг между двумя низко лежащими холмами и, оказавшись на дальней стороне, крикнули в один голос:

— Следы грейдера!

Они с ним *явно* повеселились! На многие километры местность была раскурочена колесами, выписывавшими круги, петли и восьмерки. Но сколько мы ни колесили по этому невероятному лабиринту, самого грейдера видно не было.

— Мне кажется, я скоро с ума сойду, — сказал Ред.

Я бросил взгляд на конусообразный холм справа от нас. На его вершине виднелась огромная желтая машина.

— Гляди! — крикнул я.

— Черт! — ахнул Ред. — Да как же они загнали его туда, черт подери?

Мы взобрались на холм и увидели грейдер. Он заржавел, краска облезала клочьями, сквозь мотор пророс куст. Грейдер балансировал над очень

крутым обрывом, одно колесо зависло в воздухе. Невероятно, но шины были целы.

Ред проверил бак: наполовину заполнен. Проверил автоматический стартер: его не оказалось. Затем осмотрел склон, чтобы убедиться, что там нет скрытых опасностей, и прикинул, что, может быть, мы и сумеем завести машину вручную.

— Умные сукины дети! — усмехнулся он. — Прекрасно понимали, что творят!

Раскаленный металл машины обжигал руки. Ред вручил мне пару жаростойких перчаток и аэрозольный баллончик. Моя задача в этой операции заключалась в том, чтобы впрыснуть эфир в карбюратор, самому не надышавшись.

Я замотал нос носовым платком. Ред залез в кабину водителя.

— Готов? — спросил он.

— Готов! — отозвался я.

Ред отпустил тормоза, и грейдер легко сдвинулся с места, зашуршав сломанными ветками. Я надавил на форсунку аэрозольного баллона и вцепился изо всех сил, потому что мы внезапно понеслись вниз по склону; мотор с ревом ожил. Ред искусно спустил машину на ровное место и затормозил. Потом оглянулся и показал: «Отлично!»

Он велел человеку из Попанджи сесть за руль полицейской машины. Я устроился позади Реда в кабине грейдера. Когда до Каллена оставалось около полутора километров, я спросил, перекрикивая грохот:

— Пустишь меня к баранке?

— Давай! — ответил Ред.

Я повел грейдер и въехал в поселение. Никого не было видно. Я припарковался на склоне неподалеку от трейлера Рольфа.

Теперь, если я увижу того, другого Брюса из Алис, я смогу ему сказать: «Я никогда не водил бульдозер, Брю. Зато водил грейдер».

> Ни одна земля не изобилует дикими зверями в большей степени, чем Южная Африка.
>
> ***Чарльз Дарвин. Происхождение человека***

* * *

Где опасность, однако,

Там и спасенье.

***Фридрих Гёльдерлин. Патмос*[117]**

* * *

Кёстлеровы разглагольствования о первородной «кровавой бане» навели меня на мысль, что он был знаком — из первых или из вторых рук — с трудами Раймонда Дарта. В 1924 году Дарт, в ту пору молодой профессор анатомии в Витватерсрандском университете в Йоханнесбурге, осознал важность впечатляющего окаменелого черепа из Капской провинции — «таунгского ребенка» — и дал ему труднопроизносимое название *Australopithecus africanus,* то есть «африканской южной обезьяны».

Он правильно вычислил, что рост этого существа составлял около 1 м 20 см; что оно ходило на задних лапах, более или менее вертикально, как человек; и что мозг взрослой особи, хотя и был едва ли крупнее, чем у шимпанзе, все же обладал человеческими характеристиками.

Обнаружение этого «недостающего звена», настаивал Дарт (навлекая на себя насмешки экспертов из Англии), подкрепляло догадку Дарвина о том, что человек произошел от высших прима-

---

[117] Примечания: 117
Перевод В. Микушевича.

тов в Африке.

Дарт считал также, что «таунгский ребенок» был убит ударом в голову.

Квинслендец из семьи животноводов, Дарт принадлежал к поколению Первой мировой войны; и хотя он был лишь свидетелем операций 1918 года по зачистке захваченной территории от противника, у него, по-видимому, сложилось мрачное представление о человечестве: он считал, что людям доставляет удовольствие убивать других людей и что они всегда будут это делать.

Разумеется, к 1953 году, после обнаружения новых материальных свидетельств в пещере на краю Калахари, Дарт готов был поделиться своими догадками. В работе, озаглавленной «Хищная переходная стадия от обезьяны к человеку», он написал, что наш вид выделился из обезьяньей среды именно потому, что мы были убийцами и каннибалами; что Оружие породило Человека; что вся последующая история вращалась вокруг обладания оружием и разработки все более совершенных его форм и что, следовательно, люди должны приспосабливать не оружие к нуждам общества, а само общество — к имеющемуся оружию.

По силе идеологического воздействия ученик

Дарта Роберт Ардри ставил эту работу в один ряд с «Коммунистическим манифестом».

В 1947–1948 годах, ведя раскопки в пещере Макапансгат-Лаймуэркс (в этом жутковатом месте фуртреккеры[118] вырезали некогда целое племя банту), Дарт обнаружил нечто, что он принял за «кухонную мусорную кучу» австралопитеков, которые, «как и Нимрод, живший много позже их», были охотниками.

Эти австралопитеки, помимо того, что питались яйцами, крабами, ящерицами, грызунами и птицами, еще и убивали в большом количестве антилоп, не говоря уж о более крупных млекопитающих вроде жирафа, пещерного медведя, гиппопотама, носорога, слона, льва и двух видов гиены. Кроме того, среди 7000 с лишним костей было найдено множество черепов бабуинов *без* скелетов и остатки каннибальской трапезы.

Из этих ископаемых Дарт выбрал один характерный образец: «сломанную нижнюю челюсть двенадцатилетнего сына человекообразной обезьяны».

«Паренька убили жестоким ударом, нане-

[118] Примечания: 118

Фуртреккеры — голландские колонисты в Южной Африке (буры), покинувшие в 1835 году восточные Капские колонии, чтобы поселиться на землях африканских племен. — *Примеч. ред.*

сенным с большой точностью в самое острие подбородка. Удар дубиной был столь мощным, что сокрушил челюсть с обеих сторон лица и вышиб все зубы. Эта драматическая находка побудила меня начать в 1948 году и продолжить в течение последующих семи лет изучение образа жизни этих убийц и каннибалов».

Что он и сделал. Принялся сравнивать скопление костей из Макапансгата с костями из Таунга и Стеркфонтейна (последняя — пещерная стоянка под Преторией) и с 1949-го по 1965-й опубликовал в общей сложности тридцать девять работ, в которых излагал свою теорию остеодонтокератической (от греческих слов «кость», «зуб» и «рог») культуры орудий у австралопитеков.

Нарисованная Дартом картина жизни наших прямых предков представляла их правшами; их излюбленным оружием была дубинка, сделанная из периферийного конца антилопьей плечевой кости; вместо кинжалов они использовали рога или длинные обломки заостренных костей, вместо пил — челюстные кости, вместо багров — клыки хищников; а множество других костей было раздроблено с целью извлечения костного мозга.

Заметив также, что хвостовые позвонки почти

неизменно отсутствовали, Дарт предположил, что хвостами размахивали как цепами, кнутами или сигнальными флажками. А еще из-за того, что у бабуинов и австралопитеков черепа были, очевидно, намеренно изувечены, он предположил, что обитатели пещеры были «профессиональными охотниками за головами». Он заключал:

«Забрызганные кровью, осквернённые резней архивы человеческой истории — от древнейших египетских или шумерских записей до недавних зверств Второй мировой войны совокупно со сведениями о повсеместном каннибализме в древности, с практикой животных и человеческих жертвоприношений или заменивших их обрядов в официальных религиях, с распространением по всему миру скальпирования, охоты за головами, нанесения телесных увечий и некрофилии — свидетельствуют об общем факторе кровожадности, о хищной привычке, о пятне Каина, которое с точки зрения рациона отличает человека от его родичей-антропоидов и скорее сближает его с самыми опасными хищниками».

Уже сам стиль наводит на мысль о том, что что-то здесь не так.

* * *

Беркли, Калифорния, 1969

В Народном парке ко мне подошел какой-то преждевременно состарившийся хиппи.

— Прекратите убийства! — сказал он. — Прекратите убийства!

— Ты же не станешь, — спросил я, — уговаривать тигра жевать траву?

И поднялся, приготовившись дать деру.

— Подонок! — закричал тот.

— Вспомни Гитлера! — прокричал я ему в ответ. — Вспомни Рудольфа Гесса! Оба — правоверные вегетарианцы!

* * *

Я слышал, что в пору Великого поста совершается больше убийств, нежели в любое другое время года. Под воздействием бобового рациона (ибо основная пища греков во время постов – бобы) человек приходит в такое состояние, когда ему взбредает на ум принести жертву на алтарь своего любимого святого и пырнуть ножом своего соседа.

А. У. Кинглейк. Эотен

* * *

Витватерсрандский университет, Йоханнесбург, 1983

Девяностолетний юбилей профессора Раймонда Дарта на кафедре анатомии. Старик размахивал гематитовой гирей: с ее помощью он надеялся держать в форме свои лобные доли. Скрипучим голосом объяснял, что быть правшой — значит иметь более развитым левое мозговое полушарие, а если давать обеим рукам одинаковую нагрузку, можно упражнять оба.

Две черные студентки манерно макали пече-

нье в чашки с чаем и хихикали.

После банкета двое молодых коллег Дарта отвели меня по коридору и показали «таунгского ребенка». Вот это экспонат! Казалось, необыкновенно умное маленькое существо смотрит на тебя в бинокль сквозь тысячелетия.

Повреждение, нанесенное черепу, сказали мне, не имеет ничего общего с насилием. Просто еще до окаменения его расплющили слежавшиеся слои брекчии.

Еще мне разрешили потрогать «сломанную челюсть» мальчика из Макапансгата. Она была серовато-черной — не оттого, что ее варили или жарили, а от магниевых пятен. Здесь опять-таки, сказали мне, повреждение могли вызывать лишь сдвиги породы, например оседание слоев.

Вот и все, и можно уже забыть о нагромождении нелепостей, которыми обросли эти две находки.

* * *

Сварткранс, Трансвааль

Вместе с Бобом Брейном на однодневных раскопках в пещере Сварткранс, где он проработал девятнадцать сезонов. Стоя над шахтой пещеры, я

поглядел в одну сторону — там к Высокому Вельду простирались травянистые холмы; в другой стороне мерцали крыши стоянки Стеркфонтейн, а дальше высился отвал Кругерсдорпского рудника.

Поверхность земли усеивали мелкие острые камни, идти было трудно. Цвело алыми цветами алоэ, но деревьев не было — вернее, деревьев не было на равнине. Зато внутри устья пещеры виднелся пятнистый ствол нектандры: ее листья отбрасывали тень на раскопки. Семена этого дерева выживают только в местах, защищенных от пожаров и морозов.

Брейн показал мне брекчию, в которой было найдено множество ископаемых остатков могучей, «кингконгообразной» разновидности австралопитека — *A. Robustus.* Известно, что более двух миллионов лет назад это существо сосуществовало здесь, в долине, с первым человеком *Homo habilis.*

Бригадир Джордж был бывалым копателем. Он вынимал за один раз ровно один кубический фут земли, просеивал его содержимое через сито для руды. Затем Брейн брал каждый обломок кости и внимательно разглядывал его в лупу.

День был жаркий, и мы зашли немного отдох-

нуть у него в домике. На книжной полке стояла «Religio Medici» Томаса Брауна[119]. Именно здесь Брейн написал бóльшую часть своей книги «Охотники или дичь?» — самой захватывающей детективной истории, какую мне доводилось читать.

Брейн, директор Трансваальского музея в Претории, — спокойный, задумчивый, скромный человек, обладавший аскетическими убеждениями и безграничным терпением. Его отцом был англичанин — энтомолог, приехавший в Родезию бороться с эпидемией чумы. Родным языком его матери был африкаанс. Он приходится правнучатым племянником Эжену Марэ — поэту, натуралисту и отшельнику, чья «Душа белого муравья» послужила Метерлинку основой для его книги о термитах.

Брейн дал определение настоящему натуралисту: это «человек, который влюблен в мир» и верит в то, что единственный способ приблизиться к природе — попытаться разглядеть вещи такими, какие они есть, «не фильтруя». Ему не дает покоя мысль о хрупкости человеческой жизни,

[119] Примечания: 119

«Вероисповедание врача» *(лат.). Томас Браун* (1605–1682) — английский врач и писатель.

и он беспрестанно ищет способы ее сохранить.

Он очень не любит замыкаться на какой-то одной дисциплине и в разные периоды своей жизни — с почти даосским самоотречением — отдавался зоологии, геологии, изучению доисторической эпохи и климатологии. Писал о поведении обезьян, о гекконах, хамелеонах и гремучей гадюке из пустыни Намиб. Закончив работу в Сварткрансе, он собирается снова обратиться к протозоа, «этим одноклеточным сгусткам витальности», которые можно обнаружить в самых омерзительных колодцах пустыни и которые кормятся, размножаются и умирают в течение нескольких часов.

В 1955 году, будучи молодым человеком, Брейн посетил Третий Панафриканский конгресс, посвященный доисторической эпохе, и слышал, как Раймонд Дарт излагал свои взгляды на Кровавую Баню. Он почувствовал, что это клевета на человека как на вид и что он, пожалуй, единственный из присутствующих в зале, кто понимает почему.

Дело в том, что ему доводилось работать геологомпочвоведом и заниматься брекчиями Макапансгата, и он поставил под сомнение интерпретации Дарта, который в каждом обломке кости из этой пещеры видел орудие или оружие.

Кроме того, хотя в животном царстве убийства и каннибализм спорадически происходят повсеместно (обычно такие случаи бывают реакцией на перенаселение или стресс), сама идея, что убийство и сделало человека человеком, была бессмыслицей с точки зрения эволюции.

В течение десяти лет Брейн размышлял над теорией Дарта, а став директором музея, он решил вплотную заняться этим вопросом.

В Стеркфонтейнской долине есть три известняково-доломитовые пещеры, где найдены ископаемые гоминиды[120]: Стеркфонтейн, Сварткранс и Кромдраай. Убедившись в том, что условия там были в общих чертах те же, что в Макапансгате, он приступил к работе.

Каждая пещера заполнена брекчией из костей и осадочных пород, которые втиснулись туда сверху и за два или три миллиона лет образовали множество наслоений. Кости попадались самой разной величины — от слоновьих до мышиных. Среди этих находок несколько костей принадлежали вымершему бабуину и двум видам австралопитека: в Стеркфонтейне — более

[120] Примечания: 120

Гоминиды — семейство приматов, включающее людей и человекообразных обезьян. — *Примеч. ред.*

раннему, «грацильному»[121] *A. africanus;* в Сварткрансе и Кромдраае — его потомку, массивному *A. robustus.*

Есть там и человеческие кости, но немного.

Некоторые из этих костей гоминидов действительно несут на себе следы насильственной смерти. Если удастся доказать, что эти кости принесены туда другими гоминидами, тогда придется предъявить им обвинения в убийстве и каннибализме. Если нет — то нет.

Брейн подверг тщательному «судебному» освидетельствованию около 20 000 костей, пытаясь понять, каким образом каждая из них попала в пещеру и пришла в свое нынешнее состояние. Одни кости, по-видимому, занесло туда паводком. Другие притащили дикобразы: известно, что они запасают целые склады костей и точат об них зубы. Скелеты мелких грызунов содержались в совиных погадках. Кости более крупных млекопитающих — слона, гиппопотама, льва, — очевидно, остались от трапез гиен, питавшихся падалью.

Но ни один из этих выводов не меняет общей

---

[121] Примечания: 121

Грацильный — небольшой, пропорциональный, изящный. — *Примеч. ред.*

картины: все три пещеры служили *логовами хищников*; подавляющее количество костей принадлежало животным, убитым *вне* пещер и лишь потом притащенным туда, «домой», чтобы быть сожранными в темноте. Все эти ископаемые представляли собой объедки.

Излишне вдаваться в подробности остроумного метода Брейна: достаточно лишь указать, что все антилопьи кости, которые Дарт считал дубинками, кинжалами и так далее, были как раз теми частями скелета, которые оставляют крупные кошачьи, закончив трапезу.

Комментируя почти полное отсутствие ископаемых костей гоминидов — в отличие от черепов и челюстных костей, — Брейн отметил, что, пожирая бабуина, гепард обычно съедает весь скелет, кроме конечностей и черепа. Легкая деформация, иногда наблюдаемая у основания черепа, объясняется привычкой хищника проламывать черепную коробку в самом уязвимом месте (оно называется *foramen magnum*, «большой канал») и высасывать из него содержимое.

Скелет примата гораздо более хрупок, чем скелет антилопы, его легче переваривать.

* * *

Все крупные кошачьи убивают жертву, перегрызая ей горло: это роднит их с топором палача, гильотиной и гарротой. Камю в «Размышлениях о гильотине» вспоминает, как его отец, солидный *petit bourgeois*[122] из Орана, был так возмущен одним отвратительным убийством, что отправился на публичное гильотинирование убийцы — и ушел с места казни, не в силах справиться с приступом рвоты.

* * *

Как мы знаем со слов доктора Ливингстона[123], пережившего нападение льва, ощущения, возникающие в тот момент, когда тебя терзает крупная кошка, могут быть отнюдь не столь чудовищными, как можно вообразить. Он писал:

«Возникает состояние вроде задумчивости, в котором не чувствуешь ни боли, ни ужаса. Его можно сравнить с ощущениями пациентов, на-

[122] Примечания: 122
Мелкий буржуа *(фр.)*.

[123] Примечания: 123
Дэвид Ливингстон (1813–1873) — шотландский миссионер и исследователь Африки.

ходящихся под воздействием хлороформа: они передают потом, что видели саму операцию, но при этом не чувствовали боли от прикосновений ножа… Вероятно, подобное состояние возникает у всех животных, умерщвляемых хищниками; и если это так, то его можно счесть милостивым промыслом Всеблагого Творца для ослабления смертных мук» («Миссионерские странствия»).

* * *

Трансваальский музей, Претория

Я провел несколько часов в обществе доктора Элизабет Врба — палеонтолога, главного ассистента Брейна. Что за блестящая рассказчица! Мы сидели на полу так называемой Красной комнаты и, надев белые перчатки, ощупывали знаменитые экспонаты вроде «миссис Плез» — почти целого черепа *A. africanus*'а, найденного покойным Робертом Брумом в 1930-е годы.

Держать в одной руке тонкую челюстную кость *africanus*'а, а в другой — огромные коренные зубы *robustus*'а — все равно что сравнивать подкову шетлендского пони с подковой тяжеловоза.

Ископаемые из Стеркфонтейнской долины недавно сравнили с находками из Кении и Эфио-

пии, где, как считается, около шести миллионов лет назад жил прямоходящий *Australopithecus afarensis* (найденный образец получил прозвище Люси) — архаичная, карликовая разновидность австралопитека. Доказано, что «южный африканец» вдвое моложе этого вида.

Элизабет Врба продемонстрировала мне, что три подвида австралопитека представляют три этапа в эволюционной цепи: то, что они становятся все крупнее и мускулистее, можно истолковать как ответ на изменения среды обитания, которая делается все более засушливой и открытой.

В какой именно момент от этой линии отделился человек — вот вопрос, который ученые готовы обсуждать до бесконечности. Каждый полевой исследователь мечтает найти ЕГО. Но, как предупреждал Брейн, «найти красивое ископаемое и связать с ним свою репутацию — значит перестать видеть само ископаемое».

Как бы то ни было, примерно два с половиной миллиона лет назад или чуть позже в Восточной Африке появилось маленькое проворное существо с поразительно развитыми лобными долями мозга. На всех трех стадиях у австралопитека соотношение массы тела и мозга оставалось постоянным. У человека же наблюдается неожи-

данный взрыв.

* * *

Элизабет Врба написала ряд получивших международное признание работ, посвященных темпам эволюционных изменений. Именно она заострила мое внимание на спорах между «градуалистами» и сторонниками «теории скачка».

Дарвинисты-ортодоксы считают, что эволюция происходит размеренно и непрерывно. Каждое новое поколение едва заметно отличается от родителей; когда же различия накапливаются, вид переходит генетический «водораздел», и возникает новое существо, достойное нового линнеевского имени.

Сторонники же «теории скачка», наоборот, — памятуя о жестоких переломах двадцатого столетия — утверждают, что каждый вид есть некий цельный организм, внезапно возникающий и внезапно исчезающий, и что эволюция происходит скачкообразно: вслед за короткими вспышками суеты наступают долгие периоды затишья.

Многие эволюционисты считают, что движущей силой эволюционных изменений является

климат.

Виды в целом консервативны и сопротивляются переменам. Подобно супругам в непрочном браке, они живут себе и живут, идя на мелкие уступки то здесь, то там, пока наконец не оказываются в точке взрыва, когда справиться с разладом уже невозможно.

В условиях климатической катастрофы, когда вся привычная среда обитания распадается на глазах, *маленькое* племенное сообщество еще может отделиться от сородичей и зажить изолированно — обычно в каком-нибудь ареале на самой окраине той территории, которую занимали его предки; там ему предстоит или претерпеть изменения, или вымереть.

«Скачок» от одного вида к следующему, когда он случается, происходит быстро и резко. Новые пришельцы вдруг перестают откликаться на прежние брачные зовы. По сути, как только эти «изолирующие механизмы» обретают силу, виду уже не угрожает генетический «откат», утрата новых признаков, возврат к прошлому.

Иногда новый вид, окрепнув благодаря совершившимся переменам, может заново заселить прежние места обитания и вытеснить своих предшественников.

Процесс такого «перескакивания» к изоляции назвали «аллопатрическим (иноземным) видообразованием». Это явление и объясняет — притом что биологи находят бесчисленные вариации *внутри* вида (касающиеся величины тела или пигментации), — отчего никому и никогда не удавалось найти промежуточную форму *между* ближайшими видами.

Поэтому поиски истоков человека могут оказаться погоней за химерой.

Обязательная изоляция, необходимая для «перескакивания», по-видимому, может с равным успехом существовать и вдоль пути миграции, который в конечном счете тоже является участком территории, но только вытянутым в длинную непрерывную линию, похожую на спряденную из руна нить.

Когда я вот так размышлял об этом, меня вдруг поразило сходство между «аллопатрией» и аборигенскими мифами о сотворении мира: ведь в них каждый тотемный вид зарождается сам по себе, изолированно, в какой-то одной точке на карте, а затем разбредается по земле, опутывая ее линиями своих следов.

Все виды рано или поздно должны совер-

шать «скачки», но одни «скачут» охотнее, чем другие. Элизабет Врба показала мне схемы, на которых вычертила «родословную» двух монофилетических[124] групп антилоп — *Alcephalini* и *Aepycerotini*; оба вида восходят к одному общему предку, жившему в эпоху миоцена.

Антилопы *Alcephalini* — семейство, к которому относятся и бубалы, и антилопы гну, — имеет особые зубы и желудки, приспособленные к питанию в условиях засухи; за последние шесть с половиной миллионов лет внутри этого семейства быстро возникло около сорока видов. Импала, или чернопятая антилопа, представитель семейства *Aepycerotini,* будучи универсалом, способным благополучно существовать в любых климатических условиях, так и осталась неизменной с глубокой древности до сего дня.

Эволюционные изменения, сказала Элизабет Врба, некогда превозносились как признак успеха. Теперь-то мы знаем: самые успешные виды — это те, что существуют долго.

---

[124] Примечания: 124

Монофилия — происхождение представителей определенной группы от одного общего предка. — *Примеч. ред.*

* * *

По-настоящему важная новость — это то, что мы происходим от весьма устойчивой линии предков.

Предки человека были «универсалами» — неунывающими и находчивыми существами, которые за тот же период времени, что и импалы, по-видимому, сумели выкарабкаться из множества передряг, но при этом избежали необходимости дробиться на каждом крутом повороте на новые виды. Из этого следует, что, когда в рядах гоминидов наблюдались-таки важные структурные изменения, для них имелась веская причина — мощное давление извне. Кроме того, у наших предков имелась, возможно, куда более стойкая, несгибаемая инстинктивная и моральная выдержка, чем мы могли предполагать.

С тех пор как окончилась эпоха миоцена, в действительности произошло лишь два таких крупных «скачка», и разделял их промежуток приблизительно в четыре миллиона лет. Первый был связан с появлением австралопитека, второй — с появлением человека.

1. Изменение строения таза и ступни: вместо

форм, присущих лесным обезьянам, передвигавшимся с помощью рук, появляются формы, характерные для существа, шагающего ногами по равнине; из четвероногого получается двуногое; руки, раньше служившие средством перемещения, высвобождаются для других занятий.

2. Быстрое увеличение мозга.

Оба «скачка», как выяснилось, совпали по времени с внезапными сдвигами в климате, который сделался более холодным и более засушливым.

Около десяти миллионов лет назад наш гипотетический предок, обезьяна эпохи миоцена, обитал в дождевых лесах с исполинскими деревьями, которыми в ту пору была покрыта почти вся Африка.

Подобно шимпанзе и горилле, он, вероятно, ночевал каждый раз на новом месте, но при этом ограничивал свои блуждания хорошо знакомой территорией площадью в несколько квадратных километров, где ему ничто не угрожало, где всегда можно было найти вдоволь пищи, где дождь стекал ручейками по стволам деревьев, а на листья падал солнечный свет; наконец, где лесное ложе служило безопасным укрытием от всяких ужасов.

(В окрестностях озера Тернефин в Чаде я видел ископаемый череп гиениды эпохи миоцена: это была зверюга величиной с быка, с челюстями, способными отгрызть ногу слону.)

Однако на закате миоцена деревья начали уменьшаться в размерах. По еще не выясненным причинам Средиземное море вобрало в себя около 6 % всей соли Мирового океана. Моря вокруг Антарктиды из-за снижения солености начали покрываться льдами. Ледниковый покров удвоился. Уровень моря понизился, и Средиземное море, отрезанное от океана мостом суши на месте Гибралтара, превратилось в одну обширную испаряющуюся соляную яму.

В Африке дождевые леса сошли на нет, сохранившись лишь на небольших участках (где в настоящее время обитают древесные обезьяны), а между тем в восточной части континента растительность превратилась в «саванную мозаику»: на открытой равнине росли деревья и трава, влажные сезоны чередовались с засушливыми, а изобилие — со скудостью. После половодья оставались грязевые озера с растрескавшимся дном. Это и была «родина» австралопитека.

Это животное передвигалось на задних лапах и, возможно, переносило грузы: прямохождение

с характерным для него развитием дельтовидной мышцы, по-видимому, было обусловлено переноской тяжестей — например, детенышей и пищи — с одного места на другое. Однако широкие плечи, длинные руки и (в меньшей степени) цепкие пальцы ног наводят на мысль, что это существо, по крайней мере пребывая на «архаической» ступени развития, еще отчасти обитало или находило укрытие на деревьях.

* * *

В 1830-х годах Вильгельм фон Гумбольдт, отец современного языкознания, высказал догадку, что человек стал ходить на двух ногах *из-за* возникновения речи, чтобы «не бубнить в землю и не заглушать голоса».

Однако четыре миллиона лет прямохождения не оказали какого-либо воздействия на развитие речи.

* * *

Тем не менее «грацильные» и «массивные» австралопитеки, скорее всего, обладали способностью выделывать простые орудия — из кости и даже камня. Характер износа на этих орудиях,

различимого под микроскопом, наводит на предположение, что их использовали отнюдь не для убийства или разделки туш, а для выкапывания луковиц и корней растений. Вероятно, австралопитек ловил молодую газель, если та оказывалась на его пути и ей не удавалось удрать. Может быть даже, он систематически охотился, как это делают шимпанзе. Но по-прежнему оставался более или менее вегетарианцем.

А вот первый человек уже был всеяден. Об этом говорит само строение его зубов. Судя по каменным орудиям, которые во множестве находят вокруг стоянок, он, вероятно, расчленял туши животных и поедал их мясо. Однако вполне возможно, что он был скорее падальщиком, чем охотником. Возникновение первого человека совпадает по времени со вторым климатическим переворотом.

Климатологи установили, что примерно 3,2–2,6 миллиона лет назад на земле произошло резкое падение температуры, известное теперь как Первое северное оледенение; тогда впервые образовался сплошной ледяной покров на Северном полюсе. В Африке это привело к катастрофе.

Вдоль всей Великой рифтовой долины погибли леса, уступив место открытой степи. Образо-

валась песчано-гравийная пустыня, местами поросшая травой и кустарником, а деревья жались поближе к рекам и ручьям.

Земля, поросшая колючками, стала тем самым местом, где начал расти мозг первого человека: Терновый Венец — не случайный образ.

* * *

— Человек возник в неблагоприятной атмосфере, — говорила Элизабет Врба. — Этой неблагоприятной атмосферой был засушливый климат.

— Вы хотите сказать, что человек зародился в пустыне?

— Да, — сказала она. — В пустыне. Или, по крайней мере, в полупустыне.

— Где источники пресной воды всегда были ненадежны?

— Да.

— Зато в большом количестве рыскали страшные звери?

— Хищнику все равно, где жить, лишь бы мяса было достаточно. Наверное, это была ужасная жизнь!

В анналах эволюции значатся нескончаемые «гонки вооружений» между хищником и его

добычей, поскольку естественный отбор идет в пользу добычи, оснащенной лучшими средствами обороны, и в пользу хищника, оснащенного лучшими орудиями убийства.

Черепаха прячется в панцирь. Еж топорщится иглами. Мотылек сливается с корой дерева, кролик удирает в нору, слишком тесную для лисицы; но человек посреди безлесной равнины беззащитен. Ответом *robustus'*а стало наращивание мышц. Мы же нашли применение мозгам.

* * *

Бессмысленно, продолжала доктор Врба, изучать возникновение человека в вакууме, не рассматривая участи других видов в ту же историческую эпоху. Дело в том, что около двух с половиной миллионов лет назад, как раз тогда, когда человек совершил свой поразительный «скачок», происходило «грандиозное перетряхивание видов».

— С антилопами, — сказала она, — черт знает что творилось.

По всей Восточной Африке оседлые животные, питавшиеся побегами деревьев, уступили место более «мозговитым» мигрирующим видам. Основания для оседлого существования просто

исчезли.

— Оседлые виды, — сказала Врба, — как и гены оседлости, весьма успешны — в течение определенного времени. Однако в конце концов они чреваты саморазрушением.

В засушливой местности год на год не приходится. Случайный грозовой ливень может привести к временному возникновению зеленого оазиса, а в нескольких километрах от него земля остается сухой и голой. А значит, чтобы выжить во время засухи, *каждый* вид должен прибегнуть к одной из двух уловок: либо приготовиться к худшему и «залечь на дно», либо открыться навстречу миру и двинуться в путь.

Семена некоторых пустынных растений могут «спать» десятилетиями. Некоторые пустынные грызуны выходят из своих нор только по ночам. Вельвичия — необыкновенное растение с ремневидными листьями, встречающееся в пустыне Намиб, — живет тысячи лет, питаясь одним только утренним туманом. Однако мигрирующим видам животных нужно переходить с места на место — или быть готовыми к переходу в любой момент.

В ходе нашей беседы Элизабет Врба сказала,

что антилоп побуждают к миграции вспышки молнии.

— Как и бушменов в Калахари, — заметил я. — Они тоже «идут за молнией». Потому что там, где сверкнула молния, будет вода, зелень и дичь.

* * *

Когда мои ноги отдыхают, ум мой тоже погружается в бездействие.

И. Г. Гаманн

* * *

Языковые способности *Homo habilis*, наверное, ограничивались набором хрюкающих, ухающих и свистящих звуков, впрочем нам никогда об этом не узнать. Мозг не сохраняется при процессах окаменения. Однако его очертания оставляют отпечатки на внутренних стенках черепной коробки. Можно сделать слепок с этих отпечатков, положить эти «внутренние слепки» («эндокасты») рядом и сравнить.

Париж, Музей человека, 1984

В своем педантично обустроенном кабинете профессор Ив Коппенс — один из самых светлых умов, работающих в области ископаемых остатков древнего человека, — выстроил в целую шеренгу ряд таких «эндокастов»; и в тот миг, когда он перешел от австралопитека к человеку, у меня появилось ощущение чего-то поразительного и нового.

Мозг не только увеличивается в размерах (почти в полтора раза), но и меняет форму. Теменные и височные зоны — те самые, что отвечают за сообразительность и способность к обучению, — трансформируются и заметно усложняются.

Впервые появляется обонятельное поле Брока — участок, как известно, неотделимый от речевой деятельности. Мембраны утолщаются. Синапсы умножаются, как и вены и артерии, снабжающие мозг кровью.

Во рту тоже происходят важные перестройки — особенно в альвеолярной зоне, где язык касается нёба. А поскольку человек по определению «говорящее животное», трудно понять, для чего еще могли совершаться все эти перемены, если не для развития речи и языка.

Последующие стадии человеческой эволюции — от *Homo erectus* до *Homo sapiens*, — по мнению Коппенса, еще не означают развития нового вида из старых. Профессор считает, что они представляли собой скорее трансформацию исходного образца — *Homo habilis.*

Вот что он пишет в книге «Le Singe, l'Afrique et l'Homme» («Обезьяна, Африка и человек»):

«Исследуя в течение длительного времени *Homo habilis*, я пришел к выводу, что именно ему нужно адресовать вопросы: „Кто мы? Откуда мы произошли? Куда мы движемся?“ Его неожиданный триумф представляется столь блистательным, столь необычным и столь новым, что, стремясь определить истоки человеческой

памяти и языка, я охотно указал бы этот вид и эту часть света».

* * *

— Я понимаю, это может показаться несколько притянутым за уши, — сказал я Элизабет Врба, — но если бы меня спросили: «Для чего существует большой мозг?» — я бы хотел ответить: «Чтобы, распевая песни, не заблудиться в пустыне».

Она немного удивилась. Потом, выдвинув ящик стола, вынула оттуда рисунок акварелью. Художник изобразил семью первых людей с детьми, бредущую гуськом по пустынному пейзажу.

Она улыбнулась и сказала:

— Я тоже думаю, что гоминиды мигрировали.

* * *

Так кто же был пещерным убийцей?

Леопарды предпочитают пожирать свою добычу в самых темных укрытиях. На раннем этапе своего исследования Брейн считал, что именно они устраивали кровавые трапезы. Отчасти это могло быть правдой.

Среди ископаемых, собранных в Красной комнате, Брейн показал мне дефектный свод черепа

молодого самца *Homo habilis.* Ближе к лобной части черепа видны были следы опухоли мозга, значит это был «идиот в семье». У основания виднелись две аккуратные дырочки, примерно в дюйме одна от другой. Затем Брейн взял ископаемый череп леопарда, найденный в том же слое, и продемонстрировал, что два нижних клыка в точности помещаются в те два отверстия. Леопард тащит свою жертву, захватив череп челюстями, как кошка несет мышь.

Отверстия находились как раз в нужном месте.

* * *

Бхимтал, Кумаон, Индия

Однажды я отправился повидать садху-шиваита, жившего в отшельническом жилище на холме напротив. Этот праведный человек принял мое приношение — несколько рупий — и благоговейно завернул в край своих оранжевых одеяний. Сидел он, скрестив ноги, на леопардовой шкуре. Его борода спускалась до самых колен, и, пока он кипятил воду для чая, по бороде вверх-вниз сновали тараканы. Под его жилищем находилась пещера леопарда. В лунные ночи леопард приходил к нему в сад, и они с садху глядели друг

другу в глаза.

Однако старожилы деревни помнили ужасные времена людоедов, когда никто не чувствовал себя в безопасности даже за запертыми дверями.

В Рудрапраяге, к северу отсюда, людоед сожрал больше ста двадцати пяти человек, пока его не пристрелил Джим Корбетт. Однажды зверь сорвал дверь с овчарни, прополз по телам сорока живых коз (или под ними), *не тронув ни одной*, и наконец схватил молодого пастуха, который спал в одиночестве в дальнем конце загона.

* * *

Трансваальский музей

Леопард становится людоедом обычно в результате случайности, например из-за отсутствия клыка. Но если уж зверю полюбился вкус человечины, он позабудет о всякой прочей пище.

Подсчитав процентное содержание ископаемых приматов, то есть остатков бабуинов и гоминидов, как в пласте *robustus*'а в Сварткрансе, так и в пласте *africanus*'а в Стеркфонтейне, Брейн, к своему удивлению, обнаружил, что кости приматов составляли 52,9 % от общего числа съеденных жертв в первом случае и 69,8 % — во

втором. Остальными жертвами были антилопы и другие млекопитающие. Какие бы звери ни использовали пещеры в качестве склепов, они явно отдавали предпочтение человечине.

Брейн носился с мыслью о том, что здесь потрудились леопарды-людоеды, однако этой гипотезе противоречат несколько соображений.

1. Данные, собранные в африканских национальных парках, говорят о том, что в рационе нормального леопарда бабуины составляют не более 2 %.

2. В верхних пластах Сварткранса, то есть в ту эпоху, когда обитателями пещеры явно были именно леопарды, оставлено множество объедков их обычной добычи — газелей, тогда как доля бабуинов снижается до 3 %.

Возможно ли, что леопарды прошли через «ненормальную», людоедскую стадию, а потом вернулись к прежним привычкам?

Элизабет Врба занялась анализом костей полорогих жвачных животных из пещер и обнаружила, что среди них преобладают кости чересчур массивных животных — например, гигантского бубала (коровьей антилопы): леопард не справился бы с ним.

Возможных кандидатов трое — все трое вымерли и оставили свои окаменелые остатки в Стеркфонтейнской долине.

1. Длинноногие гиены-охотницы, *Hyenictis* и *Euryboas.*
2. Махеродонты, или саблезубые кошки.
3. Род *Dinofelis* — «ложные саблезубые».

Саблезубые кошки обладали огромными шейными мышцами и были могучими прыгунами, в верхних челюстях у них имелись серпообразные клыки с зазубренными остриями. Нисходящим ударом звери вонзали их в шею жертвы, смыкая челюсти. Особенно подходило такое орудие для нападения на крупных травоядных. Их плотоядные зубы перемалывали мясо гораздо лучше, чем зубы всех остальных хищников. Однако нижние челюсти у них были слабыми — настолько, что справиться со скелетом им не удавалось.

Когда-то Грифф Юйер предположил, что коренные зубы гиены, приспособленные для перемалывания костей, возникли как реакция на избыток недоеденных туш, остававшихся после трапез саблезубых.

Очевидно, что в пещерах Стеркфонтейнской долины обитали в течение очень длительного

времени разные хищники.

Брейн догадался, что *часть* костей, особенно принадлежавших крупным антилопам, притаскивали саблезубые кошки и гиены, работавшие в тандеме. Вполне возможно, что некоторых гоминидов приносили гиены-охотницы.

Но давайте перейдем к третьему варианту.

Dinofelis был менее проворной кошкой, чем леопард или гепард, зато имел гораздо более могучее телосложение. У него были прямые кинжалообразные зубы, по форме представлявшие собой нечто среднее между зубами саблезубых кошек и, скажем, современного тигра; ими он умерщвлял жертву. Его нижняя челюсть могла захлопываться, а поскольку телосложение у него было несколько неуклюжее, охотился он, вероятно, из укрытия и, вполне вероятно, по ночам. Возможно, этот зверь был пятнистым. Возможно, полосатым. А может быть, как пантера, он был черным.

Его кости находили повсюду от Трансвааля до Эфиопии — в местах первоначального обитания человека.

Только что в Красной комнате я держал в руках ископаемый череп динофелиса — великолепный

образец с патиной цвета коричневатой патоки. Соединил шарнирами нижнюю челюсть с верхней и, смыкая их, внимательно смотрел на клыки.

Этот череп принадлежит одному из трех целиком сохранившихся скелетов динофелисов — самца, самки и мальчика, — найденных окаменелыми вместе с восемью бабуинами *(больше никаких животных рядом не было)* в Боултс-Фарм, недалеко от Сварткранса, в 1947–1948 годах. Х. Б. С. Кук, который нашел их, предположил, что это семейство динофелисов, охотясь на бабуинов, вдруг угодило в яму естественного происхождения, и там они все вместе погибли.

Странная гибель! Однако не страннее вопросов, до сих пор остающихся без ответов: «Почему в этих пещерах найдено так много бабуинов и гоминидов? Почему так мало антилоп и животных других видов?»

Брейн долго ломал голову над возможными разгадками и в заключительных абзацах своей книги «Охотники или дичь?», сохраняя осторожность, выдвинул две взаимодополняющие гипотезы.

Возможно, гоминидов никто не затаскивал в пещеру, возможно, они жили там бок о бок со

своим истребителем. На горе Сусва — спящем вулкане в Кении — есть длинные лавовые тоннели; в глубине этих тоннелей живут леопарды, а по ночам у входа укрываются стаи бабуинов. Таким образом, у леопардов имеется живая «кладовка» на пороге собственного жилища.

В Трансваале зимние ночи холодные — настолько холодные, что численность бабуинов в Высоком Вельде ограничена числом пещер или укрытий, в которых те могут прятаться ночью. В эпоху Первого северного оледенения насчитывалось, наверное, около сотни морозных ночей в году. А теперь попробуем представить себе живущего в таком холоде *robustus*'а: эти мигранты уходили летом высоко в горы, а зимой спускались в долины, не зная огня, не имея иной защиты, не понимая, чем можно согреться, кроме собственных, сбившихся в кучку тел. Не обладая ночным зрением, они были вынуждены делить кров с огнеглазой кошкой, которая то и дело подкрадывалась к их стае, чтобы выхватить очередную жертву.

Вторая гипотеза выдвигает идею, от которой голова может пойти кругом.

А что, если, спрашивает Брейн, динофелис был хищником, который специализировался на

приматах?

«Комбинация мощных челюстей, — пишет он, — и удачного расположения зубов, вероятно, позволяла динофелису поедать все части скелета примата, кроме черепа. Гипотеза о том, что динофелис убивал исключительно приматов, достаточно убедительна».

* * *

Тут возникает соблазн спросить: а может быть, динофелис и был нашим зверем? Зверем, стоявшим особняком ото всех прочих воплощений ада? Архи-Врагом, который хитро и незаметно выслеживал нас, куда бы мы ни шли? Но которого в конце концов нам удалось одолеть?

Кольридж однажды написал: «Князь Тьмы — учтивый господин». Что кажется таким притягательным в гипотезе о хищнике-специалисте, так это сама мысль о близком знакомстве со Зверем. Ибо, если изначально Зверь был только один, разве мы не хотели бы очаровать его, как он очаровывал нас? Разве мы не хотели бы околдовать его, как ангелы околдовали львов во рву с Даниилом?

Змеи, скорпионы и другие опасные твари, оби-

тавшие в саванне, те, что, вразрез с зоологической истиной, обрели второе славное существование в аду, описанном у различных мистиков, никогда не угрожали нашему существованию как таковому; они никогда не могли бы положить конец нашему миру. А убийца-людоед мог: и потому, сколь ни скудны сведения о нем, мы должны принимать его всерьез.

Заслуга Боба Брейна, как мне представляется, — согласимся ли мы или нет с его версией об одной большой кошке, о нескольких кошках или о напастях вроде гиены-охотницы, заключается в том, что он восстановил в прежних правах фигуру, чье присутствие с закатом Средневековья постепенно тускнело, — Князя Тьмы во всем его зловещем великолепии.

Не выходя за границы научной строгости (как, безусловно, это делаю я), он обнаружил явственные признаки грандиозной победы — победы, плоды которой нам еще могут пригодиться, — когда человек одержал верх над силами разрушения.

Ибо неожиданно в верхних слоях Сварткранса и Стеркфонтейна появляется он — человек. Он там хозяин, хищников рядом с ним больше нет.

По сравнению с этой победой во всех про-

чих наших достижениях можно увидеть лишь множество излишеств. Можно сказать, мы — биологический вид на каникулах. Но как знать, не была ли то пиррова победа: разве вся наша история не стала поиском ложных чудовищ? Ностальгией по Зверю, которого мы потеряли? Мы должны быть благодарны Князю, который так любезно откланялся. Ибо первого оружия миру придется еще ждать примерно до 10 000 года до н. э., когда мотыга Каина раскроит череп его брату.

34

Мы с Рольфом сидели за вечерней выпивкой, когда прибежала одна из медсестер Эстрельи и сообщила, что по радиотелефону позвонил какой-то мужчина. Я надеялся, что это Аркадий. После всех бумажных излияний я стосковался по его хладнокровной, отрезвляющей манере разговора.

Мы оба поспешили в медпункт, но выяснилось, что на линии была женщина с очень грубым голосом — Эйлин Хаустон из сиднейского Бюро аборигенного искусства.

— Уинстон уже закончил картину? — прорычала она.

— Закончил, — сказал Рольф.

— Ладно. Передайте ему, я приеду ровно в девять.

И положила трубку.

— Сучка, — прокомментировал Рольф.

Уинстон Джапарула, самый «выдающийся» художник, работавший в Каллене, неделю назад завершил большое полотно и теперь ждал, когда миссис Хаустон приедет его покупать. Как многие

художники, он был щедрой душой и уже изрядно задолжал в магазине.

Миссис Хаустон называла себя «профессионалкой среди торговцев аборигенским искусством» и имела привычку объезжать поселения туземцев, навещая «своих» художников. Она привозила им краски и холсты и расплачивалась наличными за готовые работы. Это была очень решительная женщина. Она всегда ночевала одна в буше и вечно торопилась.

На следующее утро Уинстон ждал ее, скрестив ноги, голый до пояса, сидя на ровной площадке рядом с баками из-под бензина. Это был старый сибарит с валиками жира, выпиравшими над его перепачканными краской шортами. Уголки его огромного рта были опущены. На его сыновьях и внуках лежала печать того же величавого уродства. Уинстон словно по наитию приобрел темперамент и манеры Нижнего Западного Бродвея.

Поблизости ждал его «полицейский», или ритуальный ассистент, Бобби — человек помоложе, в коричневых штанах: его задачей было проследить, чтобы Уинстон не выболтал никаких священных тайн.

Ровно в девять ребята заметили красный

«лендкрузер» миссис Хаустон, показавшийся на взлетной полосе. Она вышла из автомобиля, подошла к собравшейся группе и грузно опустилась на складной стул.

— Доброе утро, Уинстон, — кивнула она.

— Доброе утро, — ответил тот, не двинувшись с места.

Миссис Хаустон оказалась крупной женщиной, в бежевой походной форме. Ее красная шляпа от солнца, будто тропический шлем, была надвинута на седеющие локоны. Бледные щеки, иссушенные зноем, сужались книзу и заканчивались очень острым подбородком.

— Ну так чего мы ждем? — спросила она. — Кажется, я приехала смотреть картину.

Уинстон потеребил шнурок в волосах и жестом велел внукам вынести картину из магазина.

Все шестеро вернулись, неся большой развернутый холст — примерно 2 м 10 см на 1 м 80 см, — защищенный от пыли прозрачной полиэтиленовой пленкой. Аккуратно поставили картину на землю и сняли пленку.

Миссис Хаустон моргнула. Я видел, что она едва сдерживает улыбку удовлетворения. Она заказывала Уинстону «белую» картину. Результат, как я догадывался, превзошел ее ожидания.

Очень многие художники-аборигены любят использовать кричаще-яркие краски. Здесь же было изображено шесть белых и сливочно-белых кругов, выписанных педантичными пуантилистскими точками на фоне, цвет которого варьировал от просто белого до голубовато-белого и сливочного. В пространстве, оставленном между кругами, виднелось несколько змееподобных закорючек одинаково светло-лилово-серого цвета.

Миссис Хаустон кусала губы. Казалось, можно услышать, как она прикидывает в уме: Белая галерея… Белая абстракция… Белое на Белом… Малевич… Нью-Йорк…

Она отерла пот со лба и собралась:

— Уинстон! — Она ткнула пальцем в холст.

— Да.

— Уинстон, ты ведь не использовал титановые белила, как я тебя просила! Зачем мне платить за дорогие краски, если ты даже не прикасаешься к ним? Ты использовал *цинковые* белила. Это так? Отвечай!

Вместо ответа Уинстон скрестил перед лицом руки и стал глядеть в образовавшуюся щелку, как ребенок, играющий в «ку-ку».

— Ты использовал титановые белила или нет?

— НЕТ! — рявкнул Уинстон, не опуская рук.

— Так я и думала, — сказала женщина и с удовлетворенным видом задрала подбородок.

Потом она снова взглянула на холст и заметила крошечную дырку, не больше дюйма в длину, у края одного из кругов.

— Да ты погляди! — закричала она. — Ты же ее порвал. Уинстон, ты *порвал* холст! А знаешь, что это значит? Картину придется ремонтировать. Мне придется отправить эту картину к реставраторам в Мельбурн. И обойдется это самое малое в триста долларов. Очень жаль.

Уинстон, уже убравший руки-заслонки, снова поднял их к лицу и предъявил распекавшей его даме пустой фасад.

— Очень жаль, — повторила она.

Присутствовавшие глядели на картину так, словно перед ними был труп.

У миссис Хаустон задрожала челюсть. Она зашла слишком далеко, пора было переходить к примирительному тону.

— Но это хорошая картина, Уинстон, — сказала она. — Она подойдет для нашей гастрольной выставки. Я же говорила тебе, что мы хотели сделать коллекцию, да? Собрать картины самых лучших художников-пинтупи? Разве я не рассказывала?

Ты меня слышишь?

В ее голосе зазвучало беспокойство. Уинстон не отзывался.

— Ты меня слышишь?

— Да, — протянул он и опустил руки.

— Ну, значит, все хорошо, да? — Она попыталась рассмеяться.

— Да.

Она вынула из наплечной сумки блокнот с карандашом:

— Так что тут за история, Уинстон?

— Я написал картину.

— Я сама знаю, что ты ее написал. Я спрашиваю — что за история за ней стоит, чье это Сновидение? Я же не могу продавать картину без истории. Тебе это хорошо известно!

— Разве?

— Да.

— Старик, — ответил он.

— Благодарю. — Она начала что-то записывать в блокнот. — Значит, на картине изображено Сновидение Старика?

— Да.

— И?

— Что — «и»?

— Где же сама история?

— Какая история?

— История Старика, — потеряв терпение, выкрикнула она. — *Что делает* этот твой Старик?

— Идет, — сказал Уинстон, прочертив на песке двойную точечную линию.

— Понятно, что идет, — сказала миссис Хаустон. — А куда он идет?

Уинстон вытаращил глаза на свою картину, потом взглянул на «полицейского».

Бобби подмигнул.

— Я тебя спрашиваю, — повторила миссис Хаустон, нарочито четко выговаривая каждый слог. — *Куда* идет этот Старик?

Уинстон поджал губы и ничего не ответил.

— Ладно, что это такое? — Она ткнула в один из белых кругов.

— Соляная яма, — ответил он.

— А вот это?

— Соляная яма.

— А это?

— Соляная яма. Все это — соляные ямы.

— Значит, Старик идет по соляным ямам?

— Да.

— Ну и история! Негусто. — Миссис Хаустон пожала плечами. — А что это за закорючки между ними?

— Питджури, — ответил Уинстон.

Питджури — это слабый наркотик, аборигены жуют его, чтобы подавить чувство голода. Уинстон повращал головой и глазами из стороны в сторону, как человек, нажевавшийся питджури. Зрители засмеялись. Не засмеялась только миссис Хаустон.

— Понимаю, — сказала она. Затем, как бы думая вслух, она принялась набрасывать канву истории. — Древний белобородый Предок, умирая от жажды, устало бредет домой по сверкающей соляной яме и вдруг находит на дальнем берегу растение питджури…

Она прикусила карандаш и посмотрела на меня, как бы ища подтверждения.

Я одобрительно улыбнулся.

— Да, прекрасно, — сказала она. — Хорошее начало.

Уинстон оторвал взгляд от холста и уставился на нее.

— Понятно, — сказала она. — Мне все понятно! А теперь нам нужно сговориться о цене, так? Сколько я заплатила тебе в последний раз?

— Пятьсот долларов, — ответил он угрюмо.

— А какой задаток я давала тебе за эту работу?

— Двести.

— Правильно, Уинстон. Ты все хорошо помнишь. Ну а теперь придется возмещать ущерб. Допустим, мы вычитаем сотню за реставрацию — и я плачу тебе еще триста? Это на сотню больше, чем в прошлый раз. Тогда мы будем квиты.

Уинстон не шевельнулся.

— А еще мне нужна будет твоя фотография, — продолжала она болтать. — Думаю, тебе стоит одеться поприличней. Нам нужен хороший новый снимок для каталога.

— НЕТ! — проревел Уинстон.

— Что значит — «нет»? — Миссис Хаустон была ошарашена. — Ты не хочешь фотографироваться?

— НЕТ! — проревел он еще громче. — Я хочу больше денег!

— Больше денег? Я… я… не понимаю.

— Я сказал: БОЛЬШЕ… ДЕНЕГ!

Она изобразила огорчение, как будто ей приходится иметь дело с неблагодарным ребенком, и холодным тоном спросила:

— Сколько?

Уинстон опять загородил лицо руками.

— Сколько ты хочешь? — настаивала она. — Я здесь не для того, чтобы попусту тратить время. Я назвала свою цену. Теперь ты называй свою.

Тот не проронил ни звука.

— Это просто смешно, — заявила она.

Он по-прежнему молчал.

— Я не собираюсь делать других предложений, — сказала она. — Ты сам должен назначить цену.

Ни слова.

— Ну, давай выкладывай. Сколько?

Уинстон выбросил вниз ту руку, что была ниже, сделал ладошкой треугольную щель и прокричал через нее:

— ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ!

Миссис Хаустон чуть не упала со стула:

— Шесть тысяч долларов! Что за шутки?

— А почему тогда, вашу мать, на своей паршивой выставке в Аделаиде вы продаете одну мою картину за семь тысяч? А?

Если всерьез задуматься о настоящих чудовищах, угрожавших первому человеку, то нелепо даже предполагать, будто племенная вражда или войны были частью изначального устройства общества. Нет — только классические формы сотрудничества.

Ибн Хальдун пишет, что, наделив животных естественными средствами защиты, Бог даровал

человеку способность думать. Сила мысли позволила ему изготовлять разные виды оружия — копья вместо рогов, мечи вместо когтей, щиты вместо толстой шкуры — и собираться в общины для их производства.

Поскольку поодиночке люди были бессильны против дикого зверя — особенно хищного зверя, — то защитить себя можно было, только держа оборону сообща. Однако в условиях цивилизации обладание оружием, придуманным для защиты от хищников, привело к войнам «всех против всех».

* * *

Какое же оружие помогало отогнать такого монстра, как динофелис?

Конечно же, огонь. Я почти уверен, что когда-нибудь исследователи найдут свидетельства тому, что *Homo habilis* действительно использовал огонь.

А как же обычное оружие или каменные топоры? Бесполезно! Дубинка? Еще хуже! Лишь копье или дротик, вроде тех, что святой Георгий вонзает в глотку дракона, мог бы принести желанный результат: дротик, брошенный молодым человеком в расцвете физических сил с безошибочной

точностью.

* * *

Демокрит (фрагмент 154) говорил, что негоже людям похваляться своим превосходством над животными, потому что во многих очень важных вещах именно они были нашими учителями: у паука мы научились ткать и штопать, у ласточки — зодчеству, у лебедя и соловья — пению.

Список этот можно продолжать до бесконечности: летучей мыши мы обязаны радаром, дельфину — сонаром, а рога, как отметил Ибн Хальдун, навели нас на мысль о дротиках.

* * *

Сесрием, пустыня Намиб

Стаи страусов, стада зебр и сернобыков (африканских ориксов) движутся в первых лучах солнца по оранжевым дюнам. Дно долины представляет собой море серых камешков.

Смотритель парка говорил, что прямые рога сернобыка — идеальное оружие против леопарда, однако на деле они наглядно демонстрируют издержки чрезмерной специализации: иногда два

самца, вступая в битву из-за самки, пропарывают друг друга насмерть.

Когда мы вышли из машины, за кустом неподалеку стоял сернобык. Служитель остерег нас: известны случаи, когда сернобыки насмерть протыкали человека.

* * *

Согласно одному библейскому преданию, знаком, которым Бог отметил Каина, были рога: чтобы защищаться от зверей пустыни, жаждавших отомстить за убийство своего повелителя Авеля.

* * *

Необычный образ из «Моралий» папы Григория Великого: тело Христово как наживка для Зверя.

* * *

Третьим изобретением, которое остается невидимым для археологов, была, пожалуй, перевязь — из ткани или кожи, — в которой мать переносила грудного ребенка: это приспособление оставляло руки свободными для сбора корней

или ягод.

Таким образом, эта перевязь стала первым в мире средством транспорта.

Вот что пишет Лорна Маршалл о бушменах-кунг: «Они переносят детей и пожитки в кожаных накидках. Голые младенцы едут у левого бока матери, их поддерживают перевязи из мягкой кожи дукеров».

У охотничьих народов нет молока от одомашненных животных; а именно молоко, как замечает миссис Маршалл, делает ножки ребенка крепкими. Поэтому их женщины не могут отлучать детей от груди, пока тем не исполнится три-четыре года или даже больше. Иногда матери или отцу приходится нести ребенка, пока тот не сможет совершить дневной переход самостоятельно: иногда это расстояния в девяносто или даже сто пятьдесят километров, с двумя-тремя остановками для сна на пути.

Таким образом, супружеская пара — это устройство для переноски и защиты дитяти.

* * *

Покойный К. У. Пек записал миф из западного Нового Южного Уэльса о происхождении оружия.

Мне кажется, его смысл имеет универсальную ценность.

Давным-давно, когда у человека еще не было оружия и он был беззащитен против диких зверей, множество людей стояли лагерем у стечения рек Лахлан и Маррамбиджи. Был очень жаркий день. Даль искажали миражи, и все отдыхали в тени. Внезапно на лагерь напала тьма гигантских кенгуру и принялась мощными лапами крушить спящих. В панике люди бросились в бегство, но уцелели немногие.

Среди уцелевших был один вождь, и он созвал людей на сходку, чтобы всем вместе придумать, как обороняться от зверей. На этой сходке люди изобрели копья, щиты, дубинки и бумеранги. А поскольку многие молодые матери в спешке побросали своих младенцев, то люди изобрели и хитроумную колыбель из коры.

Дальше в этой истории говорится о том, как самый умный из людей, вымазавшись до неузнаваемости жиром и грязью, подкрался к кенгуру и прогнал их огнем.

В доисторической Австралии действительно водились гигантские кенгуру — и впрямь чрезвычайно опасные, если загнать их в угол, однако они *не* были хищниками и *не* нападали на человека.

* * *

Что касается молодых героев, то они могли становиться «пригодными», только пройдя самые суровые испытания с равными себе: в борьбе, в схватках, в мастерстве владения разным оружием. Юность — драчливый период. Потом все враждебные чувства выплескиваются — или должны выплескиваться — вовне, на главного Врага.

«Вечные воители» — это те, кто так и не сумел повзрослеть.

* * *

Нигер

Начальником лагеря была француженка мадам Мари, с волосами цвета золотой рыбки. Она недолюбливала других белых людей. Разведясь с мужем из-за своих любовных связей с черными мужчинами, она лишилась виллы, «мерседеса», бассейна *en forme de rognon*[125], зато бриллианты забрала с собой.

В третий вечер она организовала *soirée*

---

[125] Примечания: 125
В форме боба *(фр.)*.

musicale[126], набрав на афишах одинаковым шрифтом имена исполнителей: *Anou et ses Sorciers Noirs*[127] и свое собственное — *Marie et son Go.* Когда представление окончилось, она взяла одного из колдунов к себе в постель, а в половине третьего ночи у нее случился сердечный приступ. Колдун выбежал из ее спальни, лопоча: «Я не прикасался к мадам».

На следующий день она отвергла все попытки докторов отправить ее в больницу и лежала на кровати совсем ненакрашенная, глядела в окно на поросшую колючками пустыню и вздыхала: «La lumière… Oh! La belle lumière…»[128]

Около одиннадцати часов прибыли двое юношей-бороро. На них были легкомысленные короткие женские юбочки и соломенные шляпки.

Бороро — племя кочевников, которое скитается по всей пустыне Сахель, презирает любую материальную собственность и вкладывает всю энергию, все чувства в разведение красивого лиророгого скота, а также культивирует телесную

---

[126] Примечания: 126
Музыкальный вечер *(фр.)*.

[127] Примечания: 127
Ану и его черные колдуны *(фр.)*.

[128] Примечания: 128
«Свет… О, прекрасный свет…» *(фр.)*

красоту.

Юноши — у одного были бицепсы штангиста, второй был строен и прекрасен — пришли спросить у Мари, нет ли у нее какой-нибудь лишней косметики.

— Mais sûrement…[129]

Она позвала нас в спальню.

Дотянувшись до своей сумочки, Мари высыпала ее содержимое на постельное покрывало и принялась перебирать его, время от времени приговаривая: «Non, pas ça!»[130] Ребята взяли по одному из оттенков губной помады, лака для ногтей, теней для век и карандашей для бровей. Завернули свою добычу в головной платок. Еще она отдала им несколько старых номеров журнала *«Elle»*. Потом они прошлепали сандалиями по террасе и со смехом убежали.

— Это для их обряда, — объяснила мне Мари. — Сегодня ночью они оба станут мужчинами. Вы должны на это посмотреть! *Un vrai spectacle*[131].

— Обязательно посмотрю, — ответил я.

---

[129] Примечания: 129
Ну конечно… *(фр.)*

[130] Примечания: 130
«Нет, не то!» *(фр.)*

[131] Примечания: 131
Настоящий спектакль *(фр.)*.

— За час до заката, — сообщила она. — Перед дворцом эмира.

С крыши дворца эмира мне открывался отличный вид на двор, где играли трое музыкантов — трубач, барабанщик и человек, дергавший за струны трехструнного инструмента с тыквой-горлянкой в качестве резонатора.

Человек, сидевший рядом со мной, *ancien combattant*[132], хорошо говорил по-французски.

Вышел «мастер обрядов» и велел двум молодым помощникам обозначить на земле круг, насыпав белого порошка, чтобы получилось подобие цирковой арены. Когда это было сделано, молодые люди встали на страже «сцены» и начали отгонять всех, кто пытался проникнуть за эту границу, пуками пальмовых волокон.

Среди зрителей было много женщин-бороро среднего возраста с дочерьми. На дочерях было нечто вроде белых вуалей. На матерях — одежда цвета индиго, в ушах болтались большие медные кольца. Они смотрели на предполагаемых зятьев с видом бывалых посетительниц рынка чистокровных животных.

Во внутреннем дворе стояли ребята, которые

---

[132] Примечания: 132
Бывший фронтовик *(фр.)*.

в течение последних четырех лет должны были щеголять в женских нарядах. Мы услышали многоголосый крик — и вот под рокот барабанов вышли двое юношей, вымазанные гримом из косметички Мари.

У крепыша вокруг губ был нарисован розовый лук Купидона; ногти у него были алыми, веки — зелеными. На пышном платье без бретелек лавандовые полоски были нашиты на розовую нижнюю юбку. Впечатление портили ядовито-зеленые носки и кроссовки.

Его друг, красавец, нарядился в тугой лиловый тюрбан, облегающее платье с белыми и зелеными полосками; он явно лучше разбирался в современной моде. Губная помада была нанесена очень аккуратно, а на щеках розовыми и белыми чертами он нарисовал два четких прямоугольника. На нем были зеркальные черные очки, он любовался собой в маленькое зеркальце.

Толпа потешалась.

Еще один молодой бороро вынес им на выбор дубинки, все только что вырезанные из ствола акации. Выбор оружия он предоставил красавцу.

Сняв темные очки, красавец томно указал на самую большую дубинку, сунул что-то себе в рот и помахал своим друзьям на крыше. В ответ они

издали одобрительный рев и подняли на остриях копий пластмассовые канотье.

Мастер обрядов взял выбранное красавцем оружие и с торжественным видом официанта, подающего на стол шато-лафит, вручил крепышу дубинку.

Затем на середину круга вышел красавец и, держа солнцезащитные очки над головой, запел фальцетом. Тем временем его друг, обеими руками держа дубину и размахивая ею, выделывал пируэты с другой стороны очерченного круга.

Барабанщик ускорил темп. Красавец пел так, что, казалось, у него вот-вот лопнут легкие, а крепыш, продолжая кружиться, подходил к нему все ближе. Наконец одним костедробительным ударом он обрушил дубину на ребра своего друга, а тот издал победный клич «Яу…о…о…о…о…!», но не дрогнул.

— О чем он поет? — спросил я у соседа-ветерана.

— Он поет: «Я могу убить льва… У меня самый большой член… Я могу удовлетворить тысячу женщин…» — ответил тот.

— Ну конечно, — сказал я.

Они проделали то же самое еще два раза, а потом настал черед красавца дубасить крепы-

ша. Когда с этим тоже было покончено, они оба — лучшие друзья и побратимы на всю жизнь — принялись скакать вокруг зрителей, а те протягивали к ним руки и совали банкноты прямо в размалеванные лица.

Держась за руки, юноши направились обратно во дворец. Потом через те же обряды прошли еще две пары, но те были уже не такими «шикарными». Потом и они удалились.

Помощники стерли белый круг, и зрители толпой потянулись во двор, ожидая какого-то события.

Было уже почти темно, когда из внутреннего двора долетели леденящие кровь крики. Снова барабанная дробь — и вот стройным шагом вышли все шестеро, напряженные и блестящие от пота, в черных кожаных юбках, в шапках со страусиными перьями, покачивая плечами, размахивая мечами: они шли соединяться с девушками.

— Теперь они мужчины, — сказал мне фронтовик.

Я поглядел сквозь полумрак вниз: множество сине-черных фигур напоминали ночные волны с барашками, среди них крапинками поблескивали серебряные украшения.

35

Рольф и Уэнди, чтобы не мешать друг другу, занимали отдельные жилища. Рольф с книгами жил в трейлере. Уэнди в те ночи, когда ей хотелось побыть одной, спала в бетонном сарайчике. Раньше, когда уроки проводились на открытом воздухе, тот служил школьным складом.

Как-то раз она пригласила меня зайти посмотреть, как она работает над словарем. Моросил дождик. С запада надвигалось легкое дождевое облако, и все попрятались по хижинам.

Я застал ее со стариком Алексом: оба сидели на корточках над лотком с ботаническими образцами — стручками, засушенными цветами, листьями и корешками. На Алексе было фиолетовое бархатное пальто. Уэнди давала ему образец, тот вертел его так и эдак, подносил к свету, что-то шептал себе под нос, а потом произносил его название на пинтупи. Она просила его повторять названия по нескольку раз, чтобы не ошибиться в фонетическом звучании. Затем прикрепляла к образцу ярлычок с подписью.

Алекс не узнал только одного растения — засу-

шенную головку чертополоха.

— Это принес белый человек, — нахмурился он.

— Да, он прав, — сказала мне Уэнди. — Этот вид завезен сюда европейцами.

Она поблагодарила его, и он ушел, перебросив копья через плечо.

— Настоящий клад, — сказала она, улыбаясь ему вослед. — Но расспрашивать приходится понемногу: внимание у него быстро рассеивается.

Если у Рольфа все валялось как попало, то у Уэнди царила аскетичная строгость. Одежду она держала в чемодане. В комнате стоял металлический серый остов кровати, умывальник и телескоп на треножнике.

— Семейная реликвия, — пояснила она. — Он еще деду принадлежал.

Иногда она выволакивала кровать за дверь и, прежде чем заснуть, наблюдала звездное небо.

Она взяла лоток Алекса и повела меня в другой сарайчик, жестяной и еще более тесный. Там на подставках было разложено множество разных образцов — не только растений, но и птичьих яиц, насекомых, рептилий, птиц, змей и пород камней.

— Я же вроде как этноботаник, — рассмеялась

она. — Но все это постепенно вышло из-под контроля.

Алекс был ее лучшим информатором. Его познания в области растений оказались неиссякаемы. Он так и сыпал названиями разных видов, сообщал, когда и где каждый из них цветет. Они ему служили чем-то вроде календаря.

— Когда работаешь здесь вот так в одиночестве, — сказала Уэнди, — в голову лезут всякие сумасшедшие идеи, а проверить их не на ком. — Она снова засмеялась. — Хорошо, что у меня есть Рольф, — добавила она. — Ему-то ни одна идея не кажется слишком безумной.

— Например?

Уэнди не училась на лингвиста. Однако, работая над словарем, она заинтересовалась мифом о Вавилонской башне. Почему, если жизнь у всех аборигенов протекала более или менее одинаково, в Австралии возникло около двухсот языков? Можно ли это объяснить только межплеменной враждой и обособлением? Конечно нет! Она склонялась к мысли, что сам язык тесно связан с расселением различных видов по земле.

— Иногда я прошу старика Алекса назвать мне какое-нибудь растение, а в ответ слышу: «Безымянное», что означает: «Это растение не растет

на моей земле».

Тогда она разыскивала другого информатора, который ребенком жил там, где это растение росло, и выяснялось, что название у него все-таки имеется.

«Сухая сердцевина» Австралии, продолжала она, представляет собой мозаику микроклиматов: в каждой местности почва таит свои минералы, произрастают разные растения, водятся разные животные. Человек, выросший в одной части пустыни, досконально знает «свою» флору и фауну. Знает, какое растение привлекает ту или иную дичь. Знает местные источники вод. Знает, где искать съедобные клубни под землей. Иными словами, благодаря тому, что он *знает по имени* все вещи на своей территории, ему не грозит гибель.

— Но если, скажем, с завязанными глазами отвести его в чужую землю, — сказала Уэнди, — он может заблудиться и умереть с голоду.

— Потому что утратит привычную опору?

— Да.

— Ты хочешь сказать, что человек как бы создает свою территорию, называя все имеющиеся там *вещи*.

— Да, именно! — Ее лицо просияло.

— Тогда выходит, никакой основы для всемирного языка никогда не существовало?

— Да. Да.

Уэнди рассказала, что и в наши дни мать-туземка, заметив у своего ребенка первые позывы к речи, дает ему потрогать *вещи*, которые имеются на их земле: листья, плоды, насекомых и так далее.

Ребенок, сидя у материнской груди, начинает играть с *вещью*, лопотать ей что-то, пробовать на зуб, запоминает ее название, повторяет его — и наконец выбрасывает.

— Мы дарим нашим детям пистолеты и компьютерные игры, — сказала Уэнди. — *Они* дарили своим детям землю.

Величайшая задача поэзии – наделять смыслом и страстью бесчувственные вещи; детям свойственно брать в руки неодушевленные предметы и разговаривать с ними, играя, как будто они – живые существа… Эта филологически-философская аксиома доказывает нам, что в ту пору, когда мир еще проживал свое детство, люди по природе своей были величайшими поэтами…

Джамбаттиста Вико. Новая наука, XXXVII

Люди дают выход бурным страстям, разражаясь песней: мы наблюдаем это у тех, кто объят страшным горем или, наоборот, преисполнен великой радости.

Джамбаттиста Вико. Новая наука, LIX

* * *

Древние египтяне считали, что вместилищем души является язык: язык был тем рулем или

веслом, с помощью которого человек плыл по реке жизни.

* * *

В «примитивных» языках слова очень длинные, они состоят из очень сложных сочетаний звуков; их скорее поют, чем просто проговаривают… Вероятно, первые в мире слова были по сравнению с современными тем же, чем были плезиозавр и гигантозавр по сравнению с современными пресмыкающимися.

О. Йесперсен. Язык

* * *

Поэзия – родной язык человеческого рода; точно так же и сад старше поля, рисунок старше письма, песня старше декламации, притчи старше умозаключений, а обмен старше торговли…

***И. Г. Гаманн. Aesthetica in Nuce*[133]**

---

[133] Примечания: 133
Эстетика в зародыше *(лат.)*.

* * *

Всякий страстный язык невольно делается музыкальным – с музыкой более тонкой, нежели простой акцент; речь человека, охваченного праведным гневом, становится настоящей поэмой, песнью.

Томас Карлейль, цитируется у Йесперсена в «Языке»

* * *

Слова добровольно льются из груди, без нужды и без намерения, и ни в одной пустыне не было, наверное, ни одного кочевого племени, у которого не имелось бы собственных песен. Как животный вид человек есть певчее создание, однако с музыкальным мотивом он сопрягает мысли.

Вильгельм фон Гумбольдт. Языковая изменчивость и развитие интеллекта

* * *

Согласно Штрелову, на языке аранда слово *тнакама* означает «называть по имени», а также «доверять» и «верить».

* * *

> Поэзия никогда не выступает более возвышенным тоном *(мелосом)* повседневной речи. Скорее наоборот: повседневный язык является забытой и потому затертой поэмой, в которой почти не слышно прежнего зова.
>
> ***Мартин Хайдеггер. Язык***

* * *

Ричард Ли подсчитал, что бушменский ребенок проезжает на руках родителей расстояние примерно в 7400 километров, прежде чем начинает ходить сам. Поскольку на протяжении этой ритмической фазы он постоянно повторяет названия всего, что есть на его территории, он просто не может не вырасти поэтом.

* * *

Пруст с большей проницательностью, чем какой-либо другой писатель, напоминает нам о том, что сырьем нашего сознания становятся детские прогулки:

«Цветы, которые я вижу теперь впервые, кажутся мне ненастоящими. Направление в Мезеглиз с его сиренью, боярышником, васильками, маком, яблонями, направление в Германт с рекой, где было полно головастиков, с кувшинками и лютиками навсегда сложили для меня представление о стране, где мне хотелось бы жить… Васильки, боярышник, яблони, которые попадаются мне теперь, когда я гуляю, расположены на глубине, на уровне моего прошлого, они мгновенно находят доступ к моему сердцу»[134].

* * *

Общее правило биологии гласит, что мигрирующие виды менее агрессивны, чем оседлые.

Для этого есть одна объективная причина. Сама миграция, как и паломничество, — полное тягот

[134] Примечания: 134

Цитата из романа М. Пруста «По направлению к Свану» (перевод Н. Любимова).

странствие: уравнитель, в котором приспособленные выживают, а отстающие погибают.

Таким образом, странствие отменяет необходимость в иерархии и демонстрации господства. «Диктаторами» животного царства являются те, кто живет в благополучной среде. Анархисты же, как всегда, — «разбойники с большой дороги».

* * *

Что поделаешь? Мы появились на свет с Великой Тревогой. Отец учил нас, что жизнь – долгий путь, с которого сбиваются лишь неприспособленные.

Эскимос-карибу в беседе с доктором Кнудом Расмуссеном

* * *

Последняя запись напоминает мне о неопровержимой находке — ископаемых остатках двух особей *Homo habilis*, которые были притащены в пещеру Сварткранс и там съедены: одним был мальчик с опухолью мозга; второй — старуха, больная артритом.

* * *

Из работ, которые рекомендовала мне почитать Элизабет Врба, одна называлась «Состязание или мирное существование?» и принадлежала перу Джона Уинса.

Уинс — орнитолог, работавший в Нью-Мексико, — изучал поведение перелетных певчих птиц: американских спиз, пустынных овсянок, горных кривоклювых пересмешников, которые каждое лето возвращаются вить гнезда в засушливые земли Западных равнин.

В тех краях, где вслед за голодным годом может наступить внезапная пора изобилия, птицы не увеличивают свою численность в соответствии с количеством корма; не возрастает и конкуренция между соседями. Похоже на то, заключил Уинс, что в сообществе мигрантов существует некий внутренний механизм, благоприятствующий товариществу и сосуществованию.

Далее он утверждает, что великий дарвиновский принцип «борьбы за существование», как это ни парадоксально, гораздо более актуален для устойчивого климата, чем для склонного к изменениям. В местах гарантированного изобилия животные метят и защищают свои участки

территории весьма воинственно. В неблагополучных, бедных кормом местах, где природа редко бывает щедрой — зато достаточно пространства для перемещения, — животные ухитряются извлекать пользу из имеющихся скудных ресурсов и потому приучаются жить без драк.

* * *

В книге «Традиции аранда» Штрелов сопоставляет два центральноавстралийских народа: один — оседлый, второй — подвижный.

Аранда, живущие в земле, где есть надежные источники и в изобилии водится дичь, были архиконсерваторами. Их церемонии оставались неизменными, обряды инициации отличались крайней жестокостью, а святотатство каралось смертью. Аранда считали себя «чистым» народом и редко покидали родные края.

Люди Западной Пустыни, напротив, были столь же открытыми, сколь аранда — замкнутыми. Свободно заимствовали друг у друга песни и танцы, любили родную землю ничуть не меньше, чем аранда, но вечно находились в пути. «Самое поразительное в этих людях, — пишет Штрелов, — их смех. Это веселый, смешливый народ, который ведет себя так, словно никогда в жизни не ведал

забот. Аранда, приобщившиеся к цивилизации на овцеводческих станциях, говорят про них: „Они вечно смеются. Не умеют сдерживаться“».

* * *

Поздний летний вечер на Манхэттене; толпы устремляются прочь из города, едут на велосипедах по Нижней Парк-авеню, куда с поперечных улиц свет падает косыми лучами, а целые стаи бабочек-монархов — коричневых в тени, золотых в солнечных лучах — летят мимо Пан-Ам-билдинга, появляясь от статуи Меркурия на Центральном вокзале, и дальше, через центр города, летят в сторону Карибского моря.

* * *

Читая о миграциях разных животных, я узнал о странствиях трески, угря, селедки, сардины и о самоубийственных массовых исходах леммингов.

Я взвешивал все доводы за и против существования шестого чувства — магнетического чувства сторон света, — которое таилось бы в глубинах центральной нервной системы человека. Я видел

переход антилоп гну по Серенгети[135]. Читал о птенцах, которые учатся перелетам от своих родителей, о кукушатах, которые совершенно точно не знали своих родителей, и потому, наверное, тяга к странствиям записана у них в генах.

Все миграции животных изначально обусловлены сдвигами климатических поясов, а в случае зеленой черепахи — сдвигом самих континентов.

Возникали разные теории относительно того, как птицы определяют свое положение: по высоте солнца, по фазам луны, по восходу и заходу звезд — и как они вносят поправки в свой курс, если во время полета их сносит в сторону бурей. Некоторые утки и гуси умеют «распознавать» лягушачьи концерты и тем самым «определять», что пролетают над болотами. Другие ночные летуны кричат, опуская голову вниз, и, вслушиваясь в эхо, определяют, на какой высоте находятся и каков характер местности под ними.

Рев мигрирующих косяков рыб способен проникать через стенки кораблей и среди ночи будить моряков. Лосось знает на вкус воду родной реки. Дельфины прибегают к эхолокации:

---

[135] Примечания: 135

Серенгети — национальный парк в Танзании.

издают звуки, направляя их в сторону подводных рифов, чтобы по характеру отраженной звуковой волны понять, есть ли там безопасный проход… Мне даже приходило в голову, что, когда дельфин производит «триангуляцию», чтобы установить свое местонахождение, его поведение уподобляется нашему: ведь мы все время называем и сравниваем вещи, с которыми встречаемся в повседневной жизни, и тем самым определяем свое место в мире.

В каждой из книг, с которыми я знакомился, совершенно буднично рассказывалось о самой удивительной из птичьих миграций — о перелете полярной крачки: эта птица гнездится в тундре, зимует в антарктических водах, а потом летит обратно на север.

* * *

Я захлопнул книгу. Кожаные кресла Лондонской библиотеки нагоняли на меня сон. Человек, сидевший рядом со мной, уже храпел, распластав литературный журнал у себя на животе. «К черту миграцию!» — сказал я себе. Сложил книги стопкой на столе. Мне хотелось есть.

На улице было холодно, стоял солнечный декабрьский день. Я надеялся напроситься на обед

к одному приятелю. Шел по улице Сент-Джеймс и уже поравнялся с клубом «Уайтс», как вдруг там притормозило такси, и из него вышел человек в пальто с бархатным воротником. Он протянул пару фунтовых бумажек таксисту и направился к ступенькам клуба. У него были густые седые волосы и сплошная сетка кровеносных сосудов на лице — будто на щеки ему натянули прозрачный красный чулок. Это был герцог — я узнал его по фотографиям из прессы.

В тот же миг другой человек — в старой солдатской шинели, в башмаках, зашнурованных обрывками бечевки, на босу ногу — ринулся ему навстречу с заискивающей улыбкой на лице.

— Э… Простите за беспокойство, сэр, — проговорил он с сильным ирландским акцентом. — Я подумал, может быть…

Герцог молча скрылся за дверью клуба.

Я поглядел на бродягу, и тот понимающе подмигнул мне. Над пятнистым черепом развевались жидкие рыжеватые пряди. У него были водянистый просительный взгляд, скошенные к носу зрачки. Лет ему было, наверное, около семидесяти. Оглядев меня, он явно счел, что у такого типа даже не стоит клянчить деньги.

— У меня есть идея, — сказал я ему.

— Да, командир?

— Вы ведь человек странствующий, верно?

— Весь мир изъездил, командир.

— Ну так вот: если вы согласитесь рассказать мне о ваших путешествиях, я с удовольствием угощу вас обедом.

— С радостью соглашусь.

Мы завернули за угол и дошли до битком набитого недорогого итальянского ресторана на Джермин-стрит. Один свободный столик там все-таки нашелся.

Я не стал предлагать моему спутнику снять шинель, опасаясь того, что́ может под ней обнаружиться. Запах от него исходил неописуемый. Две хорошенькие секретарши попятились от нас, подбирая юбки, словно ожидая нашествия блох.

— Что будете есть?

— Мм… А вы что?

— Не стесняйтесь, — сказал я. — Заказывайте все, что хотите.

Он проглядел меню, держа его вверх ногами с уверенным видом завсегдатая, который чувствует себя обязанным ознакомиться с *plat du jour*[136].

---

[136] Примечания: 136
Дежурным блюдом *(фр.)*.

— Бифштекс с жареной картошкой! — сказал он.

Официантка прекратила покусывать кончик карандаша и бросила страдальческий взгляд на секретарш.

— Задок или филей? — спросила она.

— Как вам угодно, — ответил бродяга.

— Два филея, — уточнил я. — Один средний. Один средний с кровью.

Он утолил жажду пивом, однако его ум был загипнотизирован предвкушением еды, из уголков рта уже текли слюнки.

Я знал, что у бродяг имеется особая методика, что они регулярно наведываются к одним и тем же полюбившимся мусорным ящикам. А в чем, спросил я его, заключается его метод попрошайничать около лондонских клубов?

Он на минутку задумался, а потом ответил, что лучшее место — это «Атенеум». Среди его членов еще попадаются религиозные джентльмены.

— Да, — задумчиво произнес он. — Там можно и шиллинг выпросить у какого-нибудь епископа.

Вторым по счету «рыбным» местом в прежние времена был клуб «Тревеллерз». Состоявшие в нем джентльмены, как и он сам, повидали мир.

— Можно сказать, родственные души, — заме-

тил он. — Но теперь… не то… не то…

Теперь «Тревеллерз» сильно изменился, не то что раньше. Туда ходят люди совсем другого склада.

— Рекламные работники, — сказал он хмуро. — Очень прижимистые, могу вас заверить.

Он добавил, что «Брукс», «Будлз» и «Уайтс» относятся к той же категории. Слишком высокий риск! Или щедрость… или ни шиша!

Когда наконец принесли бифштекс, мой визави начисто лишился способности поддерживать беседу. Он со слепой яростью набросился на мясо, поднес тарелку к самому лицу, принялся слизывать соус, а потом, вспомнив о том, где находится, снова поставил тарелку на стол.

— Добавки? — спросил я.

— Не откажусь, командир, — отозвался бродяга. — Очень любезно с вашей стороны!

Я заказал еще порцию, а он между тем начал рассказывать историю своей жизни. И она заслуживала внимания! Это была именно такая развернутая повесть, какую я желал услышать: бедная ферма в графстве Голуэй, смерть матери, Ливерпуль, Атлантика, скотные загоны в Чикаго, Австралия, Великая депрессия, острова Южных морей…

— О-о-о! Вот это место, молодой человек! Таити! Ва-инес!

Он высунул язык, провел им по нижней губе.

— Ваинес! — повторил он. — Так там называют женщин… О-о-о! Кра-сотки! Занимался этим делом, стоя под водопадом!

Секретарши попросили счет и ушли. Я заметил тяжелые челюсти метрдотеля, который сверлил нас враждебным взглядом. Я уже начал опасаться, что сейчас нас вышвырнут.

— Ну хорошо, — сказал я. — Я хотел бы у вас еще кое-что спросить.

— Да, командир! — отозвался бродяга. — Я само внимание.

— Вы бы хотели когда-нибудь вернуться в Ирландию?

— Нет. — Он прикрыл глаза. — Нет, туда я не хочу. Слишком много неприятных воспоминаний.

— Ну а есть ли на свете такое место, которое вы считаете своим домом?

— Конечно есть. — Он снова вскинул голову и усмехнулся. — *Promenade des anglais*[137] в Ницце. Когда-нибудь слышали о ней?

— Доводилось, — ответил я.

---

[137] Примечания: 137
Английская набережная *(фр.)*.

Однажды летней ночью, гуляя по набережной, он разговорился с очень обходительным французским джентльменом. Они битый час обсуждали по-английски международные дела. Затем джентльмен достал из бумажника купюру в 10 тысяч франков — «Старыми, заметьте, старыми!» — и, вручив свою визитную карточку, пожелал бродяге приятного отдыха.

— Тысяча чертей! — прокричал он. — Это оказался начальник полиции!

При любой возможности он пытался вернуться к этому достопамятному и самому трогательному эпизоду своей карьеры.

— Да, — хихикал он. — Я стрельнул милостыню у начальника полиции… в Ницце!

Ресторан был уже не таким заполненным. Я заказал бродяге две порции яблочного пирога. От кофе он отказался, объяснив, что от него болит живот. Он рыгнул. Я расплатился.

— Благодарю вас, сэр, — произнес бродяга с видом человека, который закончил давать очередное из множества интервью, назначенных на сегодня. — Надеюсь, мой рассказ был вам полезен.

— Безусловно. — Я тоже его поблагодарил.

Он поднялся, но вдруг снова сел и внимательно

на меня посмотрел. Он ведь описывал только внешние события своей жизни, но еще не сказал ни слова об их внутренней мотивации.

Медленно и очень серьезно он проговорил:

— Меня будто какая-то сила все тянет и тянет в путь-дорогу. Я как полярная крачка, командир. Это птица такая. Красивая белая птица — она летит с Северного полюса на Южный, а потом обратно.

36

Всю ночь лил дождь, а утром, когда я выглянул в окно, светило солнышко; от склона горы Либлер будто отслаивались багровые облака пара.

В десять часов мы с Рольфом отправились на поиски Хромоножки. От Аркадия, с запозданием в три недели, пришло сообщение, чтобы мы ждали его с почтовым самолетом. Важно… тут он повторял — «очень важно», чтобы Хромоножка и Титус были на месте.

Над долиной разносился лекарственный запах эвкалиптовых костров. Почуяв наше приближение, завыла собака. Люди сушили одеяла.

— Хромоножка! — позвал Рольф, и едва слышный голос отозвался из обветшалого трейлера, стоявшего чуть выше, на холме. — Ах вот они где! — сказал Рольф.

На трейлере была сделана краской оптимистичная надпись: «Рекреационный центр». Внутри стоял шаткий пинг-понговый столик без сетки, покрытый пленкой рыжей пыли.

На полу сидели трое величавых стариков — Хромоножка, Алекс и Джошуа — в головных

уборах. На Хромоножке была ковбойская шляпа, на Джошуа — бейсбольная кепка, как у янки, а на Алексе — великолепный поношенный головной убор бушвакеров[138].

— Титус там, у скважины? — спросил Рольф.

— Конечно там! — сказал Хромоножка.

— Он никуда не ходит?

— Нет! — Тот покачал головой. — Там все время.

— Откуда ты знаешь? — спросил Рольф.

— Знаю, — ответил Хромоножка и закончил разговор.

Рольф уже рассказывал мне, что Алексу принадлежит подвеска из перламутровой раковины с берега Тиморского моря, какие с незапамятных времен имели хождение по всей Австралии. Их использовали в обрядах вызывания дождя: в этом году подвеска Алекса уже сделала свое дело. И тут он удивил нас, запустив руку куда-то между пуговицами своего бархатного пальто и выудив за конец веревочки эту подвеску.

На раковине был процарапан узор — зигзагообразный меандр, натертый рыжей охрой. Похоже, подвеска болталась у него между ног.

---

[138] Примечания: 138

Бушвакеры — американские партизаны во время войн XVIII–XIX веков. — *Примеч. ред.*

На первый взгляд такие подвески напоминают чуринги, но для посторонних глаз они необязательно являются чем-то запретным.

— Откуда она? — спросил я, показав на раковину.

— Из Брума, — уверенно ответил Алекс.

Он провел указательным пальцем черту на пыльном пинг-понговом столике и отбарабанил названия всех остановок в пустыне Гибсон, между Калленом и Брумом.

— Хорошо, — сказал я. — Значит, вы получаете перламутровые раковины из Брума? А что посылаете взамен?

Он задумался, потом нарисовал в пыли удлиненный овал.

— Дощечку, — пояснил он.

— Чурингу? — переспросил я.

Он кивнул.

— Священные предания? Песни и так далее?

Он снова кивнул.

— Это очень интересно, — сказал я Рольфу, когда мы зашагали обратно.

Песня до сих пор остается средством дать имя земле, где она поется.

Мартин Хайдеггер. Зачем нужны поэты?

* * *

До того как отправиться в Австралию, я часто разговаривал с разными людьми о Тропах Песен, а они обычно припоминали что-нибудь другое.

— Это что-то вроде лей-линий? — спрашивали они, имея в виду древние каменные круги, менгиры и могильники, которые расположены вдоль определенных маршрутов по всей Британии. Это очень древние линии, но видны они только тем, кто умеет видеть.

Синологам сразу приходили на ум «линии дракона», о которых толкует фэншуй, традиционная китайская геомантия. А когда я беседовал с одним финским журналистом, он сказал, что у лапландцев есть «поющие камни», которые тоже выстроены вдоль линий.

Для некоторых Тропы Песен — это нечто вроде искусства памяти наоборот. Из замечательной книги Фрэнсис Йейтс можно узнать, что

классические авторы, например Цицерон и его предшественники, воздвигали целые дворцы памяти: прикрепляли фрагменты своих речей к воображаемым архитектурным элементам, а затем, мысленно обвивая их вокруг каждой колонны, каждого архитрава, заучивали речи колоссальной длины. Такие элементы назывались *loci* — «места». Но в Австралии *loci* — не умственные построения, они существуют испокон веков, как и события, относящиеся ко Временам Сновидений.

Другие мои друзья вспоминали о фигурах и линиях пустыни Наска, которые впечатаны в похожую на безе поверхность пустыни посреди Перу и в самом деле являют собой настоящую тотемную карту.

Однажды мы провели веселую неделю с их добровольной «хранительницей» Марией Райх. Как-то утром я отправился вместе с ней посмотреть на самый необычный из этих рисунков, который виден только на рассвете. Я тащил ее фотооборудование по крутому склону наверх, а сама Мария, которой уже перевалило за семьдесят, шла впереди. И вдруг я с ужасом увидел, как она катится мимо меня и несется вниз, к самому подножию.

Я уже решил, что она переломала себе кости, но она только рассмеялась:

— Мой отец любил говорить: «Раз уж ты покатился — катись до конца».

* * *

Нет. Все те сравнения не годились. Не на этом этапе. Все это было слишком далеко от моих поисков.

Обмен означает дружбу и сотрудничество, а для аборигена главным предметом обмена является песня. Следовательно, песня приносит мир. И все же я догадывался, что Тропы Песен — явление необязательно австралийское: они служили вехами, которыми человек отмечал свою территорию и тем самым устраивал свою социальную жизнь. Все прочие успешные системы являлись вариантами этой исходной модели — или отклонениями от нее.

Главные Тропы Песен, по-видимому, «входят» в страну с севера или с северо-запада — со стороны Тиморского моря или Торресова пролива — и оттуда разбегаются дальше, на юг, по всему материку. Создается впечатление, что они воспроизводят маршруты переселения первых австралийцев — и что те пришли *откуда-то*

извне.

Когда же это произошло? Пятьдесят тысяч лет назад? Восемьдесят, сто тысяч лет? Эти даты ничтожны, если сопоставить их с доисторическим африканским пластом.

И тут мне нужно совершить «прыжок в веру» — в такую область, куда я никого за собой не зову.

Мне видится, как Тропы Песен простираются через века и континенты; и где бы ни ступала нога человека, он повсюду оставлял за собой песенный след (отголоски тех песен мы иногда улавливаем). И следы эти, проходя сквозь время и пространство, ведут в африканскую саванну, где первый человек, раскрыв рот, чтобы защититься от всех обступавших его ужасов, прокричал первую строфу Мировой Песни: «Я ЕСМЬ!»

37

Я услышал шум приземляющегося самолета. Выбежал к взлетно-посадочной полосе и увидел, как с «эски» в руках выходит Аркадий. За ним показалась золотистая копна волос Мэриан. Выглядела она безумно счастливой. На ней было очередное цветастое хлопчатобумажное платье — такое же затрепанное, как и остальные.

— Эй! — прокричал я. — Как прекрасно!

— Привет, дружище! — Аркадий улыбнулся.

Он бросил свою «эски» на землю и заключил нас обоих в медвежьи русские объятия.

— Познакомься с моей мем-саиб[139], — сказал он.

— С кем-кем?

— С моей мем-саиб.

— Вы что, поженились?

— Да.

— Когда?

— Три дня назад, — ответила Мэриан. — И мы соскучились, соскучились по тебе!

---

[139] Примечания: 139

Мем-саиб — обращение к замужней европейской женщине в Индии. — *Примеч. ред.*

— Вот так новости!

— Да уж, — усмехнулась она. — Все это вышло немножко неожиданно.

— Я думал, ты уже женат, — сурово заявил я Аркадию.

— Я и был женат, — подтвердил тот. — Но в тот самый день, когда отсюда улетел, я зашел к себе переодеться. И вижу — на коврике у двери лежит какой-то пухлый конверт. С виду такой гнетуще-официальный. «Лучше не трогать!» — сказал я себе. А потом подумал — вдруг наконец мой разводный процесс с места сдвинулся. Так и оказалось!

Я принял душ, — продолжал Аркадий. — Переоделся. Сделал себе коктейль, начал проникаться ощущением, что теперь я свободный человек. В окно влетела муха, и я смотрел на эту чертову муху и думал: «Теперь, раз я свободен, нужно что-то сделать». Но никак не мог вспомнить, что же именно…

Мэриан показала язык.

— Честно, никак не мог вспомнить! — Он усмехнулся. — А потом я вскочил, пролил коктейль и проорал: «Вспомнил! Жениться на Мэриан!»

Мы втроем шли к трейлеру Рольфа. В магазин зашел за мешком с почтой пилот; когда он ушел,

Рольф бросился за нами вдогонку.

— Рольф, — крикнул я, когда он подбежал ближе. — Эти двое поженились.

— Рано или поздно это должно было случиться, — отозвался он.

Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы расцеловать их обоих.

И только тут я заметил чисто выбритого аборигена средних лет, который прилетел вместе с Аркадием и все это время ходил за ним по пятам.

— А кто это с тобой? — поинтересовался я.

— Тихо, никому ни слова, — прошептал Аркадий. — Это представитель людей Амадеуса. У него в портфеле — чуринги Титуса. Похоже, мне удалось все уладить.

Когда мы добрались до трейлера, Рольф развел бурную деятельность, поставил в круг пять складных стульев и принялся варить кофе.

Человек из клана Амадеуса стоял и наблюдал за всем происходящим, но через пару минут откуда ни возьмись показался Хромоножка и с гостеприимными жестами сопроводил его в лагерь.

— А теперь, — сказал Рольф, разливая кофе, — рассказывайте о свадьбе!

— Ну вот, я получил свидетельство о разводе…

— И?..

— Отправился к этой прекрасной даме. И застал у нее на кухне двух недостойных ее воздыхателей. Вид у них был весьма жалкий, а когда они увидели меня, то поскучнели еще больше. Я отозвал ее в коридор и шепнул кое-что на ушко. Она согласилась так бурно, что чуть не сшибла меня с ног.

— Очень романтичная история, — отозвался Рольф. — Делает честь вам обоим!

— А потом прекрасная дама, — продолжал Аркадий, — вернулась на кухню и с блаженной улыбкой счастья проговорила: «А ну-ка, убирайтесь! Извините, но мы заняты. Убирайтесь!»

— И они убрались, — хихикнула Мэриан. — Да что тут рассказывать. Он поехал в Дарвин. Я прибрала в доме. Помыла пол. Он вернулся. Справили свадьбу, устроили пирушку. И вот мы здесь!

— Новости хорошие, — сообщил Аркадий. — Все будет хорошо… есть надежда… с делами Титуса. И с Хэнлоном… Закупорка доброкачественная. С железной дорогой тоже все хорошо. Они поглядели на бюджет и решили, что им эту хрень не построить. Работа остановилась. Я лишаюсь работы — но кому какое дело?

— А ты знаешь, кто все сглазил? — спросил я.

— Старик Алан, — сказал Аркадий.

— Может, он песнями своими колдовство навел?

— Как работа над книгой?

— Как всегда, сплошной кавардак, — ответил я.

— Не грусти, — сказала Мэриан. — У нас есть отличная рыба на ужин.

В «эски» лежал рогозуб весом в четыре фунта и всякие травы, с которыми его полагается жарить. Еще там поместились две бутылки белого вина с виноградника Уинн в Южной Австралии.

— Вот это да! — сказал я. — Большая редкость. Где ты такое раздобыл?

— Связи, — ответил Аркадий.

— А где Уэнди? — спросила Мэриан у Рольфа.

— С детворой в буше, — сказал тот.

Минут через пять появилась Уэнди: она сидела за рулем своего старенького «лендровера». Сзади набилась куча ухмыляющихся ребятишек, некоторые держали за хвосты варанов.

— Эти двое, — сказал Рольф, — поженились.

— Как здорово!

Уэнди выпрыгнула из автомобиля и бросилась в объятия Мэриан, а потом к ним присоединился Аркадий.

Вместе с Эстрельей нас было шестеро за ужи-

ном. Мы ели, смеялись, пили и рассказывали смешные истории. Эстрелья оказалась неиссякаемым источником абсурда. Ее любимым персонажем был католический епископ из Кимберли, который когда-то служил капитаном подводной лодки, а теперь воображал себя воздушным асом.

— Этот человек, — говорила она, — просто *fenomeno… una maravilla*[140]. Заводит свой *aeroplano* в самую гущу кучево-дождевых облаков и потом решает, откуда ему вылетать — снизу или сверху.

После кофе я отправился наводить порядок в трейлере для молодоженов. Аркадий начал запускать мотор «лендкрузера».

Он хотел отправиться к Титусу в восемь утра.

— Можно мне на этот раз тоже поехать? — спросил я.

Тот посмотрел на Мэриан и подмигнул ей.

— Конечно можно, — ответила она.

Мы наблюдали, как они уходят спать. Эти двое были созданы друг для друга. Они были безнадежно влюблены с самого первого дня знакомства, но постепенно каждый забился в свою скорлупу,

---

[140] Примечания: 140
Чудо *(исп.).*

намеренно и отчаянно отводил глаза, словно в счастье невозможно было поверить, пока неожиданно лед тоски и молчания не растаял.

Ночь стояла ясная и теплая. Мы с Уэнди вытащили из сарайчика ее кровать. Она показала мне, как фокусировать телескоп, и, прежде чем уснуть, я поблуждал вокруг Южного Креста.

38

В восемь мы двинулись в путь. Утро было ясным и свежим, но впереди нас ждал зной. Между Аркадием и Мэриан сидел, не выпуская из рук чемодана, человек из Амадеуса. Хромоножка, нарядившийся по особому случаю, сидел рядом со мной сзади.

Мы ехали в сторону моей неудачной охоты на кенгуру, но потом свернули налево, на проселочную дорогу, которая вела в Алис. Километров через пятнадцать местность изменилась: вместо кустарников, цветущих желтыми цветами, появились открытые луга с выгоревшими округлыми эвкалиптовыми деревьями — сине-зелеными, как маслины, у которых листья тоже становятся белыми на ветру. Слегка расфокусировав взгляд, можно было представить, что находишься внутри светлого провансальского пейзажа ванговского «Вида Арля с пшеничного поля».

Мы пересекли ручей и, снова свернув налево, поехали по песчаной дороге. В зарослях деревьев стояла опрятная лачуга из гофрированного листа, а рядом с ней — «форд» Титуса. Какая-то жен-

щина вскочила и убежала. Собаки, как обычно, подняли лай.

Титус — в шортах и шляпе с загнутыми полями — сидел на розовом поролоновом коврике перед котелком, в котором закипала вода. Его отец — красивый длинноногий старик, заросший двухсантиметровой седой щетиной, — лежал на голой земле и улыбался.

— Рано приехали, — серьезно сказал Титус. — Я вас раньше девяти не ждал.

Он поразил меня своим уродством: приплюснутый нос, жировики на лбу, мясистая отвисшая нижняя губа, глаза, утопающие в складках век.

Но что это было за лицо! Я никогда не видел другого такого подвижного и выразительного лица. Каждая его частичка постоянно находилась в состоянии оживления. Вот он — непреклонный абориген-законник, а уже через секунду — неподражаемый комик.

— Титус, — обратился к нему Аркадий. — Это Брюс, мой друг из Англии.

— Как там Тэтчер? — протяжным голосом осведомился тот.

— Все еще на посту, — сказал я.

— Не могу сказать, что я в восторге от этой женщины.

Аркадий подумал, что настало время представить человека из Амадеуса, но Титус поднял руку и сказал:

— Подожди!

Он отпер висячий замок на двери лачуги, оставил ее приоткрытой и достал еще одну эмалированную кружку — для нежданного гостя.

Чай заварился.

— С сахаром? — спросил он меня.

— Нет, спасибо.

— Ага. — Он подмигнул. — Я так и подумал.

Когда мы напились чая, он вскочил на ноги и сказал:

— Пора! За дело!

Он кивком позвал за собой Хромоножку и человека из Амадеуса. Потом обернулся к нам.

— А вы, ребята, — сказал он, — сделаете мне большое одолжение, если полчасика побудете здесь.

Сухие ветки затрещали у них под ногами — и они скрылись за деревьями.

Старик-отец, с блаженным видом лежавший на прежнем месте, мало-помалу задремал.

Чуринга — стоит повторить — это овальная дощечка, вырезанная из камня или древесины мульги. Это одновременно и музыкальная

партитура, и мифологический путеводитель по странствиям Предка. Она же является телом самого Предка *(pars pro toto)*[141]. Это *alter ego* человека, его душа, обол для Харона, правоустанавливающий документ на землю, паспорт и «обратный билет».

У Штрелова можно прочесть душераздирающий рассказ о старейшинах, которые обнаружили, что их хранилище чуринг разграблено белыми людьми: для них это означало конец света. Есть у него и радостный рассказ — о том, как старики, одолжившие свои чуринги соседям на несколько лет, наконец получают их обратно, разворачивают и тут же поют от счастья.

Читал я и о том, что, когда весь песенный цикл исполняется целиком, владельцы его отрывков выкладывают на земле свои чуринги в ряд, концом к концу, совсем как вагончики состава *Le Train Bleu*[142].

С другой стороны, если ты разбил или потерял свою чурингу, ты сразу оказываешься за чертой человеческого существования и теряешь всякую

---

[141] Примечания: 141

Часть вместо целого *(лат.)*.

[142] Примечания: 142

«Синий поезд» *(фр.)* — ночной экспресс класса люкс, курсировавший между Кале и Французской Ривьерой (1886–2003).

надежду на «возвращение». Я слышал, как об одном бездельнике в Алис говорили: «Он не видел своей чуринги. Он сам не знает, кто он такой».

В эпосе о Гильгамеше в качестве дополнительного замечания есть странный эпизод, где царь Гильгамеш, устав от жизни, желает посетить загробный мир, чтобы навестить покойного друга, неистового Энкиду. Но паромщик Утнапиштим говорит ему: «Нет! Ты не можешь сюда войти. Ты разбил каменные дощечки».

Аркадий всматривался через дверную щелку в лачугу Титуса.

— Только ни в коем случае не входи, — проговорил он сквозь зубы. — Но если заглянешь сюда, то увидишь кое-что удивительное.

Я осторожно подошел к двери и заглянул внутрь. Глаза не сразу привыкли к темноте. На сундуке рядом с кроватью Титуса громоздилась стопка книг на английском и немецком. На самом верху лежал Ницше — «Так говорил Заратустра».

— Да, — кивнул я, — я *весьма* удивлен.

Меньше чем через полчаса мы услышали свист из-за деревьев, и показались те трое. Они гуськом шли в нашу сторону.

— Все улажено! — уверенно заявил Титус и

уселся на свой коврик. — Чуринги возвращены законным владельцам.

У человека из Амадеуса был довольный вид. Разговор перешел на другие темы.

Титус был грозой движения за земельные права, потому что все, что он говорил, непременно оказывалось своеобразным и непрошенным. Он начал рассказывать, что людям из поколения его дедушек и бабушек будущее представлялось куда более мрачным, чем сегодня. Старейшины, видя, как спиваются их сыновья, нередко вручали свои чуринги миссионерам, чтобы их никто не разбил, не потерял и не продал. Одним из таких людей, удостоившихся их доверия, был пастор из миссии Хорн-Ривер Клаус-Петер Аурихт.

— Мой дед, — сказал Титус, — отдал старику Аурихту несколько чуринг, когда этот вот, — тут он кивком показал на храпящего отца, — пристрастился к бутылке.

В конце 1960-х годов, незадолго до смерти, пастор Аурихт взял с собой эту коллекцию в штаб миссии в Алис и там хранил под замком. Активисты, пронюхав, что немцы сидят на священной собственности «стоимостью в миллионы», подняли обычную шумиху и принялись ратовать за возвращение чуринг народу.

— Эти свистуны не понимают одного, — протяжным тоном рассказывал Титус. — Не существует каких-то «аборигенов вообще». Есть только Тджакамарры, и Джабуруллы, и Дубурунги, как я, и так далее, которые рассеяны по всей стране.

Но если Лесли Уотсон, — продолжал он, — и весь этот канберрский сброд хотя бы *одним глазком* взглянули на мои семейные чуринги и если бы мы решили применить *закон* к данному случаю, то я был бы обязан их убить, верно?

Титус затрясся от смеха, и мы вслед за ним.

— Надо сказать, — прохрипел он с лукавой ухмылкой, — с тех пор как мы в последний раз виделись, у меня тут побывали очень забавные посетители.

Сначала заявились молодые архитекторы: они хотели от имени совета пинтупи и в надежде заткнуть Титусу рот построить ему дом.

Титус фыркнул:

— Какую-то хибару с плоской крышей. Черта с два! Я так им и сказал: если уж строить мне дом, так настоящий, с двускатной крышей. Мне нужна библиотека для моих книг. Гостиная. Гостевая спальня. Кухня и душ на улице. Иначе я останусь тут.

Следующий посетитель оказался еще забавнее

— бойкий на язык тип из горнодобывающей корпорации, которая хотела провести сейсмическое профилирование земли Титуса.

— Мерзавец! — сказал Титус. — Показывает мне свои геологические карты — которые, впрочем, он и так обязан был показать мне по закону короны — и городит несусветную чушь. «А ну-ка, дайте ее сюда!» — говорю я ему. Гляжу на все эти синклинали[143] и вижу, что, скорее всего, под Охотничьим обрывом прячется месторождение нефти или природного газа. «Но послушайте! — говорю я. — Мы совсем по-другому на это смотрим. У нас в этом месте множество важных Сновидений. У нас там Пятнистая Куница. У нас там Эму, Черный Какаду, Волнистый Попугай, два вида Ящериц; а еще там вечный дом Большого Кенгуру. Могу предположить, что у вас там месторождение нефти или еще что-нибудь. Но он спит там еще со Времен Сновидений, и, если слово останется за мной, будет спать там и дальше».

Титус получил настоящее удовольствие от нашего визита. Мы еще долго смеялись.

Даже чванливый человек из Амадеуса смеялся. Потом мы погрузились в «лендкрузер» и поспе-

---

[143] Примечания: 143

Синклиналь — вид изгибов слоев земной коры. — *Примеч. ред.*

шили обратно в Каллен.

Остаток дня я разбирал бумаги. Утром мы собирались уезжать в Алис.

39

Человек из Амадеуса хотел, чтобы его высадили в поселении Хорн-Ривер, поэтому Аркадий вызвался подвезти его по проселочной дороге. По ней ездили гораздо реже, чем по основной, но сейчас земля везде подсыхала, и тому человеку из горнодобывающей компании удалось по ней проехать.

Мы нагрузились едой и водой и уже прощались с Рольфом и Уэнди, обещая переписываться, слать книжки и не забывать друг друга, как вдруг подошел Хромоножка и что-то прошептал на ухо Аркадию, прикрыв рот ладошкой.

— Конечно, мы тебя захватим, — сказал тот.

Хромоножка был при параде. На нем была чистая белая рубашка и коричневый твидовый пиджак, а волосы и лицо у него были так густо смазаны маслом, что он походил на мокрого серого тюленя.

Он хотел посетить Долину Саговника — очень важное место, расположенное на его Песенной Тропе, где он никогда не бывал.

Долина Саговника — это Национальный парк

(впрочем, старательно оберегаемый от посетителей), где растут уникальные виды капустной пальмы и имеются древние посадки аборигенной сосны. По дну ущелья, расположенного там, течет река Хорн, по дну ее русла пробегал некогда Предок Хромоножки, Пятнистая Куница. Пятнистая куница, или тджильпа, — это не настоящая куница, а маленький сумчатый зверек *(Dasyurus geoffrei)* с огромными усами и опушенным хвостом, который он все время держит вертикально над спиной. К сожалению, ему грозит вымирание.

Есть рассказ о том, что молодой Предок-Тджильпа где-то на севере от хребта Макдоннелл увидел, как с неба падают два орлиных пера, и ему захотелось узнать, откуда они. Последовав вдоль Млечного Пути по песчаным холмам, он мало-помалу собрал других Людей-Тджильпа, которые один за другим примыкали к шествию. Они шли и шли. Шерсть у них взъерошилась от зимнего ветра, а лапы растрескались от холода.

Наконец они достигли моря возле Порт-Огасты, а там, в волнах, стоял высокий шест — до самого неба (как гора чистилища у Данте). Его вершина была белой от небесных перьев, а нижняя половина — белой от морских перьев. Люди-Тджильпа

вытащили этот шест и понесли его в Центральную Австралию.

Хромоножка никогда не бывал там из-за какой-то давней распри. Но недавно узнал по «телеграфу буша», что трое его дальних родственников живут — вернее, умирают — там, рядом со своим хранилищем чуринг. И он хотел повидаться с ними перед их уходом.

Мы ехали семь часов — с семи до двух. Хромоножка сидел впереди, между водителем и Мэриан, не двигаясь, а только бросая быстрые взгляды направо и налево.

Когда до долины оставалось километров пятнадцать, «лендкрузер» перепрыгнул через ручей, текший на юг.

Вдруг Хромоножка подскочил на месте, как попрыгунчик, забормотал что-то неразборчивое, просунул голову в водительское окно (так что Аркадию пришлось вильнуть), сунулся в другую сторону, а потом сложил руки и умолк.

— В чем дело? — спросил Аркадий.

— Люди-Тджильпа пошли туда, — ответил Хромоножка, показывая на юг.

Возле дорожного знака, указывавшего на Долину Саговника, мы сделали крутой поворот вправо и поехали по обрывистой дороге вдоль русла

Хорна. По белым камням бежала бледно-зеленая вода. Мы несколько раз переезжали реку. Из нее росли речные красные эвкалипты.

Хромоножка так и держал руки сложенными и не говорил ни слова.

Мы подъехали к слиянию двух рек — точнее, нам снова встретился поток, который мы уже пересекали выше, на главной дороге. Этот меньший поток и был путем следования Людей-Тджильпа, и мы двигались к нему под прямым углом.

Когда Аркадий повернул влево, Хромоножка снова подскочил и оживился. Он снова стал высовываться то в одно окно, то в другое. Бешено вращал глазами, оглядывая скалы, утесы, пальмы, воду. Его губы шевелились очень быстро, как у чревовещателя, и из них вылетал какой-то шелест: с таким звуком ветер проносится по веткам.

Аркадий сразу понял, в чем дело: Хромоножка заучивал слова песни о Пятнистой Кунице со скоростью пешего хода, около шести километров в час, а мы сейчас ехали со скоростью под сорок.

Аркадий переключился на низшую передачу, и мы поползли не быстрее пешехода. Хромоножка мгновенно перестроился на новый темп. Он заулыбался. Стал покачивать головой. Вместо то-

ропливого шелеста полились мелодичные звуки песни; стало понятно, что Хромоножка на время *превратился* — по крайней мере в собственных глазах — в Пятнистую Куницу.

Так мы ехали почти час, дорога петляла между красными утесами. Виднелись гигантские валуны, запачканные черными потеками, а между ними, как увеличенные древесные папоротники, росли саговники. Стояла духота.

Потом река скрылась под землей, оставив на поверхности стоячее озерцо с камышовой опушкой. Рыжая цапля взмыла вверх и уселась на дереве. Дорога закончилась.

Мы вылезли и пошли вслед за Хромоножкой по хорошо утоптанной тропе, которая вилась между камнями и водой и в конце концов привела к водоему, стенки которого образовывали ступенчатые пласты темно-красной скальной породы, походившие на ряды сидений в древнегреческом театре. Под деревом стояла типовая жестяная лачуга.

Женщина средних лет с колыхавшейся под малиновым джемпером грудью тащила к очагу хворост. Хромоножка назвал себя. Та улыбнулась и знаком позвала нас всех за собой.

Как я записал когда-то у себя в молескине, ми-

стики верят в то, что идеальный человек должен сам прийти к «правильной смерти». Достигший цели «уходит обратно».

У австралийских аборигенов существуют особые правила такого ухода. Они состоят в том, чтобы песнями проложить дорогу к родным местам — к «месту зачатия», туда, где хранится твоя чуринга. Только так ты сможешь стать — или *вновь* стать — Предком. Эти представления сродни таинственному высказыванию Гераклита: «Бессмертные смертны, [одни] живут за счет смерти других, за счет жизни других умирают»[144].

Хромоножка ковылял впереди. Мы следовали за ним на цыпочках. Небо раскалилось, на тропу падали резкие тени. С вершины утеса тонкой струйкой капала вода.

— Чуринги там! — тихо сказал Хромоножка, показав на темную расселину у нас над головами, на большой высоте.

На поляне стояли три больничные кровати без матрасов, и прямо на голых панцирных сетках лежали трое умирающих. От них остались почти одни скелеты. Волосы и бороды выпали. У

[144] Примечания: 144
Перевод А. Лебедева.

одного нашлось достаточно сил, чтобы поднять руку, у другого — что-то произнести. Когда они услышали, кем им приходится Хромоножка, все трое одновременно заулыбались — одинаковой беззубой улыбкой.

Аркадий скрестил руки и смотрел на все это.

— Какие же они чудесные! — прошептала Мэриан, взяла меня за руку и стиснула ее.

Да. Они все были правы. Они знали, куда отправляются, и улыбались в лицо смерти в тени эвкалипта-призрака.